И. АКИМОВ

БАЛЛАДА ОБ УШЕДШИХ НА ЗАДАНИЕ



И. Акимов.

БАЛЛАДА ОБ УШЕДШИХ НА ЗАДАНИЕ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1974

Р2
А39

СОДЕРЖАНИЕ

Акимов И. А.

А39 Баллада об ушедших на задание. М., «Молодая гвардия», 1974.

352 с. 100 000 экз.

В книге две повести: «Дот» и «Баллада об ушедших иа задаиие». Обе повести рассказывают о героических подвигах советских воииов во время Великой Отечествеииой войны. Динамичный, захватывающий сюжет раскрывает характеры солдат и офицеров, их высокие иравствеииые идеалы, которые помогали им выстоять в самую трудиую минуту.

А $\frac{70302-180}{078(02)-74}$ 163—74 Р2



ДОТ





1

В начале пограничников было семнадцать. Политрук привел их на этот пригорок в девятом часу утра — поредевший, обескровленный после предрассветных схваток взвод, чтобы сделать последнее и самое целесообразное из всего, что они могли: держать шоссе. У них было два ручных пулемета, да еще у Тимофея снайперская токаревская самозарядка; остальные имели трехлинейки — безотказное и привычное оружие, на которое было бы грех жаловаться, да только за это утро пограничники успели узнать, как она нерасторопна в современном ближнем бою. Укрываясь за танками и бронетранспортерами, немцы почти без потерь подбирались к нашим окопам и блокгаузам, и вот, когда оставалось не больше ста метров, в дело вступали «шмайссеры». На таком расстоянии версия о малой убойной силе шмайссеровской пули теряла смысл, а патронов немцы не жалели, и когда почти в упор из десятков стволов брызгали белые струи, и кипела на неслежавшихся брустверах земля, и бревна топорщились колкой щепой, — это было невыносимо.

Еще у пограничников было три противотанковые гранаты. И хотя политрук сказал: «Три гранаты — для трех танков», — и поручил выполнить это двум лучшим гранатометчикам заставы, никто не обольщался на этот счет. Ведь они с рассвета не выходили из боя и уже успели узнать, сколько нужно мужества, ловкости и умения, чтобы уничтожить хотя бы один танк.

Так и случилось. Первым должен был бросать Ке-

ша Дорофеев. На полигоне он это делал артистично; казалось, завяжи ему глаза — и все равно гранаты будут ложиться точно в ровик. Но когда ты замер в кювете, а раскаленная земля под тобой ходуном ходит и курится пылью, а ты лежишь незащищенный, весь на виду, оглушаемый надвигающимся грохотом дизелей и гусениц, опустошенный страхом, который подсказывает тебе спасительное бездействие, и ты вдруг осознаешь до конца, что если не ты, то тебя, и что тебе отпущена лишь одна-единственная попытка, — куда в такие мгновения деваются и тренированный глазомер, и отработанный бросок. Последние секунды ожидания сдирают с тебя наносное и придуманное. Остается твоя сущность. И гранату ты берешь, словно впервые в жизни, и кидаешь, словно впервые в жизни, — без сноровки, одним только сердцем...

Второй бой — если тебе так повезет, что ты до него доживешь, — может отличаться от первого по сюжету, но арсенал чувств будет тот же. Впрочем, это будет лишь тень пережитых однажды чувств.

У Кеши хватило выдержки. Он подпустил головной танк на двадцать пять метров, это была верная дистанция, но бросок получился слабый. И граната не разорвалась сразу. Чуть подпрыгнув при ударе об асфальт, она перевернулась в воздухе и покатилась по дуге под днище танка. Водитель оказался расторопным малым. То ли сразу почуял недоброе, то ли просто такой была его первая реакция, но каким-то чудом он успел сдать назад (причем автоматчиков при внезапной остановке всех до единого буквально смело с брони), и граната, бесполезно лопнув смрадным толовым чадом, лишь взломала асфальт. И теперь представлялось странным, что силой, способной всего лишь взбугрить эти корявые, похожие на хлебную корку серые пласты, собирались остановить и даже уничтожить огромное, целеустремленное стальное чудище.

Танковый пулемет, словно киркой, вспорол разрывными пулями обе кромки кювета; подхватились автоматчики, готовые вмешаться. Только не успели. С пригорка нестройно ударили винтовки. Пули пограничников были точны. Лишь двое автоматчиков уцелели, прикрытые корпусом танка.

Залп отвлек на миг внимание немцев; Кеша, видать, почувствовал это, понял — второго случая не будет, —

и поднялся... Что он при этом успел подумать? что в нем успело перестроиться за те мгновения, пока над головой тупо вбивало в податливую землю и порошило сухим в глаза, которые нельзя было закрывать — ведь это же бой, ведь этот резкий солнечный свет и эта земля, забившая угол рта и прыгающая перед самыми глазами, последнее, что суждено тебе увидеть в твоей иссякающей, уже перечеркнутой жизни...

Кеша встал во весь рост, удобно замахнулся и уверенно швырнул свою последнюю гранату точно в цель.

Спрятаться второй раз ему не дали. Пули догнали его, он сел на заднюю кромку кювета, весь прямой, странно вытянувшийся вверх, и так сидел какое-то время, а потом опрокинулся на спину, в пыльную полынь, только ноги в кювет свисали; но немцы все не верили ему, месили и рвали свинцом то, что еще недавно было Кешей Дорофеевым, а сейчас металось и вздрагивало при каждом ударе, уже почти неразличимое в облаке поднятой пулями пыли.

А всего-то, что он добился, — это сорвал гусеницу с головной машины.

Зато удачливей был Карен Меликян. От его гранаты полыхнул мотор второго танка, и еще не все танкисты успели выбраться на броню, как внутри стали рваться снаряды. Танк шатало, он кряхтел, будто живой, крепился из последних сил, чтоб не развалиться здесь же, посреди дороги, грудой броневых листов, и все бросились от него в стороны — подальше от греха.

Политрук не надеялся остановить врага: перевес был слишком огромен, а с танками и вовсе нечем было бороться. И даже так не ставил задачу политрук: задержать врага на два часа или на час. Нет! Просто задержать. Хоть на сколько-нибудь! Насколько хватит их жизней...

Немцы остановились.

Это была остановка не из страха перед мощью засады; какая уж мощь, если начинают с гранат! Это была остановка поневоле — из-за второго танка: к нему подступиться боялись. А раз уж пришлось остановиться, немцы взялись за пограничников всерьез.

Сперва танки обстреляли пригорок. Три десятка снарядов, выпущенных за считанные минуты, вздыбили на нем землю. Тонкая рыжая пыль как поднялась, так и висела в неподвижном густом воздухе, и автоматчики,

развернувшись в редкую цепь, нехотя стали просачиваться в нее. Пулеметы с танков и бронетранспортеров прикрывали их до середины склона, потом замолчали, опасаясь побить своих; и тогда простучал слабенький ответный залп из трехлинеек. Каждая пуля нашла цель, гитлеровцев будто смело с пригорка. Их бегство прикрыли пулеметы, а потом с шоссе сползли два Т-6; автоматчики пропустили их вперед и под прикрытием брони уже почти без потерь повторили атаку. Немцы как будто почувствовали, что у пограничников не осталось не только гранат, но и бутылок с горючей смесью, их танки двигались неторопливо и обстоятельно, от одного мелкого окопчика к другому, вертелись над каждым, заживо хороня пограничников. А в километре от них на дороге стояла голова колонны, и по блеску биноклей было понятно, что для фашистов это всего лишь спектакль...

Тимофей не испытывал страха — на эмоции не осталось времени. Он очнулся от содрогания земли. В уши ломился рев танковых дизелей, скрежет и лязг траков. Легкие были забиты едкой тротиловой гарью. Откашливаясь, Тимофей протер запорошенные глаза, и первое, что он увидел, была снарядная воронка совсем рядом с его окопчиком. Эта штука меня и оглушила, понял Тимофей, и уже соображал, куда бы увернуться от надвигающейся громады танка. Но вокруг было голо и плоско, второй Т-6 неторопливо поворачивался над ячейкой на дальнем фланге, и автоматчики осмелели, прочесывали позицию, почти не остерегаясь. Успею прибрать хотя бы одного, решил Тимофей, но, пока вскидывал к плечу самозарядку, увидел прямо перед собой, в каких-нибудь пяти метрах, лицо механика-водителя. Передний люк был открыт, немец подался вперед, изумленно глядя на невесть откуда взявшегося пограничника. Тимофей дважды выстрелил в это светлое прыгающее пятно почти в упор, причем еще слышал, как выстрелы отзывались болью в простреленном на рассвете левом плече, и последнее, что он помнил, сползая на дно окопчика, был знакомый с детства запах разогретой солнцем стали, перемежающийся гарью неотработанной солярки. Потом его сдавило отовсюду...

Потом он услышал скрип.

Неторопливый скрип отменной новой кожи. Это были сапоги. Они приближались лениво, и, хотя были

пока что только звуком, Тимофею почудилась опасность большая, чем если б на него снова надвигался танк.

Но Тимофей не шелохнулся.

Он уже понял, что жив, что лежит на горячей земле навзничь, что два молота, которые тяжело, но не больно бьют в выемку под левой ключицей, так что в мозг отдается, — гуп-гуп, гуп-гуп, — это пульс в утренней ране. А больше нигде не болело. Только шевелиться все равно было нельзя. И глаз открывать нельзя. Тимофей еще не знал почему, но инстинкт подсказывал: замри.

— А вот этот жив, господин майор, — каркнуло совсем рядом. — Сейчас очухается.

— Ты поосторожней, Харти, — отозвался второй. У этого голос был мягче, и окончания слов будто таяли. — Эти дикари коварны.

— Плевал я на них, Петер... Господин майор, разрешите, я его пристрелю. Мне все равно надо будет сегодня кого-нибудь ухлопать. На счастье. Такая у меня система. Так было в Польше, и во Франции, и каждый раз на Балканах. Я пришивал хоть одного в первый же день — меня этому дед научил, а он самого Бисмарка видел два раза! — и потом у меня все получалось в любой заварухе.

Тимофей знал несколько десятков немецких слов — достаточно для элементарнейшего разговора, и даже для предварительного допроса хватало; и сейчас он угадывал отдельные слова, однако связь между ними ускользала, смысла не было. Да Тимофей и не искал этот смысл. Их только двое — вот что он понял. И подумал: уж с двумя-то управлюсь. А дальше что бог даст.

Из-под ресниц Тимофей видел пыльные голенища кирзовых сапог, а сразу за ними — веселое молодое лицо и два железных зуба за короткой верхней губой. И автомат. Плоский, какой-то маленький, почти игрушечный, он болтался на ремне, закинутом через правое плечо; сдернуть его не составит труда. Правда, стрелять из таких Тимофею не приходилось, только на методических плакатах и видел. Ладно, как-нибудь сообразим.

Немец повернул лицо в сторону, опять что-то говорит. Удобней момента не будет...

Тимофей метнулся вперед. Ствол автомата был теплым; он показался Тимофею тонким и хрупким, как со-

ломинка. Немец, как и следовало ожидать, опрокинулся от легкого толчка. Чтобы сбить с толку второго, Тимофей, уже завладев автоматом, перекатился в сторону, сел, увидел этого второго — длинного, с вытянутой смуглой рожей, похожего на румына, — поднял автомат, но выстрелить не успел. Вдруг все пропало.

Очнувшись почти сразу, он уже не притворялся. Тяжело перевернулся на грудь и сел. Перед глазами плыло. И шея казалась деревянной, стянула горло и ни кровь, ни воздух не пропускала.

Немец, поблескивая фиксами, сидел в той же позе и смеялся. Его куртка была запорошена по всему боку красной глиной.

— Ты старался карашо. Зер гут! — Он показал большой палец. — Я довольный. Я отшень довольный... Ты — Голиаф. Абер я победил тебя в один удар. Джиу-джитс!

Он гордился, что говорит по-русски, но это давалось ему нелегко. Он сразу вспотел, достал из бокового кармана большущий голубой платок, уже грязный, вытер шею, лоб и особенно тщательно запотевшие глазницы. Заметил, что бок весь в глине, опять рассмеялся и подмигнул Тимофею.

Тимофей поглядел на смуглого. Тот держал карабин под мышкой и ковырял широкими плоскими пальцами в красной пачке сигарет. Значит, он опять вне игры. Если попытаться снова...

Но тут он взглянул на шоссе, и зрелище, которое увидел лишь сейчас — движение гитлеровской армады, — настолько его потрясло, что на какое-то время он забыл обо всем. Он даже думать не мог толком, смотрел — и все.

Самоходки, танки, машины с солдатами, артиллерия, бронетранспортеры выкатывались из далекого, серого от зноя леса, новенькие и свежевыкрашенные, почти без интервалов, а чаще впритык; колонна выползала, как дождевой червь из рассохшейся земли, и голова этого червя терялась где-то за спиной у Тимофея, в покрытых аккуратными перелесками, распаханных холмах, которыми здесь начинались предгорья Карпат.

Он не испугался. Он только решил, что надо бы все это подсчитать и запомнить, — сказалась привычка, выработанная тремя годами службы на границе. Но откуда начинать счет? Стальная орда текла однообраз-

ная и безликая, чуть ослабишь внимание — тут же собьешься. А я не поштучно, я вас по подразделениям буду брать на заметку, злорадно подумал Тимофей и начал считать, хотя и понимал, что никуда эти данные сообщить не сможет.

— Слюшай, — затеребил его немец, — я мог ды-ды-ды — и тебе капут. Абер я дарю тебе жизнь. Вита нова! Теперь я твой второй муттер. Твой мама.

— Довольно болтать, Харти, — раздался за спиной Тимофея незнакомый голос, он чуть повернул голову и увидел сапоги. Сверкающие, новенькие сапоги бутылками. Как же я мог забыть о них! — подумал Тимофей. Это было так явственно, это не могло быть бредом...

Он взглянул выше и встретился глазами с офицером.

Это был майор. Ему еще не было и тридцати. Лицо спокойное, немного усталое; в светлых глазах угадывалось любопытство; оно просвечивало через холодную спесь, и Тимофей понял, что предчувствие не обмануло, что именно от этого майора будет зависеть дальнейшая судьба.

— Виноват, господин майор, — подхватился Харти.

Майор держал руки за спиной, оттуда выглядывало что-то вроде хлыста. Зачем ему хлыст? — удивился Тимофей. Или он на лошади?..

— Переведи ему, Харти. ...Он пограничник — это нехорошо... — Майор помедлил, Харти воспользовался этим и перевел. — Но у него маленькая геометрия, — майор ткнул стеком в два малиновых треугольника на петлице Тимофея, — значит, и маленькие грехи... если он раскаивается и готов начать новую жизнь, его можно простить.

Харти опять перевел. Тимофей понял, что от него ждут ответа, и решил не отвечать, но с губ само собой сорвалось «гут»... А ведь еще нынешним утром ему показалась бы нелепой даже мысль о каком бы то ни было разговоре с фашистами. А сейчас не только слушает — делает вид, что соглашается. Он унижен? Да. Побежден? Да. Сломлен и сдался?..

Тимофей покосился на окопы. Он всегда знал, что скорее убьет себя последней пулей, чем сдастся врагу. Но сложилось иначе. Значит, опять кинуться на них, напроситься на пулю?.. А кто отомстит за ребят?

Другие?

А почему не ты? Почему ты не хочешь оказаться сильнее и хитрее своих врагов? Выжить, вырваться и отомстить? Победить, наконец? От какого Тимофея Егорова будет больше пользы: от погибшего гордо, но бесполезно, или от активного бойца?..

Он досадовал, что во второй раз не бросился на фашиста сразу и все как-то решилось само собой. Ему было стыдно, что он остался живым, — Тимофей победил этот стыд. Чтобы отомстить, я должен выжить, это он усвоил твердо. Я должен выжить. Чего бы это мне ни стоило. Любой ценой!..

— Я сделаю все как надо, герр майор.

Это майор понял без перевода.

— Отлично, — сказал он, и вдруг Тимофей увидел в его левой руке свою кандидатскую партийную карточку. Стек легонько щелкнул по ней. — Ты хотел стать большевиком?

Я должен выжить... должен... — стучало в мозгу.

— Да, — сказал Тимофей.

— Печально... Переведи ему, Харти, что фюрер приказал уничтожать всех большевиков. — Он слушал Харти, кивал, но следил только за выражением лица Тимофея. — А теперь переведи, что между «хотел» и «был» качественная разница, и мы это понимаем. — Он опять терпеливо дождался конца перевода. — А теперь спроси, хочет ли он сейчас вот на этом месте быть убитым.

— Я хочу жить, — сказал Тимофей, почти физически ощущая, как бьется в мозг: ты должен, должен выжить...

— Ну что ж, пожалуй, мы забудем это маленькое недоразумение, если ты сейчас ее порвешь, — сказал майор, протянув Тимофею кандидатскую карточку.

Схватить майора за запястье, скрутить его, швырнув податливое тело на фиксатого Харти, на это Тимофею понадобилось не больше секунды. Но смуглый — ах, досада! — уже отскочил назад, и карабин в его руках так ловко, будто сам это делает, скользнул из-под мышки в ладони. Ведь убьет, сволочь!..

Авось с первой не убьет.

Тимофей сделал ложное движение влево, прыгнул вправо (пуля ушла стороной!), схватил горячий стальной обломок — все, что осталось от его самозарядки со

знаменитым снайперским боем, встретился глазами со смуглым. Тот не боялся. Глаза горят, смеется, бьет с пояса, не целясь. Будь ты проклят!

Вторая — мимо.

— Кончай его! — крикнул откуда-то сзади майор.

Тимофей метнулся в сторону — дуло пошло за ним; в другую — дуло тоже. Тимофей вдруг почувствовал усталость. Все, понял он, глядя, как палец врага медленно прижимает спусковой крючок.

2

Его опять не смогли убить.

Очнувшись, Тимофей не удивился. Уж такой это был день. Не пришлось и вспоминать, где он и что с ним: он знал это сразу. Где-то внутри, независимо от его воли, организм уже переключился на иной ритм; мобилизовался с единственной целью — выжить. Человек еще должен был осмысливать новую для себя ситуацию — войну; на это уйдет немало дней, а его природа уже заняла круговую оборону.

Тимофей лежал в неглубокой воронке, на дне, и какой-то парнишка бинтовал ему голову. Это был тоже пограничник, но незнакомый. Видать, первогодок с соседней заставы: тех, кто служил по второму году, Тимофей знал хотя бы в лицо.

Пограничник наматывал бинт не глядя, как придется, совсем не по инструкции; такая чалма если часа два продержится — уже благо; обычно они расползаются кольцами куда раньше. Тимофей хотел сделать замечание, но говорить еще не мог, даже руки поднять еще не было силы, а парнишка, как назло, неотрывно смотрел куда-то за спину Тимофея, тянул шею, выглядывая через вспушенный край воронки. Грудь Тимофею он перебинтовал еще раньше. Правда, при этом кончилась гимнастерка: ее правый бок был начисто оторван, только воротничок и уцелел.

Тимофей пошевелил пальцами. В руках пусто... Внутренне цепенея, Тимофей потянулся левой рукой к уцелевшему нагрудному карману. Пусто.

— Не дрейфь, дядя, — сказал пограничник, — твой билет у меня.

— Давай сюда.

— Вот невера! — Свободной рукой он достал из га-

лифе смятую кандидатскую карточку. — Не теряй в другой раз.

— Я вот так ее зажимал. В кулаке.

— Может, вначале и зажимал.

— Меня ковырнуло крепко?

— Семечки. Только шкарябнуло по черепушке. Но картина, сам понимаешь, жуткая.

— Гляди ты. А ведь он меня в упор срезал. Метров с трех. Враз выключил начисто.

— Контузия, — сказал пограничник.

Он закрепил бинт как придется, еще раз выглянул из воронки, тихо охнул и медленно, тяжело сел в подмявшуюся под ним землю.

— Все. Приехали, дядя.

Он улыбался. Улыбка была выбита на его лице, потому что он хотел выглядеть улыбающимся. Но в нем все застыло внутри, и снаружи это была окостеневшая маска. Только значок ГТО первой ступени, перевернувшийся изнанкой, мелко подрагивал на его груди скрестившимися цепочками.

Тимофей все понял; пересиливая слабость, перевернулся на четвереньки и привстал. Справа дорога, запруженная автомашинами и танками; слева, вдоль разбитой позиции, приближается группа немецких солдат. Если сейчас ударить в два ствола, то, пока они разберутся, что к чему, четырех, пожалуй, спишем.

— Где твоя винтовка?

— Ты что, дядя, спятил?

Ясно, первогодок. Школы нет. На него по-настоящему даже разозлиться нельзя.

— Товарищ красноармеец, — раздельно произнес Тимофей, — вы как отвечаете старшему по званию?

От изумления парнишка обомлел. Улыбку стерло с лица, но и дрожать перестал. Несколько секунд он осмысливал такую простую на первый взгляд ситуацию, потом выпрямился, надел по-уставному снятую перед тем фуражку.

— Виноват, товарищ командир отделения.

— Где ваша винтовка?

— Я ее не имел, товарищ командир отделения. Я на «максиме» работал. Первым номером. Мне винтовка не положена.

— Ясно. Бегом в соседние окопы. Достать две винтовки с патронами.

— Слушаюсь.

Красноармеец закрепил ремешок фуражки под подбородком, чуть помедлил — и стремительно вымахнул из воронки. Он уже не думал о выражении лица, на котором было написано отчаяние.

— Отставить.

Команда застала его наверху. Выполнить ее он уже не спешил. Сперва осмотрелся и лишь затем сполз по рыхлой земле на дно. Эта небольшая встряска подействовала на него благотворно: он успокоился.

Приказ был невыполним. Если ползти от окопчика к окопчику — не успеешь обернуться; если двигаться перебежками — немцы заметят сразу. И пристрелят.

— Как тебя зовут? — спросил Тимофей.

— Гера. Герман Залогин, — охотно ответил красноармеец. Он готов был что угодно делать и говорить, лишь бы занять себя, хоть на миг отвлечься от надвигающегося. Страх снова начал овладевать им, проступал наружу краснотой. Кожа у него была какая-то прозрачная, как из парафина. Краснота наплывала изнутри, собиралась, сгущалась, и впечатление было такое, словно лицо Геры обугливается.

— С Гольцовской заставы, — добавил он.

— Выходит, за сегодняшний день километров двадцать ты уже отмахал? — усмехнулся Тимофей.

— Больше, товарищ комод.

«Комод», почти не отличимое на слух от «комотд» — командир отделения, — было обычным обращением у красноармейцев, если поблизости находились только свои.

— Сдрейфил?

— Почему же сдрейфил? — обиделся Гера. — Я на самой границе дрался, брод держал. Даже когда остался совсем один. А потом и патроны кончились.

— Как же ты уцелел?

— Я хороший пулеметчик, товарищ комод. Я убил всех, кто пытался подойти ко мне.

— А чего сюда занесло?

— На мотоциклистов напоролся. У плотины. Знаете плотину? Оттуда и припустил в эти края. Такой классный кросс выдал! — Он засмеялся и повернул свой значок лицевой стороной. Только сейчас Тимофей заметил, что рядом с ГТО у него висел «Ворошиловский стрелок», черным чем-то заляпанный, похоже, ма-

зутом. — Я стайер. У меня ноги подходящие, сухие. «Оленьи» ноги, — похвастал он. — Хоть на лыжах, хоть так пробегу сколько надо.

— А здесь из-за меня задержался?

— Из-за вас, товарищ комод.

— Выходит, не убежал.

— Так вы же были еще живой!

Тут Тимофей вспомнил, что надо бы кандидатскую карточку спрятать. Сунул ее за голенище, но Гера сказал: «Сапоги больно хороши. Могут снять». Тогда он заложил карточку под бинты. Она легла слева, где и полагается, и это утешило Тимофея. Потом он по просьбе Геры пристроил туда же его комсомольский билет. Потом они пожали друг другу руки, и оба вздохнули: ожидание сжимало грудь, не пускало в легкие воздух. А потом на краю воронки появился немец.

Это была не пехота — полевая жандармерия. Находка оживила лицо жандарма. Он цыкнул через зубы, почесал под распахнутым мундиром, под бляхой, потную грудь, повернул голову и крикнул в сторону:

— Аксель, с тебя бутылка, сукин ты сын. Я был прав, что кого-нибудь да отыщем. Гляди: забились в яму, как крысы.

Он даже винтовку на них не направил: ему и в голову не приходило, что эти двое способны на какое-то сопротивление.

Захрустела земля. На краю воронки появился второй жандарм, бледный, с непокрытой головой.

— Твоя взяла. — Он не скрывал разочарования. — Черт побери, ты не можешь объяснить, почему всегда выходит по-твоему?

— Нюх, Аксель, сукин ты сын. А ты вот сто лет будешь ходить со мной рядом, а угадывать не научишься. Потому что хоть ты и сукин сын, Аксель, а нюха у тебя все равно нет. Нет — и все тут!

— Кончай. Пристрели вон того, забинтованного, и пошли.

— Ну уж нет! Это моя счастливая карта — и я в нее буду стрелять? Мой бог! Счастливые карты нужно любить, Аксель. Их нужно ласкать, как упрямую девку, когда ты уже понял, что она не слабее тебя.

— Да он свалится на первом же километре!

— Тогда и пристрелим. — Жандарм повернулся к пограничникам и только теперь повел стволом винтов-

ки, давая понять, чего хочет. — Эй вы, крысы, а ну пошли наверх. Только врозь, по одному. Я хочу поглядеть, как этот пень стоит на ногах. А то, может, и впрямь лучше оставить его в этой могиле. Понимаете?

— Нихт ферштейн, — сказал Тимофей, однако выбрался наверх без помощи Залогина.

— Ты слышишь, Аксель, сукин ты сын? Они не понимают даже самых примитивных фраз. Паршивый мул — и тот понимает по-немецки. Мой бог, какая дикая страна!

3

Пригорок был прорезан, как шрамами, пологими глинистыми вымоинами. Глина в них была спекшаяся, но под коркой рыхлая: ноги проваливались и с трудом находили опору. Пахло полынью. С дороги наплывал машинный чад.

Тимофей нес фуражку в руке: на забинтованную голову она не налезала, да и больно было. Первые шаги достались тяжело. Но потом он разошелся, и даже голова не кружилась. «Ты держись поближе, — сказал он Залогину. — Мало ли что».

Внизу, возле дороги, на успевшей местами пожухнуть траве сидела вразброс группа красноармейцев. Их было не меньше трехсот человек. Охраняли четверо жандармов. Жандармы расположились в жиденькой тени старой сливы, на пленных не обращали внимания. Только один из четырех сидел к ним лицом, курил, поставив карабин между колен; остальные лениво играли в кости.

Удар был внезапный и тяжелый. Тимофею в голову не могло прийти, что когда-нибудь он увидит сразу столько пленных бойцов Красной Армии. Он был ошеломлен. Быть может, у них не осталось командиров? Так нет же — вон один сидит в приметной гимнастерке (индпошив; добротный, с едва уловимым красноватым налетом коверкот; фасон чуть стилизован — и сразу смотрится иначе, за километр видно, что не «хебе»; воскресная униформа!), вон еще, и еще сразу двое. У одного даже шпала в петлицах. Комбат. Как они могли сдаться: столько бойцов, столько командиров...

Тимофей даже не пытался бороться с нахлынувшим презрением.

Он судил их с точки зрения солдата, который уже убивал врагов, видел, как они падали под его пулями: падали — и больше не вставали. Плен был для него только эпизодом, интервалом между схватками. Он знал: пройдет час, день, три дня — и опять настанет его время, и опять враги будут падать под его пулями. Он знал уже, как их побеждать.

А эти еще не знали. Им не пришлось. Их подняли на рассвете — обычная боевая тревога, сколько уж было таких: вырвут прямо из постели — и с ходу марш-бросок с полной выкладкой на полста километров, да все по горам и колдобинам лесных дорог. Сколько уж так случалось, но в этот раз слух прошел: война. Действительно, стрельба вдалеке, «юнкерсы» проурчали стороной в направлении города. Только мало ли что бывает, сразу ведь в такое поверить непросто. Может, провокация...

Они не протопали и трех километров, как их окружили танки. Настоящего боя не получилось: их части ПТО шли во втором эшелоне, да еще и замешкались, похоже. Роты бросились в кюветы, но танки стали бить вдоль дороги из пулеметов и осколочными. Уже через минуту половины батальона не стало.

Все вместе они не успели убить ни одного врага...

Их унизили столь внезапным и легким поражением. Сейчас в их сознании за каждым конвоиром стояла вся гитлеровская армия. Каждый был силен, ловок и неуязвим. Каждый мог поднять винтовку и убить любого из них: просто так убить, из прихоти, потому что он может это сделать...

Впрочем, побыв среди них недолго, уже через какой-нибудь час Тимофей понял свою неправоту. Да, в плен их взяли, но сломать не смогли, даже согнуть не смогли. Им надо было очнуться от шока, прийти в себя — и только. И тогда они докажут, что не перестали быть красноармейцами, и ни стократное превосходство врагов не остановит, ни отсутствие оружия.

Их построили в колонну по три и повели вдоль шоссе на запад. Они шли по кромке поля. Тимофей знал, что сначала будет поле яровой пшеницы, потом — овса,

а перед самым лесом делянка высокого — хоть сейчас коси — клевера. Этот мир был знаком Тимофею, ведь почти два года стояли здесь с сентября тридцать девятого, но сейчас Тимофей удивлялся всему: знакомому дереву, изгибу шоссе, ландшафтам по обе стороны его. Он удивлялся, потому что как бы открывал их заново. Он узнавал их, они были; значит, и он был тоже. Он был жив, и к этому еще предстояло привыкнуть.

Однако возбуждения, вызванного встречей с жандармами, благодаря которому он двигался почти без труда, хватило ненадолго. Он ощутил, как внутри что-то стало стремительно таять, он становился все легче, пока не полетел куда-то в приятной сверкающей невесомости, а потом так же неуловимо сознание возвратилось к нему, и он понял, что идет, навалившись на Герку, который перекинул его руку себе через плечо, а левой поддерживает под мышкой. Герке ноша была явно не по силам, он таращил глаза и мотал головой, стряхивая с бровей пот, тем не менее он успевал следить и за ближайшим конвоиром.

— А, дядя, еще живой? — обрадовался Залогин. — Ловко это у тебя выходит — с открытыми глазами. Хорошо еще — у меня во какая реакция классная.

— Я сейчас... сейчас, сам...

— Ну-ну! Ты только ноги не гни в коленях. Это первое дело!

Тимофей шел в крайнем ряду, дальнем от дороги; только поэтому жандармы не заметили его обморока. А может, не придали значения. Мол, колонну не задерживает, а там хоть на руках друг друга несите по очереди.

Жандармы по-прежнему почти не уделяли пленным внимания. Они плелись парами по тропке, которая вилась сбоку от проезжей части, болтали, дремали на ходу; их было одиннадцать человек — слишком много для такого количества пленных; и работа знакомая, приевшаяся. Война только началась, а они уже знали наперед, что с ними будет сегодня, и завтра, и через месяц. Они знали, что главное — не зарываться, не лезть вперед, потому что на войне умный человек всегда предпочитает быть вторым, чего бы это ни касалось: мнения на совете или инициативы в атаке. Правда, именно первые загребают львиную долю крестов, но среди них попадаются и березовые.

Колонна двигалась медленно. Ноги вязли в рыхлой земле, путались в стеблях пшеницы. Стебли казались липкими и не рвались — уж если заплело, их приходилось вырывать с корнями; от этого над колонной, не опадая, висело облако пыли, она оседала на губах, на нёбе, а смыть ее было нечем.

Из заднего ряда легонько хлопнули Залогина по плечу. Он обернулся. Сзади шел приземистый, крепкий парнишка с круглым лицом, белобрысый, курносый; с таких лиц, похоже, улыбка не сходит ни при каких обстоятельствах; сейчас она — добродушная, щедрая — настолько не вязалась с обстановкой, что совместиться, ужиться они никак не могли. И улыбка брала верх. Она опровергала самый дух плена...

— Слышь, паря, — сказал он Залогину, — давай сменяемся.

— Ага, — выдохнул Герка, — замечательная идея. В самую десятку.

С этим парнем Тимофею было легче идти. Он был крепче и не просто вел — на него можно было опереться по-настоящему, не опасаясь, что через несколько шагов он рухнет. Потом Тимофей увидел, что опирается на совсем другого красноармейца, и уже не удивился этому. Впрочем, он все время ждал, когда же наконец рядом снова окажется Залогин, и когда это случилось — обрадовался.

Как ни странно, по клеверу пошли легче. Может, приноровились, а может, подгоняла близость леса. Все уже мечтали о передышке в тени деревьев, но метров за двадцать конвоиры повернули колонну влево, на заросший подорожником проселок. Там в двух с половиной километрах был совхоз, это мало кто знал, и пленные опять упали духом.

Перед лесом у Тимофея всплыла мысль о побеге. Она была слепая и беспомощная и появилась только потому, что на нее не требовалось усилий. Лес — побег; эта связь была первым, что могло прийти в голову и пленным, и конвоирам, и особой чести не давала. Вот реализовать ее — другое дело. Но конвоиры отрезали пленных от леса. Чтобы пробежать эти метры, нужно всего несколько секунд. Очевидно, по тебе успеют пальнуть, быть может, и не раз. Это уже риск, на него надо решиться, чего никто из пленных, похоже, просто не успел сделать.

А потом проселок, отжатый картофельным клином, отвернул от леса на полторы сотни метров, и мимолетный шанс испарился.

Потом Тимофею стало совсем худо. Чалма, конечно же, расползлась, прямое солнце целилось в череп. Голова распухла и стала гулкой, словно колокол. Он уже не осознавал, где он и что с ним, ему чудилось бесконечное подворье родной «Азовстали», гудки маневровых «кукушек», запах железа, такой разный возле разных цехов, и весь мир выбелен солнцем, наполнен им, пронизан; только в сумеречной глубине цехов и свет был иной, и звук, и тепло — там формовала свой мир, насыщая его своей атмосферой, раскаленная сталь...

Потом он очнулся. Вокруг был полумрак. Сбоку приятно холодила сырая кирпичная стена. Под ним была солома, смешанная с навозом. По запаху Тимофей понял: конюшня. Рядом шел тихий разговор.

— Ты нас не подбивай, граница, не подбивай, тебе говорю. Тут не маневры: синие против зеленых. Тут чуть не то — и проглотишь пулю. И прощай, Маруся дорогая...

— Канешно, канешно, об чем речь! Жизня — она одна, и вся тутечки. Она против рыску. Это когда ты до бабы подступаешь, тогда рыскуй, скоки влезет. А жизня — она любит верняк, как говорится — сто про́центов.

— Цыть, — отозвался первый, — чо встряешь со своей глупостью? — Он передразнил: — «Сто про́центов!..» Скажи еще: сто три, как в сберкассе. Так тут те, слава богу, фронт, а не сберкасса. Тут, дурак, своя арифметика.

— Канешно, канешно, кто бы спорил...

Но по голосу чувствовалось, что второй остался при своем мнении, с которого не стронется.

— Я не подбиваю. — Это Герка Залогин. — Только, дядя, ты сам сообрази: сколько нас, а сколько их. И они даже не смотрят в нашу сторону. И вот по сигналу, все сразу...

— Ну, ты прав, граница, хорошо, считай, все потвоему получилось. Душ двадцать мы потеряем — уж ты мне поверь, это как в аптеке. Но зато воля. И куда мы после того подадимся?

— Ясное дело — к своим. Оружие понадобится — отобьем. Десять винтов для начала тоже неплохо.

— Оно, геройство, красота, канешно. Тольки все это ярманок. А германец повернется — и нам хана. Всем в одночасье.

— Слышь, граница, а он со страху говорит резон. Скажем: послали на нас взвод автоматчиков. Где мы будем после того?

— А ну вас обоих, — разозлился Герка. — Только я тебе скажу, дядя: если все время оглядываться, далеко не убежишь. Это я тебе как специалист говорю.

— Нешто с лагерёв бегал? — изумился второй. — Шо ж на границу взяли? По подлоге жил, выходит?

— Во навертел! — засмеялся Герка. — Почище графа Монте-Кристо. А я просто стайер.

— Стаер-шмаер... Чесать по-закордонному вас выучили, да все одно выше себя не прыгнешь. Коль в башке заместо мыслев фигушков, как семечков, понатыкано, так с ими и до господа на суд притопаешь.

— Аминь, — сказал первый. — Очень ты про себя складно рассказал, только нам без интересу твоя персона. Внял?

— Канешно, канешно...

— А ты, граница, не пори горячку. В плену не мед, зато цел живот. А вырвемся — и враз вне закона. И враз всякая сука из своего автомата нам начнет права качать. Ты думаешь, я не читал в газете: лучше умереть стоя, чем жить на коленях? Как же! Только всех этих товарищей, которые такие вот красоты рисуют, дальше КП полка не пустят — берегут драгоценную персону. Вот. Так что нашему брату лучше жить собственным умом. Может, и не густо, зато впору, в самый раз — и по росту соответствует, и в плечах.

— Ты за себя говори, дядя, а за других не расписывайся. Мне, например, этот лозунг вот здесь проходит, через сердце.

— И чем гордишься! Что живешь чужим умом? Ты себя самого сумей понять. А хочешь служить России — для начала выживи, продержись, а то кой с тебя толк будет — с мертвяка? Вот я и соображаю: чем горячку пороть да лезть на рожон, лучше переждем, пока наши обратно качнутся.

— По-твоему выходит, дядя, для нас война закончена?

— А ты не зверись. Уж без тебя и немца не придавят? Управятся небось. Скажи спасибо, что сейчас

лето. Ждать веселей: и не холодно, и с харчами полегче.

— Оно канешно, — снова втесался второй, — токи в лето нашим германца не положить. Вона как над фином исстрадались, а тут одного танку прёть мильён. Пока всего перепортишь — бабцы по нашему брату наплачутся.

— Танков у нас не меньше, — сказал Залогин.

— Канешно, канешно, — хихикнул в ответ. — Т-28 или БТ, хрен с ним, с винта не проткнешь. А как по нему с пушечки почнут садить? Ты видал, какая у германца на танке калибра?

— А про Т-34 ты слышал?

— Канешно! Сказочков послушать это я уважаю. Про белого бычка. Про деда и бабу, про курочку рябу...

Разговор прервался, потому что двое из пленных, которые под присмотром жандармов наглухо зашивали досками оконца конюшни, добрались уже сюда. Было слышно, как они топчутся снаружи. Толстые гвозди знакомо звенели под обухами топоров, лихо входили в сухую сороковку.

— Будто гроб зашивают, — тихо сказал Герка.

Образное восприятие мира было не свойственно Тимофею, поэтому даже такое банальное сравнение сработало в нем.

— А стихи ты писать умеешь? — спросил он.

— Писал. До шестого класса. А потом перестал... Я сколько себя помню, хотел пожарником быть. Брандмайором. — Герка помолчал, ожидая ответной реакции, но Тимофей с оценкой не спешил. — У нас половина класса мечтала в летчики податься, половина — в полярники. А я вот — в брандмайоры, — с вызовом заступился Герка за мечту своего детства. — Я ж из Замоскворечья, дядя. Мы через забор от пожарных жили. Как выходишь из ворот, сразу будка моего отца — он сапожник, и меня по этой части натаскивал. А я только на каланчу.

— Не пустили?

— Не пришлось. За канавой, на кондфабрике работал. Мельница там своя — вот на ней.

— Шоколаду небось натрескал на всю жизнь?..

— Там это строго.

— Ты гляди! — удивился Тимофей.

В конюшне было темно и душно. Спертый влажный воздух, уже пропущенный через многие легкие, оседал в них при каждом вдохе. Выдыхать его приходилось с силой, но уже следующий вдох забивал легкие еще глуше. Люди захлебывались этой тягучей бескислородной массой; они тонули в конюшне, словно опускались на дно теплого зловонного болота.

Под вечер жандармы распахнули ворота, и в конюшню, под напором задних шагая прямо по телам не успевших подняться красноармейцев, ввалилась еще одна толпа пленных. Раненых среди этих было куда больше. И они успели дать гитлеровцам настоящий бой! Если б им сегодня удалось продержаться, за ночь они бы так закопались в землю, что потом бы из нее немцам пришлось их зубами выгрызать. Но рядом было поле, на котором высокий немецкий штаб наметил оборудовать промежуточный аэродром. Уже на третий день войны аэродром должен был принимать самолеты. Бензовозы, передвижные ремонтные мастерские и техслужбы находились уже в пути. Ничто не могло поколебать предначертанный свыше график. А тут какой-то наспех окопавшийся пехотный полк... Смести! — и на полк, прошивая из пушек и пулеметов свежевырытые окопчики, которые были так отчетливо видны сверху, обрушилась целая эскадрилья «мессершмиттов». Они налетали по трое: падали сверху и шли в двадцати метрах над землей, рассыпая смертоносный визг и грохот, один за другим, колесом, так что и промежутков почти не оставалось. А потом со всех сторон навалилась, как показалось красноармейцам, целая армия. И все-таки они продержались почти полсуток.

В конюшне теснота стала главной проблемой.

Ночь прошла тяжело. Духота, нехватка кислорода, вонь экскрементов, стоны и бред раненых; собственные мысли — чем дальше, тем мрачнее, обостренные голодом и усталостью. Ночь подчеркивала беду, возводила ее в степень; детали, которые днем прошли незамеченными, теперь казались многозначительными — семенами, из которых взрастут будущие фантастические беды.

Ночь спешила сделать то, что не успел, как он ни старался, сделать день: разобщить людей. Разъединить их. Внушить им новую мораль: мол, в этих обстоятельствах старая себя изжила, тут уж на соседа не больно

надейся, больше полагайся на себя, на свою силу и хитрость; каждый за себя и против всех...

Ночь трудилась от светла и до светла и все-таки не успела. Утром наспех слепленные из отчаяния камеры-одиночки растаяли, как соты тают от жара. Это был уже сплоченный коллектив. Кошмар, длившийся целые сутки, не переубедил их, не сломал веры, в которой их воспитывали с самого рождения.

Правда, этому крепко поспособствовало еще одно обстоятельство. Едва затеплился свет, как до конюшни докатился тяжелый гул. Он возник вдруг и креп с каждой минутой. Сомнений быть не могло: где-то поблизости шел бой. Красноармейцы заволновались. И самые горячие уже собирались в ударные группы, хотя еще и неясно было, как вырваться из этих могучих стен. Но кадровые солдаты определили: бой идет далеко, до него километров пять, если не больше; это земля доносит звуки так явственно и скрадывает расстояние. Затем угадали еще одну деталь: бой идет возле шоссе. Наши прорываются! Но куда? Вскоре поняли: на ту сторону...

Бой кончился так же вдруг, как и разгорелся. Только выстрелы танковых пушек время от времени еще нарушали тишину. Они били с шоссе в противоположную от совхоза сторону... Значит — прорвались...

4

В шесть утра ворота бесшумно и легко раскрылись. В воротах стояли немцы. Западная часть неба за их спинами уже успела выцвесть, из синей стала блекло-голубой, почти побелела. День собирался жаркий и сухой.

— Встать!

Вчерашних жандармов не было. Их заменили пехотные солдаты. Они с любопытством заглядывали в конюшню. Почти к самым воротам подкатила линейка, на ней навалом лежали лопаты. Следом подъехали еще две. Откуда-то появился маленький, затянутый в ремни крепыш фельдфебель. Он был с усиками, с солдатским крестом на выпуклой бочкообразной груди, с большим пистолетом в новенькой, шоколадного цвета кобуре, которую носил на животе.

— Мне сказали, здесь есть переводчик, — произнес фельдфебель и быстро огляделся. Голос звенел так, словно в его горле были натянуты струны. — Ах, это ты? — сказал он вышедшему вперед молоденькому старшему сержанту. — Переведи им, что они будут обслуживать аэродром. Работа простая, но ее много. Надо хорошо работать. Кто будет работать — вечером получит еду. А кто не работает, — фельдфебель сморщил нос и развел руками, — тот не ест. Все.

Из толпы выдвинулся комбат.

— Согласно международному праву вы не можете принуждать нас работать, тем более на военных объектах.

Сержант переводил лихо туда и обратно.

— Господин фельдфебель уточняет: за любое ослушание — расстрел на месте.

— Еще вопрос: как быть с ранеными? Сорок три человека нуждаются в срочной госпитализации.

— Господин фельдфебель говорит, что раненые сегодня же будут эвакуированы.

Может быть, немец ждал какой-то реакции, но ее не случилось. Русские стояли немой стеной, с непроницаемыми лицами. Они еще не успели разобраться окончательно в такой сложной ситуации, как немецкий плен, не знали словосочетаний «лагерь смерти», «лагерь уничтожения», но им уже дали понять, что они вступили в пределы нового мира, где понятий человечности и нравственности не существует. Им дали понять, что они теперь — бесправное ничто. Это было внезапно. Этого никто не ждал. Сознание искало, как дать достойный отпор, и не находило. Но тогда в них проснулось нечто помимо сознания. Оно выплывало откуда-то изнутри, из сокровеннейших тайников крови, рождало гордость и презрение. Над ними можно было измываться, их можно было истязать, резать, колоть, убивать даже... Но унизить уже было невозможно.

Они и сами еще не знали этого (сознание неторопливо!), но это уже исходило от них. И первым это почувствовал фельдфебель. Ему стало не по себе. Правда, он так и не понял, в чем дело, отступил на шаг, еще отступил, что-то зло пробормотал под нос, стремительно повернулся на каблуке и ушел.

— Дядя, ты должен идти, понял? — еле слышно прошелестело возле уха Тимофея.

— Я смогу... — сказал Тимофей. — Вот увидишь...

— Будем выходить — выложись. Там уж как-нибудь. Главное — возле ворот чтоб не завернули, гады.

— Ладно. Билет свой заберешь?

— Ты что, сбесился, дядя? — разъяренно зашипел Залогин. — Ты должен пройти, понял?

В воротах Тимофея остановили. Примкнутый к винтовке штык лег плашмя на грудь и легонько толкнул назад.

— Господин солдат говорит, что ты не можешь работать, тебя надо эвакуировать, — перевел старший сержант.

— Их бин арбайтен, — улыбнулся Тимофей. — Их мёгте...

В углах рта немца была пена — плохой признак, по мнению Тимофея. Он слушал, как солдат роняет ленивые внятные слова, но ни одного не понял, кроме «найн», только и этого было достаточно.

— Да ты не на бинты смотри! — закричал Тимофей. — Во! — Он поднял руку и показал свой огромный бицепс. — За мной еще и не всякий угонится. Их бин арбайтен!

— Швайн!

Немец оказался заводной. Он чуть отпрянул и со злостью ткнул штык прямо в нагрудную повязку, будто колол чучело. Штык не вошел; как понял Тимофей — уперся в Геркин комсомольский билет. Но, если б там была даже голая грудь, Тимофей не отступил бы. Краем глаза он видел, что Герка подступает к ним с лопатой, и, хотя маскирует свои намерения любопытством, при негативном повороте событий немцу не сносить головы.

— Айн момент, — сказал Тимофей, пальцем отвел от груди штык и повернулся к Залогину. — Подай лопату.

Поставил ее на черенок, зажал конец лезвия пальцами, будто делал самокрутку, — и вдруг свернул лезвие трубочкой до самого черенка.

— Это айн, — сказал Тимофей, — а теперь цвай. — И развернул железную трубочку в лист.

Лопата, конечно, была безнадежно загублена, и при немецкой хозяйственности уже только за это можно было напороться на неприятность. Оставалось уповать на психологический эффект.

Немец хихикнул. Повертел обезображенную лопату в руках, оглядел с восхищением Тимофея и счастливо расхохотался.

— Камраден! — закричал он и, когда несколько солдат сбежались к нему, важно им объяснил, что тут произошло. Тимофею немедленно вручили еще одну лопату.

— Видерхолле!

Это был тщательно отрепетированный трюк. Трудность состояла в том, чтобы свернуть железо ровненько, а не скомкать в гармошку; тут важен был первый виток. Но руки знали урок, пальцы ощущали каждую слабину металла, учитывали ее и действовали без подсказки.

Первую лопату Тимофей свернул и развернул как-то сразу, вроде бы и усилий не затратил, во всяком случае, раны на это не отозвались. Со второй было хуже. Едва напряг пальцы, как ощутил толчок в грудь. Но он был готов к боли и вытерпел, он и не такую бы вытерпел и даже виду не подал, но тело не выдержало: оно защищалось от боли по-своему — выключая системы торможения. И если б это была не автоматическая реакция, а сознательный процесс, ему бы не было иного названия, кроме одного: подлость. Ты готовишься к схватке, ты весь в кулаке зажат; ты знаешь: что бы ни случилось, какая бы мука тебя ни ждала — ты переборешь ее и победишь. И ты кидаешься в схватку с открытыми глазами, но в решающий момент вдруг оказывается, что тело твое имеет какую-то свою, независимую от твоей воли жизнь, свое чувство меры и самое для тебя роковое — инстинкт самосохранения, который в критическую минуту берет на себя управление, и ты, уже почти торжествовавший победу, вдруг ощущаешь, как тело перестает тебя слушаться и сознание отключается — не сразу, но неумолимо и бесповоротно. И ты в оставшиеся мгновения переживаешь такую горечь, такую муку, такой стыд за свое невольное унижение, что любая физическая боль сейчас показалась бы благом — ведь в ней было бы тебе хоть какое-то оправдание! Но и ее нет, утешительницы, побежденной твоею волей и отупевшим в борьбе с нею телом...

— Колоссаль! — орали немцы, хохотали и хлопали друг друга и Тимофея по плечам. — Колоссаль!

Потом побежали за фельдфебелем. Тот пришел скеп-

тически настроенный, но, увидев изувеченные лопаты, восхищенно выпятил губы.

— Ловкая работа! Но ведь так он изведет нам инвентарь. Еще одну лопату жалко, камрады, а? Пусть он свернет что-нибудь ненужное, только потолще, потолще! — Он огляделся по сторонам и вдруг обрадованно звякнул струнами в своем горле и даже прищелкнул пальцами. — О святой Иосиф, как я мог забыть! Послушайте, камрады, ведь у этих русских есть такая национальная игра. А ну-ка притащите сюда подкову!

Еще сворачивая вторую лопату, Тимофей, чтобы не упасть, отступил на шаг, прислонился спиной к воротам и ноги поставил пошире. Багровый занавес колебался перед глазами, закрывал происходящее вокруг. Тимофей терпеливо ждал, пока это кончится, и в какой-то момент вдруг увидал подкову, как ему показалось — перед самым лицом. Тусклое окисленное железо, еще не отполированное землей. На подкову он среагировал сразу. Тут и пояснять ничего не требовалось. Правда, у него в роду гнуть подковы считалось бы пошлым, если б там знали такое слово. Но... желаете — получите. Он цапнул подкову, однако промахнулся, второй раз потянулся за нею осторожно...

Потом он помедлил немного. Это уже была сознательная хитрость: он вовсе не собирался с силами, как думали немцы, а просто ждал, когда растает багровая завеса. Он перекладывал подкову из руки в руку, словно примерялся, и ничуть не спешил, и наконец дождался, что завеса стала рваться, расползаться на куски, и в поле зрения ворвались молодые, возбужденные лица немцев, и оловянные пуговицы их мундиров, и новенькая портупея фельдфебеля, и даже триангуляционная вышка на дальнем холме почти в двух километрах отсюда. Сколько раз, проверяя дозоры, Тимофей видел эту вышку то слева, то справа от себя, весной и осенью, в полдень и в лунные ночи...

Пора.

Тимофей небрежно подкинул подкову, и она, спланировав, легла в ладонь так, как и требовалось... Р-раз... Он это сделал с демонстративной легкостью, хотя в нем напряглась и окаменела каждая клеточка, и даже почудилось, словно что-то лопнуло внутри. Что уж теперь...

В трех шагах стоял Герка Залогин. С перекошенным, обсыпанным потом лицом, с вытаращенными глазами, с новой лопатой. Увидев в раскрытой ладони Тимофея неровное ядрышко смятого металла, он шумно выдохнул воздух и засмеялся. И немцы тоже засмеялись, и пленные. Все опять пришло в движение. Тимофею вручили лопату, и он поскорее затесался в толпу.

— Ну, дядя, ну и воля у тебя! — лопотал Герка. — Ты ж как пьяный стоял. Один раз чуть вовсе носом не зарылся, ну, думаю, хана нам с тобой. А ты, выходит, тактик, еще и спуртуешь на финише! Ну даешь!..

Поле будущего аэродрома было близко. Пленных вели колонной по пять, они растянулись почти на двести метров. Голова колонны поблескивала зеркалами лопат, остальным лопат не хватило, они шли налегке. Солдаты конвоировали с обеих сторон.

Возле выгона, на котором, собственно, и предполагалось разбить аэродром, пленных посадили на обочине дороги. Мимо шли свежеиспятнанные камуфляжем грузовики и цистерны с горючим. Потом откуда-то примчался на легком мотоцикле офицер, уже настолько пропыленный, что невозможно было понять, в каком он чине. Офицер наорал на фельдфебеля, тот поднял колонну и повел ее наискосок через выгон, к роще, где на опушке надсадно рычали и стреляли синим дымом два экскаватора, рывшие узкий длинный котлован. Эта стрельба перекрывала все звуки уже дышавшего зноем утра: она четко раскатывалась по полю, и все же Тимофей услышал сразу, когда раздался первый настоящий выстрел. Выстрел щелкнул сзади, в хвосте колонны. Тимофей замер и, когда раздались еще три щелчка подряд — присел и обернулся, успел одновременно швырнуть на землю Герку Залогина.

От проселка вдоль колонны мчался немецкий мотоцикл с пулеметом в коляске. Трое конвоиров уже были убиты; четвертого пулеметчик прострочил на глазах у Тимофея. Солдат не успел даже сорвать с плеча карабин, пули отшвырнули его; он свалился в траву тюком, будто и костей в нем не осталось.

Но следующий солдат опередил пулеметчика и выстрелил в упор. Правда, его тут же сшибла коляска, и все остальное время, как позже вспоминал Тимофей, он бился на спине, норовил выгнуться, упираясь в землю пятками и затылком, но его что-то колотило изнутри, и

он срывался и начинал выгибаться снова, и опять срывался, и все время кричал, кричал непрерывно.

Однако пулеметчика он убил.

Колонна уже лежала — и пленные, и конвоиры. По эту сторону осталось трое солдат. Двое бежали без оглядки, но один уже стрелял с колена, причем не спешил, тщательно прицеливался перед каждым выстрелом. Он посылал пулю за пулей, только все зря: такой, видать, это был стрелок.

Стреляли и остальные конвоиры. Пули тянулись к мотоциклу, стягивали вокруг него свинцовый узел, и, судя по всему, одна из них должна была вот-вот поставить точку в этом спектакле.

Но если так думали пленные, если в этом не сомневались немцы, водителю мотоцикла, пожалуй, эта мысль и в голову не приходила.

Увидав, что пулеметчик убит, он резко остановил мотоцикл, выхватил из коляски «шмайссер» и дал длинную очередь над колонной.

— Ребята, в атаку! — кричал он. — Я вас прикрою. Вперед!

Это был Ромка Страшных. Ну что с него возьмешь? Как в мирное время был шалопутом, так и воюет не по-людски. «Ромочка, миленький! — хотел крикнуть Тимофей. — Поберегись! Спрячься!» Но, приподнявшись на локтях, прохрипел неожиданно для себя:

— Красноармеец Страшных, как ведете бой!

— Тимка! — закричал Страшных. — Что у тебя за компания подобралась землеройная? Поднимай их в атаку!

5

Этот бой длился, наверное, минуты две. Может быть, больше. Может быть, даже целых десять минут. Не знаю. Счет времени шел особый, потому что случился не обычный бой, а сложнейшая трансформация: толпа пленных превратилась в коллектив, а он, в свою очередь, — в воинскую часть, которая умеет все, что положено: наступать, и отступать, и держать оборону. Второй раз превратить этих солдат в толпу пленных уже невозможно: они не сдадутся. Просто не сдадутся, как бы ни сложился бой — и всё.

Лежит колонна посреди выжженного солнцем поля. Голо. Каждый на виду. Смерть то посвистывает над головой, чуть по волосам не ведет, то вдруг, забурившись в землю перед лицом, порошит в глаза комочками глины. А уж следующая пуля — точно в тебя, и, если опять не достанет, летит снова и снова: твоя — в тебя, твоя — в тебя (о господи, сколько это может продолжаться!), в тебя...

Так умирает трус — снова и снова. И так считает свои пули герой.

Это труд солдата: лежать и ждать. Это его долг. Тысячу раз умереть, но не дрогнуть, и, дождавшись приказа, подняться, и пойти вперед, и, если понадобится, — умереть.

Но прежде солдат должен знать: будет приказ. И все его мужество под пулями сводится к этому — дождаться приказа.

Но если он сейчас еще не солдат? Ведь он пока что только военнопленный. Кто ему может приказать? Разве что конвоир. А свой брат военнопленный, пусть он вчера сколько хошь кубарей носил, и даже шпал, даже ромбов! — то вчера было, а сегодня вчерашний генерал не указ, сегодня они одного поля ягоды, одно им имя — военнопленный. Сегодня для обоих и закон, и право, и бог, и судьба, и мать родная — конвоир.

Где же та сила, которая поднимет человека на ноги — может быть, на смерть — и бросит вперед, на врага, на верную смерть?.. Ведь если остаться лежать, вжаться в землю, спрятать голову и лежать, лежать — может быть, пронесет...

Сложный вопрос.

И вот падают секунды, падают в прошлое одна за другой, а колонна лежит. Роет носом землю. А над нею, поверх голов, ведет бой пограничник Ромка Страшных. Все свои козыри он выложил. Осталось ему одно: помереть с музыкой.

Не получилось атаки. Что значит армейская школа: соблюдают субординацию, ищут старшего. Приподнимаются: «Комбат! Кто видел комбата?» И еще ответа не дождались, а уже побежал слушок: убит комбат.

Только не всех нужно подталкивать, не каждому нужен приказ. Кто поотчаянней да побезоглядней, как почуял случай да как увидал — вот они, убитые немцы, лежат, и рядом — одна короткая перебежка! — их ка-

рабины валяются — заряженные, полуавтоматические, с хорошим боем... эхма! Где наша не пропадала! Двум смертям не бывать... — бросился к оружию. И сразу же бой разбился на несколько поединков. Пули визжат, торопятся, обгоняют одна другую. Уцелевшие немцы лежат удобно, как на стрельбище: ноги для устойчивости разбросаны, локтями прочно в землю упираются, и ведь стараются целиться, да разве совладаешь с нервами? Пляшут в руках карабины, пули рвут воздух. И у красноармейцев не лучше. Эти и не хоронятся вовсе: кто как пристроился, так и шпарят выстрел за выстрелом, почти не целясь, словно задались поскорее пожечь все патроны. Один даже просто сидел, подвернув по-турецки ноги, и каждый выстрел почти опрокидывал его, да разве в такую минуту сообразишь завалиться на бок и лечь поудобней? Времени нет, и мысль (даже не мысль, потому что он сейчас не думает, он только стреляет, вся жизнь его в этой обойме) у него одна: вон того, конопатого, с железными зубами, с кольцом, с родинкой под левым глазом — убить, убить, убить...

И еще несколько пленных сорвались, скопом навалились на головного, стрелявшего с колена немца. Но этим сразу не повезло: вслед им мягко пролетела граната с длинной деревянной ручкой, и рыжая вспышка расшвыряла тела.

Страшных стрелял короткими очередями. Стрелял не целясь и не надеясь попадать — только прижимал. Стрелял уверенно; пули не зарывались в траву, не исчезали в ней бесследно, как бывает в таких случаях, — они тянулись к немцам белыми визжащими жуками, каждая пуля была видна, и это тем более угнетало немцев. Что и говорить, Ромке повезло, что автомат оказался заряженным трассирующими, только все равно это долго не могло продолжаться.

Против него сейчас было четверо. Потом осталось трое: фельдфебель приподнялся, чтобы удобнее было кинуть вторую гранату, теперь уже в мотоцикл, но тут уж Ромка не сплоховал. Пуля сбила фельдфебеля, словно удар подсечкой. Фельдфебель неловко свалился в траву, тут же приподнялся на четвереньки — видать, уже ничего не соображал, — переступил вперед руками, а потом у него в правой руке хрустнуло пламя, и взвизгнули осколки, оставляя в траве мгновенные бороздки.

А уже из рощи, разворачиваясь в цепь, на подмогу своим бежали автоматчики. Веселые и решительные, они еще не были в бою ни вчера, ни сегодня, у них еще никого не убило, и они предвкушают этот бой, предвкушают, как за сто метров откроют огонь, будут идти в полный рост и поливать свинцовыми веерами: в каждой руке по автомату, их рукояти защелкнуты в гнездах на животе — бо-по-по-по, — с обеих рук, только и работы, что нажимай на спусковые крючки да вовремя меняй опустевшие магазины, шагая в полный рост по выщипанной траве залитого солнцем выгона. Ах, как прекрасна жизнь, когда знаешь, что ты силен и бессмертен, что ты шагаешь к победе, идешь пролить кровь жалкого врага, много крови, тяжелый дух которой уже бьет в твою голову, в мозг, через ноздри, тяжелый и сладкий дух!..

Бегут автоматчики. Каждый на несколько секунд исчезает в свежевырытом котловане и вдруг выскакивает, как отсюда кажется, гораздо ближе. Уже вырвались из-под деревьев и запылили в объезд, явно с намерением отрезать путь к отступлению, три мотоцикла с пулеметами на колясках. А затем появился бронетранспортер, однако дальше котлована не пошел: его крупнокалиберный и на таком расстоянии брал хорошо.

Лежат пленные. Кто может знать, что сейчас у каждого из них на душе? Почему оглядываются друг на друга?..

Лежит пограничник Тимофей Егоров. Ждал команды в атаку — уже не ждет. Лежит последние мгновения. Лежит только потому, что это ох как не просто — встать под пули. Знает, что это конец, и смертная тоска разливается в его теле сонной истомой, и вот надавило изнутри на его глазные яблоки, и боль перечеркнула их, как бритва. Но он уже ничего не мог изменить. Он был пограничником. Он знал, что и Ромка знает, что он, Тимофей Егоров, вступит сейчас в бой. Ромка и помыслить не мог иначе — ведь оба они пограничники! Выходит, им судьба погибать рядом. Вдвоем.

Впрочем, Герка! Герка на месте. Морщит нос, нюхает воздух, как собака. Значит, их трое. Совсем весело помирать!

Тут подоспел момент, когда у Ромки должен был опустеть магазин «шмайссера». Это был уже второй ма-

газин. Первый он и опустошил быстро, и заменил как-то сразу: немцы не успели оправиться от растерянности; интервал почти не отразился на ритме боя. Другое дело теперь. Теперь немцы ждали именно этих неумолимо приближающихся секунд. Их секунд. Чтобы можно было поднять голову, спокойно прицелиться — и увидеть, как твоя пуля сбила с мотоцикла этого нахального парня. И Ромка знал, что они выжидают, и дождутся, и убьют его сейчас, и ничего не мог придумать во спасение, потому что время, когда было возможно перебраться за пулемет, он упустил, а теперь уже не позволят. Не дадут... И очереди его поневоле беднели, и каждая следующая чуть мешкала по сравнению с предыдущей, и что-то неуверенное в них появилось, и росло, росло...

Тимофей видел все это. Знал: надо вскочить и добежать до пулемета, прежде чем истощится магазин. Надо!.. Он попытался оттолкнуться от земли, но даже напрячь руки не смог. Вдруг оказалось, что сил нет. Ушла куда-то вся сила. Организм опять предал его: предохранительный клапан в системе самосохранения выпустил из него всю силу, как пар, и он лежал, огромный и беспомощный, умирал от стыда и не знал, как одолеть этот страх, который был не в душе, не в мозгу — это его тело не хотело умирать и боролось с его умом, и душой, и волей. И как только Тимофей понял, что душа и воля ему верны, он уже знал, что покорит тело, заставит его подчиниться. Только для этого нужно время. Совсем-совсем немножко...

Беспомощно клацнул затвор — кончились Ромкины патроны...

— Красноармеец Залогин — к пулемету! — приказал Тимофей.

— Есть!

Залогин на четвереньках кинулся к коляске.

Страшных, прямой и окостеневший, не сводя взгляда с шевелящихся дул карабинов, на ощупь тыкал новый магазин, но обе кисти у него были забинтованы: и ладони, и каждый палец в отдельности, и он не находил гнезда. Он тыкал магазин, но не попадал скобкой в гнездо, и не смел опустить взгляда на автомат, потому что отверстия в наведенных стволах гипнотизировали его, и он все тыкал магазином и смотрел, когда же плеснут из этих черных дырочек белые огоньки.

— Падай!..

Ромка опередил выстрелы на миг. Он рухнул на землю, потом сел и уже не смотрел по сторонам, занимался только автоматом. А рядом с ним щедро, заливисто и четко бил пулемет. Сперва по конвоирам, потом — по набегающей цепи.

И вдруг, словно он был и в самом деле громче винтовок и пулеметов, над выгоном раздался уверенный, привычно-командный голос:

— Батальоооон!..

Комбат стоял открыто, свободно; в левой руке штыковая лопата, правая выразительно зажата в кулак. Он сделал паузу как раз такую, что его увидели все, и, когда он понял, что его видят все, резко выкинул кулак в направлении автоматчиков.

— В атаааакууу! Ура!

— А-а-а-а!.. — взметнулось над полем.

Это был не крик — это был стон. В нем сплелись и ненависть, и отчаяние, и торжество, и уверенность, и счастье.

Сотни людей разом бросились вперед что было мочи. Охрану забили, зарубили, не задерживаясь, походя, между делом. Но главное — автоматчиков захватили врасплох. Те опомниться не успели, а красноармейцы уже рядом: до них семьдесят — шестьдесят — пятьдесят метров. И как их много, господи!.. Немецкая цепь, еще несколько секунд назад уверенная и неудержимая, попятилась, попятилась — и сыпанула кто куда. Правда, несколько автоматчиков не побежали, они били с пояса в лицо красноармейской ревущей стене; свинец пробивал в ней бреши, но они заливались новыми людьми, рвущимися навстречу пулям, и это было страшней всего. Автоматчиков изрубили. Кто-то поджег бронетранспортер. Он так и не успел повлиять на судьбу боя: сначала молчал, опасаясь побить своих, а потом удрать не дали — изорвали пулями скаты. Сожгли его сгоряча и, пожалуй, напрасно: он еще мог пригодиться. В роще, собственно, боя уже не было. Немцы отступали в стороны, пропуская превосходящие силы красных. С оружием у красноармейцев было все еще плохо: винтовку или автомат имел в лучшем случае один из десяти, но численно они в несколько раз превосходили аэродромную команду, и атакующий порыв умножал их силы.

Всего этого Тимофей не видел. Он поднялся в атаку вместе с остальными, пробежал немного и рухнул: ноги подворачивались, слабость обволакивала туманом. Он собрался с силами, весь напрягся, но встать не смог. Только глаза открыл — лишь на это его и хватило.

Он увидел, что сидит, привалясь спиною к мотоциклетной коляске. Рядом стучало железо, кто-то разговаривал. Но ведь я бежал в противоположную от мотоцикла сторону... уверенно вспомнил Тимофей. Я бежал со всеми... как же так вышло...

Это был все тот же выгон — огромный, местами вытоптанный, местами зеленевший спелой травой, уже пошедшей в метелку. Над плешинами дрожал прогретый воздух. Тела убитых были такие же выцветшие, как трава, и почти неприметные. По проселку, как и прежде, пылили редкие немецкие машины. В роще что-то чадно горело, но стрельба уже ушла далеко. Пожалуй, рощу ребята прошли, прикинул Тимофей; теперь бы догадались на виноградник свернуть, а там рукой подать до настоящего леса.

Как же так получилось, подумал Тимофей, что я вырубился и даже не заметил этого?

Попросил пить. Откуда-то сзади появился Ромка, присел на корточки, отвинтил колпачок с большущей, зашитой в серое сукно фляги, прислонил к губам Тимофея. Тот сделал четыре глотка — и вода кончилась.

— Через несколько минут будешь купаться в речке, — улыбнулся Страшных.

— А за своими никак не успеем?

— Никак, Тима. Поздно.

— А если под самое шоссе подвернуть?

— Я только что оттуда, Тима.

— Ладно. Крепко вы из-за меня вляпались.

— Ну уж из-за тебя! Не больно воображай, комод. Просто мне переднее колесо разворотили крупнокалиберным. Ставим запасное. Ну и тебя тащить — если без мотора — нужен на первый случай хотя бы слон.

— Он у вас прямо сатирик, товарищ командир, — отозвался Залогин. — Прямо сил нет, какой скорый на язык. Прямо выкопанный Салтыков-Щедрин. А все через что?..

— Да, «через что»? — развеселился Страшных. — Мерси-пардон, тряхни извилиной.

— А все через гордость, дядя. Чтоб не показать,

какого страху натерпелся, пока перед фашистами на этой керосинке катался.

— Это я натерпелся страху? Я?!.

— А кто ж еще? Губы во как развесил. Я уж думал — сейчас заревешь.

— А ну повтори про губы, змей...

— Зря ты на него, Гера. Он же видел нас с тобою, — вмешался Тимофей. — А пограничник пограничника в беде не бросит. Он это знал. Ты ведь знал это, Страшных?

— При чем здесь пограничники? А остальные что — не советские люди? Не красные бойцы? Я знал, что поднимутся все.

Они усадили Тимофея в коляску, втиснув рядом с убитым пулеметчиком, которого почему-то не сняли. А уж от рощи сюда бежали немцы, и давешние три мотоцикла неторопливо катили сюда же, расползаясь веером, чтобы не создавать удобную цель.

Страшных сидел на водительском месте.

— Кажется, придется пострелять, — с сожалением сказал он.

— Понял, — сказал Тимофей и стал выбираться из коляски. — Не бойся. Если недолго — я удержусь.

Громогласно кашляя — по немецкому обыкновению глушителя на нем не было, — мотоцикл даже не рванулся — прыгнул вперед и полетел наискосок через выгон. Пограничники сразу оказались на одной линии между мотоциклами и идущими по проселку машинами, и потому немецкие пулеметы молчали.

— А комбат какой мужик оказался колоссальный, а? — кричал, наклоняясь к Тимофею, Залогин. Видать, эта мысль в нем все время сидела, да только сейчас прорвалась. — Вот не ждал. Ну никак! Я-то думал — рохля он, слабак. А у него, выходит, думка была. Во как момент рассчитал — автоматчиков прихватили. Ты меня живьем зажарь, дядя, я такого не придумаю. Я бы совсем в другой бок попер... Во мужик оказался!..

6

Начало войны Ромка Страшных встретил на гауптвахте. На гауптвахте он сидел четвертые сутки, всего полагалось пять, и как ему это надоело — описать невоз-

можно. Вырваться досрочно был только один путь — через лазарет, но фельдшер в последнее время стал бдителен. Правда, к этому у него были основания. Еще в прежние свои штрафные денечки Ромка уж чем только не «покупал» его, начиная от нарушения вестибулярного аппарата и кончая почти всамделишным желудочным кровотечением. Когда же не только для всей заставы, но и для самого фельдшера стало очевидным, что Ромкина изобретательность куда мощнее, чем его, фельдшеровы, медицинские познания, он озлобился, как это часто бывает с недалекими людьми, если случается поплатиться за простодушие. А тут и Ромкин арсенал иссяк. И когда он, можно сказать, с отчаяния, но тем не менее не желая повторяться, наглотался слабительного, его непритворные муки вызвали только унизительные насмешки. И поделом: ну кто поверит, что гауптвахтным меню можно отравиться?

Когда начался бой, о Ромке просто забыли. Немцы наступали большими силами, хотели сразу сбить пограничников и вырваться на оперативный простор. Удар был нацелен прямо на заставу. Уже через пятнадцать минут броневики ворвались за ограду. К сожалению, им это сошло: спросонок гранаты и бутылки с горючей жидкостью стали швырять в них раньше срока, удалось поджечь только один броневик, да и тот укатил своим ходом. На опушке, в семистах метрах от заставы, немцы остановились и потушили огонь. Тут как раз подоспела их пехота, и они пошли в атаку снова, теперь уже всерьез.

Команду «в ружье» Ромка проспал. Его разбудили взрывы гранат. Стены казармы дрожали, с потолка обвалился кусок штукатурки, где-то неподалеку били винтовки и сразу несколько пулеметов, и одна очередь, не меньше пяти пуль, пришлась в стену рядом с помещением гауптвахты. Ромку это не испугало. Казарму сложили из дикого камня, даже сорокапятке она была не по зубам, но относительная безопасность скорее огорчила Ромку, чем обрадовала. Он считал — и это на самом деле было так, — что не боится ничего на свете; в риске он видел только положительную сторону, и, если бы вдруг произошло чудо и стены из каменных превратились в картонные, и в них то там, то здесь — вззза! вззза! — возникали бы рваные пулевые отверстия, он испытал бы восторг и упоение. Он бы жил! Он метался

бы от стены к стене, он вжимался бы в пол и смехом встречал каждую обманутую им пулю...

Ромка подбежал к двери и забарабанил в нее изо всех сил. Часовой не отзывался. Ромка стал кричать, потом схватил табуретку и в три удара разбил ее о дверь. В коридоре было по-прежнему тихо. Меня забыли, понял Ромка. Они забыли обо мне, паразитские морды, а может, и нарочно оставили, назло, потому что я им плешь переел, и теперь они без меня разобьют фашистов и получат ордена. Ну конечно, они меня нарочно оставили, они ведь знают, как я мечтал о настоящем бое, и чтобы потом меня вызвали в Москву, в Кремль, и Михаил Иванович Калинин сам бы вручил мне орден.

Выломать дверь или прутья в окошке под потолком нечего и помышлять: все сделано на совесть. Остается ждать.

Тут Ромка заметил, что он пока еще в одних трусах. Он оделся, не без труда добрался до окошка и несколько минут висел, подтянувшись на руках и прижав лицо к выбеленным известкой толстым прутьям. Задний двор был пуст. Только вдоль кромки волейбольной площадки медленно ходил оседланный помкомвзводовский пегий конь Ролик; он щипал траву и никак не реагировал на выстрелы. Очевидно, пули сюда не залетали. «Ролик! Ролик!» — позвал Ромка, но конь не услышал, и тогда Ромка понял, что, даже если здесь появится кто-то из ребят, докричаться до него будет невозможно. Ромка спустился вниз, сел на топчан и стал думать, как несправедливо устроен мир.

Но как ни велика была обида, мысли эти едва занимали Ромку и не доходили до сердца. Он ловил звуки боя и пытался расшифровать их, и в общем это у него получалось. Он точно угадал момент, когда немецкая пехота залегла, крикнул «ура», вскочил и забегал по камере, не зная, к чему приложить рвущуюся наружу энергию. Обреченный на безделье, он решал бой как задачку — за наших и за немцев. Больше всего он опасался обхода — с тылу лес подходил к заставе почти вплотную. Что противопоставить такому маневру, Ромка не знал, и его била дрожь от напряжения. Ну, наш капитан! — думал Ромка, наш капитан найдет, что им ответить! уж он такой! тихий-тихий, а успевает в самый раз, это точно!

Он вполне полагался на капитана, но тем не менее слушал, не начинается ли и в тылу. Однако немцы приняли другой план. Ромка угадал его, когда раздался второй тяжелый взрыв (первый мог быть случайным). Артобстрел, понял Ромка, и тут же поправился: тяжелый миномет. И лишь затем с опозданием сообразил, как легли мины. Вилка! И он, Ромка Страшных, в самом центре...

Следующий залп он услышал. Стрельба вдруг затихла, и сквозь стекла, стены и перекрытия, сквозь воздух, сквозь Ромкино тело вонзились в его мозг визжащие стремительные сверла. Ромка отпрянул к стене, распластался на ней, а она билась у него за спиной, вдруг ожившая на несколько предсмертных мгновений.

Гром разрыва каким-то образом выпал из сознания Ромки, словно его и не было, словно мины взорвались бесшумно. Через лопнувшее окошко лился вязкий тротиловый смрад, он мешался с известковым туманом, и эта смесь мельчайшими иглами сыпалась в глаза и горло. А где-то вверху воздух уже снова скрипел, сверла жевали его — ближе, ближе...

Невероятным усилием воли Ромка отклеился от стены, сделал, как ему показалось, один медленный шаг... второй... стянул матрац... и, накинув его на себя, вполз под топчан...

Стены рухнули так легко...

Он выбрался только под вечер.

Солнце садилось за лесом. Уже восемь, прикинул Ромка. Это не имело никакого значения — который час и сколько времени прошло. Главное, он все-таки выбрался. Вылез, продрался наверх из своей могилы, и вот сидит на груде битого стекла и черепицы, и дышит, и водит пальцем по теплой поверхности камня, и дышит свободно, и щурится на солнце, и может подумать, что бы ему эдакое отчудить сейчас необычное и резкое, чтобы встряхнуло всего, чтобы еще отчетливей ощутить: живой...

Он услышал за спиной шаги, неторопливые тяжелые шаги по хрустящему щебню, повернулся... У него остановилось дыхание, он даже головой затряс, чтобы наваждение исчезло. Нет, не почудилось. По дорожке, выложенной по бокам аккуратно побеленными кирпичными зубчиками, прогуливался высокий сухощавый немец. Это был пехотный лейтенант лет восемнадцати, в но-

венькой форме и без единой орденской ленточки, совсем еще зеленый. Он был задумчив, руки с фуражкой держал за спиной, смотрел себе под ноги и только потому не заметил Ромку. Однако стоит ему поднять глаза и чуть повернуться...

Немного в стороне, поближе к уцелевшей кухне, отдыхали на траве еще трое немцев; возле самой кухни их был добрый десяток, а в садике стояли их маленькие пушки...

Ромка сжался и, стараясь не выдать себя ни малейшим звуком, стал втискиваться обратно. Медленно-медленно. Наугад. Как повезет. Он сполз вниз, а сам глаз не спускал с лейтенанта, оценивая равномерность его шагов, их уверенность, оценивая каждую деталь в фигуре лейтенанта, каждое его движение, потому что он обязан был угадать момент, когда лейтенант решит повернуть обратно. Не когда повернет, а когда только решит это сделать.

Сантиметр вниз, еще сантиметр, еще... Чувства так обострились, что стало казаться — исчезли сапоги, и он кожей обнаженных ног — пальцами, ступнями — ощущает еле уловимые прикосновения изломов кирпича, и стекло, а это вот, пожалуй, какая-то ржавая железка, опять кирпич...

Ромка был уже по пояс в норе, когда по фигуре лейтенанта понял: сейчас повернется. Ну!..

Всей тяжестью Ромка ринулся вниз, одновременно стараясь ввинчиваться наподобие штопора, успел выиграть сантиметров двадцать, погрузился уже по грудь, но дальше не пошло. Камни и камушки всех калибров хлынули отовсюду, из всех пор этой проклятой кучи, застревали возле груди и бедер, и Ромка чувствовал себя уже не в норе, а в цементной жиже, и с каждым мгновением цемент схватывался, крепчал, еще миг — и он скует Ромку намертво, а лейтенант уже поворачивался, сейчас повернется совсем, поднимет голову — не может не поднять! ведь это естественный непроизвольный жест, его делают все люди, каждый, когда вот так поворачивается, — он поднимет голову и увидит Ромку, нелепо торчащего из кучи щебня: эскиз памятника (бюст на насыпном постаменте) пограничнику-неудачнику Роману Страшных.

Ромка уперся руками в щебень и дернулся вверх. Не помогло. Больше того: он почувствовал, как от это-

го движения грунт вокруг тела только уплотнился. Но Ромка упрямо дернулся еще раз. Толку не было.

Ну что ж, сразу смирившись, подумал он, победитель выявился. Поглядим, как ведут себя зрители.

Ромка поднял голову, уверенный, что встретится взглядом с лейтенантом. Тот стоял вполоборота к нему и любовался закатом...

Я был прав, сказал себе Ромка, это дурной труд — бояться. Бессмысленное занятие. Надо дело делать, остальное приложится.

Он прикинул, что бы могло его держать, и решительно вывернул из-под левой руки пластину из нескольких кирпичей; потом начал вытаскивать камни из-под правого бока, штук пять вынул — тех, что были на виду. Еще раз глянул на немца, уперся руками и, извиваясь, выполз наверх и лег плашмя, закрыв грудью яму, чтобы хоть немного приглушить шум осыпающихся камней.

Левый сапог остался внизу, в норе.

Лейтенант прошел назад, но теперь заметить Ромку с дорожки было мудрено, разве что специально его бы искали. Однако со стороны он был виден преотлично, поэтому не стал испытывать судьбу, и, как только немец отошел подальше, отполз в глубину развалин, в укромное местечко за уцелевшим куском стены, которая прежде разделяла коридор и кабинет для политзанятий. Масляная краска со стороны коридора обгорела и полопалась, и сейчас было похоже, будто на эту стену наляпали грязной мыльной пены, она высохла, но неопрятные круги и разводы остались. И еще остались два железных крюка, на которых всегда висела рама для стенгазеты. Рамы не было; может, сорвалась, а скорее просто сгорела.

Ромка сел. Стащил с ноги уцелевший сапог. Пошевелил разопревшими пальцами. По стерне таких ног и на сто метров не хватит. Ничего, надо будет — и по стерне пойдут как миленькие, безжалостно решил Ромка. Потом он поглядел на руки.

Странно, что они не болят, подумал он. Наверное, уже отболели свое, а теперь у них какое-нибудь нервное замыкание. Шок. Паралич осязательных центров. Но это шуточки, а все-таки странно, почему они не болят. Вроде должны бы.

Пальцы и ладони были изрезаны и разбиты; что называется, на них места живого не было. Кровь, заме-

шанная кирпичной пылью, засохла хрупкой бугристой корой. Ромке показалось на миг, что пальцы оцепенели и он их теперь не сможет согнуть. Как бы не так! Держа руки перед лицом, он стал сжимать пальцы нарочно медленно. Из-под сгибов между фалангами проступила свежая кровь. Не обращая на нее внимания, Ромка сжал пальцы в кулак, стиснул что было силы. Хорош! Еще как послужит!

Это было не самоистязание. Просто ему надо было еще раз убедиться, что он остался прежним, что в нем не сломалась даже самая маленькая пружинка.

А сломаться было от чего. Самым жутким, конечно же, был первый момент, когда казарма рухнула и какая-то глыба, пробив топчан, сунулась в матрац тупым тяжелым углом и давила Ромке между лопатками, выламывая позвонки. Насколько позволяла высота, Ромка стоял под топчаном на четвереньках, упирался в пол и что было сил давил вверх навстречу глыбе, а она ломала, ломала ему спину, но он не уступал, держался и только кричал от боли: «Аааааа!!!» — кричал, но держался, потому что, если б он уступил и лег на пол — это был бы конец.

Он не помнил, как это кончилось. Не знал, сколько был без памяти. Очнулся в темноте. Понял, что лежит на правом боку на остром щебне. За спиной был все тот же матрац.

Где-то совсем рядом гремели разрывы и часто сыпались выстрелы. И горело. Ромка не слышал пламени, зато жар просачивался к нему отовсюду и душил дым. Утренний ветер еще не поднялся, понял Ромка, вот дым и оседает.

Он попытался вспомнить, когда этому ветру будет время, но не успел. На него навалилась дурнота, пол стал крениться, заскользил вперед по ниспадающей дуге, все быстрей и быстрей; Ромка летел на нем, как на плоту с водопада. Площадка была совсем маленькой, только одному на ней и хватило бы места, она летела вниз, и конца этому падению не было видно...

Когда он очнулся, вокруг была тишина. Это означало, что наши получили подкрепление, отбили немцев и погнали их к границе, и там либо все успокоилось, либо наши гонят их еще дальше, иначе Ромка слышал бы отголоски боя — земля и камень проводят звук лучше любого телеграфа.

Отравление дымом было не очень серьезным, и, едва Ромка почувствовал себя мало-мальски сносно, он стал выбираться. Сейчас он не опасался за собственную жизнь, и в какой-то момент усталость нашептала ему, что наилучший выход — просто лежать и ждать, пока ребята разгребут эту кучу и доберутся до него. В том, что это случится, и очень скоро, он был совершенно уверен. Да иначе и быть не могло! Ребята не могли поступить иначе. Это было бы дико, это было бы противоестественно — если бы они при первой же возможности не разгребли завал, чтобы вытащить его на белый свет, живого или мертвого. Как только у них развяжутся руки, они сделают перекличку и вспомнят, что Ромка Страшных остался в каталажке. И тут же бросятся на выручку. Факт! Если хоть один уцелеет, кто знал, что Ромка оставался здесь, — он придет и разроет этот мусор. Все это приятно, конечно, однако Ромка предпочитал обойтись без посторонней помощи. Мерси-пардон! С нашими делами разберемся сами. Потом будет что рассказать...

Ромка ощупал завал. Кирпичи. И одиночные, и слепленные цементом в глыбы. Камней не было. Значит, его засыпала внутренняя стена. Перегородка. Впрочем, один черт.

Некоторые кирпичи «дышали», то есть их можно было шевелить. Едва касаясь их поверхностей, Ромка находил самый слабый, осторожно вытаскивал. Затем следующий. Складывал их стеночкой, по сантиметру продвигаясь вперед.

Сначала он потел. От слабости, от духоты, от недостатка воздуха. Потом пот кончился — и стало еще тяжелей. Он не задумывался, сколько времени прошло, сколько минут или часов стоили ему очередные сантиметры лаза. Он просто лез. Ощупывал камни, находил слабые места, вынимал, складывал и перекладывал и лез, лез... Над головой, над плечами была только зыбкая кирпичная толща, но чаще это было не «над», а «на» — на голове, на плечах, потому что он протискивался, буравил, поддерживал и лез, а потом ощупывание камней потеряло смысл: он уже не чувствовал, к чему прикасаются его разбитые пальцы, стал ошибаться, начались обвалы. Только первый его испугал, а потом он с ними смирился, хотя это было чертовски сложно — каждый раз начинать сначала: по санти-

метру, по самой ничтожной малости вновь создавать сметенный мир... освободить руку... вторую... освободить лицо... Упорядочивать хаос, вынимать и складывать, создавать пространство из ничего, вынимать и складывать, укладывать, протискиваться, лезть вперед, лезть вперед, лезть...

И вот он вылез. Знать бы, куда смылись все ребята, подумал Ромка, и решил, что пора двигать.

7

Ночь приближалась быстро. Мучила жажда. Немцы уходить не собирались. Надо было заметить, где они располагаются на ночь, где поставили часовых. Ромка медленно встал во весь рост и только теперь увидел, откуда шел запах, который беспокоил его все время, пока он сидел.

В нескольких метрах от него, там, где прежде был вестибюль, а теперь зияла яма — мины пробили перекрытие котельной, — навалом лежали трупы пограничников. Они местами обгорели, и Ромка сначала подумал, что это последствия пожара. Трупов было много. Видимо, немцы стащили их сюда со всей заставы. Двери парадного входа валялись в стороне, рама обгорела до кладки. Немцы могли сбрасывать трупы почти от входа.

Но потом Ромка увидел еще один. Пограничник лежал в трех шагах; рядом, возле оконного проема, валялась его винтовка. Позиция никудышная, потому что немцы могли подобраться к нему почти вплотную, что они и сделали, наверное. Он лежал на спине, и по тому, как у него обгорели голова и руки, и по характеру единственной раны — его пристрелили в упор, прямо в сердце, он уже не видел ничего, как подошли к нему, не видел, катался от боли, а потом что-то ткнулось в грудь — и конец. Ромка понял, что дело не в пожаре. Их выжигали огнеметами, догадался он и, осторожно ступая босыми ногами, пробрался к яме, чтобы посмотреть, нет ли там живых. Но сразу увидел, что это бесполезное занятие: все раненые были добиты, характерные следы пуль, сразу видать...

Ромка возвратился назад, подобрал винтовку, достал патрон, снял с убитого ремень с патронташем, примерил

на себя — было чуть свободно. Ромка стал прилаживать, передвинул бляху и тут увидел на внутренней стороне ремня крупные буквы чернильным карандашом: «Эдуард П.»

Ромка сел рядом. Сидел и смотрел прямо перед собой. Вот так повернулось, думал он, с такого, значит, боку...

В отличие от сброшенных в яму у Постникова карманы не были вывернуты. Ромка достал его простреленный комсомольский билет и положил в карман рядом со своим. Была еще записная книжка, фотография девчонки и какие-то потертые бумажки. Разглядывать не было времени. Ромка переложил их к себе: представится возможность — перешлю матери. Поколебался — и стащил с Постникова левый сапог. Примерил. Великоват, а все же лучше, чем босиком. Нашел свой правый сапог, натянул и спустя полчаса уже пробирался через лес.

Прежде всего он направился к роднику. На это у него ушло вдвое больше времени, чем он предполагал, поскольку по дороге едва не напоролся на немцев: только он собрался перейти большую поляну, как в стороне из-под деревьев вышли двое и побрели по вечерней росе, отсвечивая касками; и навстречу им такой же патруль. Дальше Ромка пробирался осторожней, и, когда напился и набрал во флягу воды, была уже полночь.

Вода взбодрила, но лишь на несколько минут. Затем наступила реакция. Его неодолимо потянуло в сон. Только сейчас, когда он оказался в относительной безопасности, заявило о себе нервное перенапряжение, в котором он находился уже почти сутки.

Ромка не стал упрямиться. Но завалиться под деревом было рискованно; столько немцев вокруг — ни за грош попадешься. Другое дело — захорониться наверху, в ветвях, но пока найдешь подходящую развилку да наломаешь толстых веток на настил...

И тут он вспомнил о триангуляционной вышке.

Это решение было вполне в Ромкином вкусе. Парадоксальность он считал признаком высшего класса. Кому придет в голову искать на самом видном месте? Ромка там был однажды. Площадка два на два, правда, не огороженная, но если лежать (а он не лошадь, чтобы спать стоя), ни одна сволочь снизу не заметит.

Вышка была неподалеку. Ромка спал на ходу, пока брел к ней. Потом пришлось проснуться, чтобы, стоя на первой промежуточной площадке, выломать лестницу из гнезда и сбросить на землю. При этом сон рассеялся окончательно. Однако Ромка не огорчился. Плохой бы он был солдат, если б его пугали такие трудности. Он взобрался по оставшимся двум лестницам на самый верх, стянул сапоги, положил под голову винтовку и патронташ — и больше ничего не помнил.

Его разбудил оглушительный рев.

Солнце поднялось уже высоко, сухо пламенел, наливаясь зноем, очередной день, а вокруг Ромки медленно кружил немецкий самолет...

Это был не «мессершмитт» и не «фокке-вульф» и вообще далеко не современная машина — любую из них Ромка определил бы сразу, столько раз видел в методическом кабинете на плакатах. Этот был тихоход, двухместный моноплан-парасоль. Связист. Летчик был один. Он сдвинул очки на лоб, смеялся, махал рукой и что-то кричал Ромке, может быть, гутен морген.

Мимо неторопливо проплывали черные кресты...

Ромка вдруг очнулся. Что ж я на него смотрю, на гада? — изумился он. Расселся, будто в кино. Даже фашиста насмешил. Корчится. Ну ты у меня сейчас, паскуда, покорчишься. Я тебе такой покажу гутен морген — сразу начнет икаться...

Ромка потянулся за винтовкой. Осторожно потянулся, не хотел спугнуть немца. Но ведь тот смотрел не в сторону — сюда. Он перестал смеяться, и лицо у него вроде бы вытянулось. Однако не отвернул самолетик, продолжал делать очередной круг, словно ему это зачем-то нужно было, а скорее всего что-то в голову ударило, затмение какое-нибудь. Он продолжал делать очередной круг, только теперь уже не высовывался через борт, а сидел прямо и лишь косил глазом в Ромкину сторону, и дергал ртом.

Ромка так же медленно, без единого резкого движения поднес винтовку к плечу, прицелился и повел ее за самолетом, ловя его темп; потом взял упреждение и выстрелил.

Наверное, не попал в летчика, а если и попал, так не очень серьезно. Зато разбудил. Немец кинул машину в сторону, на крыло, высунулся и погрозил кулаком. Ромка разрядил ему вслед обойму; это была пустая тра-

та патронов, но ни досады, ни сожаления не испытал. Он смотрел, как самолетик, набирая скорость, лезет вверх, как он разворачивается где-то над совхозом, а может, и чуть подальше, и так явственно почувствовал недосып, что хоть ложись да помирай. Он сидел на серых, рассохшихся, промытых дождями, прожженных солнцем досках, овеваемый легким ветерком, уже прогретым, лишенным прохлады, уже собирающим запахи зноя, чтобы к полудню загустеть и остановиться в изнеможении. Сидел мирно и покойно, и впрямь едва ли не дремал, наблюдая сквозь ресницы, как сердито жужжит далеко в небе маленькое насекомое. Ну вот уже и возвращается...

Ромка натянул сапоги, пристегнул ремень с патронташем, вставил новую обойму и передернул затвор. Туго ходит, отметил он, никогда бы не подумал, что Эдька не чувствует оружия.

Он посмотрел по сторонам — на холмы, рощи и поля — отсюда, с пятнадцатиметровой высоты, вид был прекрасный, расставил ноги, при этом чуть притирая подошвы, перехватил поудобнее винтовку и сказал себе: я готов.

Немец, кажется, только того и ждал.

Несколько мгновений висевший на месте самолетик стал расти. Он мчался прямо на Ромку, несся на него как с горы. Жужжание перешло в рокот, потом в вой, который становился все выше, все пронзительней. Вой несся сквозь Ромку, но не задевал: это для психов впечатление, а Ромка к таким вещам был невосприимчив. Он стоял не шелохнувшись, опустив руки с винтовкой, только руки сейчас у него и были расслаблены, но это необходимо — они должны быть свежими и твердыми, когда придет время стрелять. Он следил прищуренными глазами за надвигающимся в солнечном ореоле, в ослепительном сиянии врагом (немец был хитрец, он заходил точно по солнцу) и считал: еще далеко... далеко... вот сейчас он выравнивает самолет... вот я уже в прицеле... он меня затягивает в самый центр... сейчас нажмет на гашетку...

Короткий стук пулемета, всего несколько выстрелов, оборвался сразу, потому что Ромка, чуть опередив его, сделал два шага в сторону, так что левая нога стала на край доски. Пули просвистели рядом, а Ромка уже шел на противоположный край площадки и опять опе-

редил немца: хотя вспышки новых выстрелов трепетали в такт его шагам, пули прошли мимо — там, откуда он секунду назад ушел. Больше ему не успеть скорректировать свою телегу, понял Ромка и засмеялся, но ему тут же пришлось броситься плашмя на настил и даже вцепиться пальцами в щели между досками, чтобы не стащило, не сбросило вниз, потому что летчик озверел и, пренебрегая собственной безопасностью, пронесся в двух метрах над площадкой. Ромке даже показалось на миг, что это конец, но все обошлось, он сел и закричал вслед самолетику:

— Ах ты, гнида! Ты ж меня чуть не уронил!..

Винтовка лежала тут же. Упади она вниз, пришлось бы спускаться — и дуэли конец. Правда, и сейчас у Ромки было предостаточно времени, чтобы спуститься на землю. А там он бы нашел, где схорониться. Но так мог поступить кто угодно — только не Ромка Страшных.

Он подобрал винтовку. Жаль, что не пришлось пальнуть вслед, ведь совсем был рядом — рукой достать можно. Теперь летчик изменит тактику, отбросит джентльменство и еще издали начнет поливать из пулемета. Тяжелый случай. А еще надо придумать, как уберечься от воздушной волны. Если не придумаешь, значит, из бойца, из поединщика превратишься просто в безответную мишень. Это будет никакая не дуэль — расстрел!..

Только сейчас Ромка оценил вполне, как чудовищно не равны условия, в какие поставлены он и немец. Это, впрочем, не поколебало его решимости. Если первые выстрелы он сделал не задумываясь, так сказать, автоматически, то остался на этой площадке сознательно. Тут не было риска ради риска, фатализма, желания испытать судьбу, поиграть со смертью в кошки-мышки. Просто он подумал, что в первом же бою сбить вражеский самолет совсем неплохо для его, Ромки Страшных, вступления в войну.

Самолетик уже мчался в атаку.

Ромка перекинул ремень винтовки через плечо, отступил к заднему краю площадки и опустился на колено. И когда самолетик приблизился до трехсот метров и можно было ждать, что вот-вот ударит по площадке свинцовый град, Ромка соскользнул на уходящее вниз бревно, одно из трех, на которых держалась эта пло-

щадка, — и прилепился к нему, обхватив его руками и ногами.

Пули жевали настил. Казалось, кто-то со всего маху втыкает в доски кирку и тут же с треском, «с мясом» ее выдирает. Последние пули шли горизонтально: немец перешел на бреющий и мчался метров на пять ниже уровня настила и бил, бил, но слишком поздно он это затеял, только дважды пули звонко ткнулись в бревно, да и то далеко от цели, потому что Ромка успел соскользнуть еще ниже. Там был треугольник из поперечных балок, к одной из которых прилепилась промежуточная площадка. Ромка едва успел встать на балку, как из-за настила вынырнул уносящийся вверх самолет. Ромка смачно выстрелил дважды и засмеялся. Все-таки бой шел на равных!..

Балансируя, он прошел по балке до площадки, но не успел еще ступить на ведущую вверх лестницу, как вокруг засвистели, застучали в дерево, завизжали пули, рикошетируя от железных угольников и скреп.

Чертов немец успел возвратиться!

Только теперь началось настоящее.

Самолетик преобразился. Он ожил. Он перестал быть машиной. Это был вепрь, носорог, крылатый огнедышащий змей, огромный и стремительный. Он вился клубком вокруг вышки, бросался на нее, ревя и визжа, он сотрясал ее, и Ромке казалось, что вышка шатается, что это уже никакая не вышка, а качели: перед глазами было то небо, то земля, площадка летела вверх — и вдруг рушилась в визге, грохоте и реве. И уже чудились ему вокруг страшные морды, ощеренные пасти, и хвосты, и хохот... Немец брал верх. Он уже морально уничтожил этого человечишку, который вертелся юлой, метался среди бревен, как в клетке, и совсем потерял голову. Осталось в последний раз без спешки зайти в атаку и спокойно расстрелять.

Немец брал верх. Он это понял. И это же понял Ромка. Земля колебалась перед глазами, словно крылья огромной птицы, горло было раскалено и забито песком; сердце силилось выскочить из него и не могло. И когда Ромка представил, как был жалок, он сказал себе: «Хватит!» — и встал во весь рост посреди издерганного, расщепленного пулями настила.

Он открыл флягу и спокойно сделал несколько глотков.

Самолет мчался прямо на него, а Ромка ждал, расслабив руки, давая им передышку, чтобы не дрожали, если ему так повезет, что он сможет выстрелить. Он уже не прикидывал, сколько остается до самолета и что сейчас немец делает, когда начнет стрелять. Ромка решил: не сойду. Это было нужно ему для самоутверждения. А не убьет, думал он, тогда уж я постараюсь не промазать.

Он расслабился весь настолько, что даже отрешился, и несколько мгновений выпали из его сознания, а потом его встряхнуло удивление: отчего же самолет не стреляет? Он был уже совсем рядом — вот-вот врежется — и не стрелял...

Опять рокочущий смерч пронесся над площадкой, но Ромка встал боком, уперся — и выдержал воздушный удар. С выстрелом он все же замешкался. Выстрелил не так для дела, как для разрядки: прошедшие секунды нелегко достались. Он испытал разочарование и новый приступ злости. Ведь немец продолжал с ним играть. Ты у меня доиграешься, пробормотал Ромка, стараясь понять, что означает новый маневр летчика: тот сбросил скорость и как-то нерешительно пошел по кругу... потом высунулся из кабины и погрозил кулаком.

Ромку вдруг озарило: да ведь у него патроны вышли!

Он захохотал и, не целясь, пальнул в сторону самолета.

— Эй ты, паршивый змей! Гнилая требуха! Куриный огузок! Ну давай! налетай! дави! — Еще выстрел. — Что я вижу, ты хочешь оставить меня одного? Ты делаешь мне ручкой? И тебе вовсе не нравится прощальный салют? Ах ты, падло!..

Самолет уже летел прочь, но Ромка, отводя душу, выстрелил еще раз, и бегал по площадке, и еще что-то кричал, размахивал руками и грозил винтовкой. Он кричал всякие слова, а иногда просто «Ого-го-го!» — пока самолет не растаял на востоке. Только тогда Ромка перевел дух и обтер мокрое лицо полой гимнастерки. При этом он случайно глянул вниз.

Почти у подножия вышки, на тропинке, желтевшей тонкой строчкой посреди июньских трав, стоял немецкий мотоцикл с коляской и пулеметом. Трое немцев давились от смеха, не желая выдавать свое присут-

ствие. Но теперь им не было смысла таиться — и дружный хохот ударил Ромку прямо в сердце.

Он отскочил на середину площадки, сунул пальцы в патронташ. Пусто. И в винтовке осталось только два патрона.

Немцы не перестали смеяться, однако на Ромкино движение ответили: ствол пулемета поднялся вверх, а тот, что сидел позади водителя, в каске и без френча, в одной лиловой майке, слез с седла, отошел в сторону и поднял автомат.

— Ком! — сказал он и махнул рукой. — Ком!

Летчик не мог их вызвать, подумал Страшных. Это был наш поединок, наше вдвоем с ним дело. Сами, значит, приехали. Небось вся округа смотрела, как мы шумим.

— Салют! — крикнул он и помахал немцам рукой. Он не представлял, как будет выпутываться, и тянул время.

Немцы снова грохнули.

— Ком! — уже требовательней крикнул тип в лиловой майке. — Ты что, не понимаешь, дурак? Может, я неясно говорю? Так у меня есть переводчик!

Автомат в его руках дернулся — и четыре пули продырявили настил вокруг Ромки. Ох и бьет, собака! — восхищенно подумал он и осторожно ступил на лестницу.

Немец улыбался:

— Эй, ты! Брось винтовку, понял?

— Моя не понимайт, — простодушно разводил руками Ромка; винтовку он и не думал бросать.

— Хальт!

Две пули, слева и справа, тугими воздушными комочками махнули возле лица. Но Ромка уже сошел на первую площадку.

Не бояться... Не бояться! Я и с этими справлюсь — только бы добраться до них... О плене он не думал.

Немец уже не улыбался.

— Стой, тебе говорят, паяц. Бросай винтовку! Ну, в последний раз предупреждаю!

Он увидел, что Ромка собирается сойти на вторую лестницу, закусил губу — и две верхние ступеньки разлетелись в щепки.

Ромка побледнел, взялся левой рукой за шаткое перильце — и шагнул на уцелевшую ступеньку.

Автомат поднялся снова.

Раздался выстрел. Стреляли с полутораста метров, может, с двухсот. Немец дернулся, пошел-пошел в сторону, теряя на ходу автомат, запутался сапогами в траве и сел.

Ромка медленно сошел еще на пару ступеней и тоже присел, держа винтовку под мышкой. Немцы забыли о нем, глядели в сторону. Самый раз по ним пальнуть... их двое осталось, а у него — как раз два патрона. Но стрелять отсюда было неудобно: пока примостишься между ступеньками...

Еще выстрел — Ромка уже приметил куст, откуда стреляли, — и пулеметчик повалился из коляски.

Опомнившись, водитель рывком бросил мотоцикл между опорами. И — влево-вправо, влево-вправо — погнал зигзагами через луг вниз по склону. Но сверху все это выглядело слишком просто. Ромка медленно поднял винтовку и сбил немца с первого же выстрела. Мотоцикл промчался еще несколько метров, попал в рытвину, перевернулся и заглох.

Ромка тяжело спустился по лестнице. От нижней площадки до земли метров пять. В другое время он спрыгнул бы не раздумывая, но сейчас он чувствовал — обязательно подвернет или сломает ногу...

Ромка бросил на землю винтовку, обхватил бревно и съехал по нему вниз.

К нему подошел маленький красноармеец. Совсем маленький — хорошо, если полтора метра в нем наберется. Узбек. Такое лицо, что сразу видно: не просто восточный человек, а именно узбек.

— Мотоцикл хорошая. Бистрая, — сказал он и поскреб ногтем приклад своей трехлинейки; на Ромку он поглядывал как-то мельком, может, от избытка вежливости, а скорее от застенчивости. — Мой никогда не ездил.

— Прокачу.

Ромка глядел на свои ладони и пальцы. Кожи не было совсем, лишь в нескольких местах что-то похожее светлело.

— Ну и работенка...

Он терпеливо ждал, пока узбек перебинтует их, потом они подобрали автомат, надели для маскировки немецкие каски, подняли мотоцикл и покатили по тропкам в сторону шоссе. Потом они выехали на проселок

и увидели бредущую через выгон колонну пленных красноармейцев.

— На пулемете умеешь? — спросил Ромка.

— Это хорошая пулемет, — кивнул узбек, поправляя ленту.

И они бросились в атаку.

Уже через несколько секунд Ромка опять остался один. Он в одиночку бился со всей немецкой охраной, вокруг лежали свои и не поднимались, и это длилось ужасно долго, так долго, что у кого угодно нервы могли бы сдать. Но Ромка знал: надо продержаться. И он дождался, что красноармейцы поднялись, и не удивился этому: люди судят других по себе, а уж Ромка Страшных, не раздумывая, бросался в любую драку, где были свои.

8

Мотоцикл мчался к проселку. Маневр показался немецким мотоциклистам очевидным; не имея возможности стрелять, они тоже устремились к дороге, полагая, что первый, кто на нее выедет, получит изрядную фору. Они не могли знать, что Ромку привлекает не проселок, а орешник на той стороне. По долгу службы ему были известны в этой местности все ходы и выходы, и он вел мотоцикл с расчетом, чтобы проскочить заросли в самом узком месте. Кстати, как он будет двигаться дальше — Ромка тоже знал.

Проселок был виден далеко в обе стороны. По нему пылили несколько немецких машин, почти все бензовозы для завтрашних и послезавтрашних самолетов, которые будут здесь базироваться. Водители на маневр мотоцикла среагировали естественно: те, что успели разминуться с пограничниками, наддали газу, остальные тормозили и разворачивались. В неопределенном положении оказался только один бензовоз: он сперва гнал, но, когда выяснилось, что не успевает, начал гасить скорость. Водитель не находил себе места, однако, увидав, что пулемет «МГ» в руках скрючившегося в коляске Герки Залогина наведен на его машину, замахал руками, энергично показывая, что в них ничего нет и что он не собирается вмешиваться в события.

— Бей! — закричал Страшных.

— Но ты же видишь...

— Бей, сопля! Может, он в спину хорошо стреляет.

«МГ» коротко застучал. Ничего не изменилось, только водитель еще энергичней замахал руками. Залогин ударил еще раз, более щедро. И опять ничего не изменилось, хотя бензовоз, словно уступая дорогу, отвернул в сторону и ткнулся в кювет. Но, когда проезжали мимо, Страшных успел заметить, что шофер уже мертв. А потом их швырнуло вперед горячей взрывной волной, вбило в кусты. Чудом не перевернулись.

И началось.

Пули защелкали вокруг, срезая ветви; кусты хлестали по лицам. Страшных не успел сбросить скорость, отвернул один раз, другой, через третий куст промчался насквозь и затем еще через один. Это его обмануло. Он решил, что прорвется напролом — и мощность, и масса мотоцикла были подходящие, — повел машину почти прямо, и они тут же застряли. Пока выбрались да оттащили мотоцикл, пули дважды продырявили коляску. «Шабаш», — крикнул Тимофей и показал на небольшую выемку. Мотоцикл в ней скрылся лишь наполовину; впрочем, большего и не требовалось. Пограничники легли вокруг.

Яма была сырой. Страшных выключил мотор, однако, услышав от Тимофея: «Пусть работает», — сказал: «Конечно», — и включил его снова, досадуя на свою несообразительность. Впрочем, он тут же отыгрался.

— Хорошо бы этого парня здесь положить, — кивнул Тимофей на узбека. — Только закопать не успеем. Жалко.

— Нет! — отрубил Страшных. Больше ничего не добавил и приготовился защищать свое «нет», уж больно категорически оно прозвучало, но с ним не спорили. Конечно, убитый был обузой, и таскать его за собой было не очень разумно. Однако Ромкина интонация убедила без аргументов. Все поняли, что убитый заслужил настоящих похорон с душевной надписью над могилой. Он прав, решил Тимофей, и кивнул.

— Послушайте, — сказал Герка, — мне это место не нравится. Здесь сыро. Мы в два счета простудимся. А летний грипп, это ведь такая пакость — хуже не бывает.

— Ладно, не нервничай, — сказал Тимофей, — они еще не вошли в орешник. И еще сами не знают — будут ли входить.

Совсем недалеко от них над верхушками кустов низко и лениво клубился тяжелый дым от горящего бензовоза. Выстрелы поредели. Оно и понятно: хоть как разбирало немцев, но сколько можно вслепую бить по кустам? Правда, мотоцикл их раззадоривал, колол воздух, как батарея петард.

По знаку Тимофея Страшных плавно убрал газ.

И сразу стихла стрельба.

— Теперь для них загадка, — прошептал Тимофей. — Может, думают, мотоцикл подбили, а может, и еще что.

— Ох, чует мое сердце, — вздохнул Герка, — драпать надо.

— Красноармеец Залогин, здесь не парламент, — оборвал Тимофей...

— Так точно, товарищ командир, не парламент.

— Простовато смотришь на вещи, Гера. А тут психология. Тут если не угадаем, где у них слабое звено...

— Тима, — окликнул Страшных, — слышишь? Мотоциклы вправо покатили. Надо думать, через Дурью балку хотят нам в тыл выйти.

— Все три?

— Похоже. Что им здесь делать...

— Правильный маневр. Все правильно делают, черти. Сейчас в цепь развернутся... — Тимофей затих, слушал. Вдруг встал. — Ну, красноармеец Страшных, на тебя вся Россия смотрит.

— Не дрейфь, комод, — оскалился Ромка. — Вот увидишь: еще сегодня будешь в медсанбате крахмальным бельем хрустеть. Это я тебе говорю. Мое слово.

— Дай-то бог! Мне в медсанбат во как надо! Понял? У меня с этими гадами свои счеты. И если без меня управятся, я себя всю жизнь грызть буду — понял?

— Они пошли! — перебил Залогин.

— Значит, и нам пора.

Они выкатили мотоцикл из ямы. Опять рядом была смерть: пули фыркали в листве, вырывались из кустов и с каким-то падающим звуком исчезали впереди, стучали по веткам. Это стригли автоматы. Немцы вошли в кустарник просторной цепью, и по тому, как то в одном, то в другом месте отзывался выстрелами автомат, было ясно, что взялись они за дело всерьез, что бредень густой — сквозь него не проскочить. Потом где-то

сбоку пробубнил несколько выстрелов крупнокалиберный.

Узбек был маленький и при жизни, пожалуй, совсем не занимал места. Но убитый он словно вырос, его тело стало громоздким и каким-то твердым, хотя убило его всего несколько минут назад. Тимофей привалился к нему и закрыл глаза.

Мотоцикл катил не спеша. Об автоматчиках Ромка не думал. Как только немцы вступили в орешник, они лишились возможности следить за пограничниками по шевелению кустов. А слепых пуль бояться — лучше вовсе с печи не слезать. Ромку заботило другое: немецкие мотоциклисты. Сейчас они уже выскочили из балки, добрались до речки — раскладывал он их маршрут — и повернули в объезд орешника. Надеются нас перехватить. Ну-ну! Что они будут делать, когда через две-три минуты упрутся в излучину, в обрыв? А мы как раз из кустов выскочим: здрасьте! Прямо на глазах, но для стрельбы далековато. Им придется потерять еще несколько минут, пока разыщут брод. Жаль, он совсем рядом. Ну ничего, кое-что мы успеем выгадать, решил Ромка, ужасно довольный собой и тем, как все складывалось.

Он сдерживал мотоцикл, пока немцы их не нащупали́, пока воздух не заныл от пуль, которые потянулись к ним отовсюду. Даже Тимофей не выдержал и крикнул: «Гони!» — и он рванул опять напрямик, напролом, не разбирая дороги. Мотор выл и грохотал, Герка то и дело соскакивал, тянул вверх то заднее колесо, то коляску, при этом так таращил глаза от напряжения и так орал, что можно было подумать, будто он идет на побитие мирового рекорда. И Тимофей орал, и Ромка, аж горло заскребло, и так в грохоте и оре они даже не вырвались — вывалились на луг и увидели слева мотоциклистов, но это было уже не страшно, главное — от облавы оторвались, а с того берега стрелять по ним было совсем не с руки до тех пор, пока немцы не увидят их уже на горке. Но тогда тем более, ищи-свищи, черта с два в них попадешь на таком расстоянии.

Это были минуты блаженства. Ушли!.. Смерть осталась позади, в стрекочущих кустах. Она еще бросила им вдогонку несколько свинцовых камушков, когда они взлетали на прокаленный солнцем бугор, но это было уж несерьезно, а потом стометровый шлейф пыли

закрыл их, как дымовая завеса, и они испытали сладостное облегчение победы.

Разве теперь, после пережитого, они могли принимать всерьез каких-то мотоциклистов, по сути, равных противников? Впервые равных противников. Они проедут еще километр и отвяжутся, рассудил Страшных. И выжал из мотоцикла все, чтобы помочь немцам найти это очевидное решение.

Потом он подкрепил свои доводы изящным маневром, после которого выиграл еще сотни три метров.

Потом он вдруг понял, что его почти прижали к границе. Пересекать ее Ромка не собирался: если здесь он знал все, то за кордоном хозяевами положения сразу становились немцы. Ромка спохватился как раз вовремя, чтобы успеть вывернуться. Эка настырные парни, подумал он, а ведь они знают свое дело!..

Тут он впервые поставил себя на место противника и признал, что ничего сверхъестественного не происходит. Если немцы профессионалы, уверенные в себе опытные вояки, то с чего вдруг они будут уступать втрое слабейшему противнику? Ну конечно, ведь их втрое больше! — понял Ромка. Я-то, дурень, не придал этому значения, а для них, может, это главный аргумент. Они настолько уверены в успехе, что для них это не поединок — гон! Они гонят зайца, они охотятся, вот что они делают!..

За самоуверенность надо наказывать, решил Страшных, однако вовремя вспомнил, что он не один. Тимофей был плох, он сидел прямо, слишком прямо, слишком напряженно, как сидят только из последних сил. Его надо в лазарет сегодня, сейчас же. Ваше счастье, гниды! — пробормотал Ромка, сложным зигзагом увернулся от немецкого трезубца, и запутал след, и совсем было решил, что перехитрил немцев, но тут из-за рощи всплыл, накатываясь точно по адресу, коричневый шлейф, затем еще один, и вот и третий клубится, и на его острие — мелькающий комок машины...

Такой же шлейф выдавал и пограничников.

Страшных снова попытался оторваться, потом еще раз... Потом он понял: еще немного — и немцы заметят, что пограничники мечутся в прямоугольнике два на пять километров. И зажмут. Как поршнем придавят — к ферме, или к шоссе, или к тому же выгону. Был бы Ромка один — это его только б завело. Крутил

бы карусель до визга, до огня в подшипниках — вот где была его стихия. Вот где порезвился бы! Такие бы устроил кошки-мышки до вечера, пока не надоело, кружил бы, испытывал свое счастье, свой фарт, потому что в этом для него была вся жизнь, ее смысл. Он всегда так жил...

Но как ни плох был Тимофей, даже он сообразил, что происходит, и сказал тоном приказа:

— Кончать надо с ними...

— Есть кончать!

Ромка свернул к старому грейдеру. Он был узкий, обсаженный высокими дуплистыми тополями. Здесь если врага не убьешь сразу и он заляжет за деревом — его оттуда не выковырнешь. Но если заманить к речке... если один заляжет здесь, в кювете, а самому развернуться в прибрежном кустарнике и встретить в лоб...

Страшных сбросил скорость, давая немцам приблизиться. Пусть войдут в визуальный контакт, пусть видят, что я делаю. Пусть доверяют клиенту!

Грейдер гудит под колесами, тополя мелькают слева и справа совсем рядом. Старый шлях, дедовский, две машины не разминутся, подумал Страшных и сказал через плечо Залогину:

— Я сейчас отверну, а ты с автоматом в кювет. Я их снизу встречу, ты вжаришь им в зад.

— Ну уж нет! Пулемет — мой кусок хлеба. Так что бери свою машинку и сам вали в засаду.

— Да ты хоть на мотоцикле умеешь?

— Разберусь.

Все вышло по Ромкиной задумке. Немцы приметили, где пограничники свернули с грейдера, и один мотоцикл перевалил через кювет почти в том же месте; второй сделал это раньше и помчался на перехват, прямо через лужок, хотя это было и непросто по высокой траве. Третий мотоцикл отстал почти на километр, и, если бы здесь была другая география, если лужок был бы хоть чем-то закрыт, возможно, и эти немцы кинулись бы в бой, чтобы попытаться выручить своих. Но лужок просматривался с грейдера отлично, немцы увидели, что произошло с их товарищами, не доезжая трехсот метров развернулись — и Ромка вслед даже пальнуть не смог, хотя бы просто так, вместо соли на хвост — патроны у него в магазине опять кончились, а запасных с собою не было.

Один мотоцикл горел. Когда из-под перевернувшейся машины выбирался пулеметчик, Ромка ударил по нему, не целясь, и пробил бак. Еще двое немцев были убиты наповал, а одного насмерть придавило мотоциклом.

Страшных постоял, прислонясь плечом к рубчатой коре тополя. Тихо. Трава пахнет — одуреть можно. Жуки летают. Перепела переговариваются... Только где-то за холмами ворочается гром. Страшных прислушался. Так и есть — семидесятипятимиллиметровые. Густо бьют. Бой хороший или просто снарядов — бери не хочу. Но далеко это, ох далеко!..

Мотоцикл горел с треском, пламя гудело, как в трубу. Пламени почти не было видно, оно только угадывалось на фоне дыма — чадного от краски. Дым сперва нерешительно расползался во все стороны, потом словно щелочку нашел — потек вниз, в сырую ложбину, к речке.

— Тебя что — ранило? — крикнул Залогин.

Он подъехал на мотоцикле и даже успел перевернуть горящую машину, пытаясь погасить пламя, но это было непросто. Тимофей сидел в коляске как-то боком, почти лежал; глаза его были закрыты.

Страшных побрел через высокую траву, волоча автомат по земле. Остановился возле немца, которого минуту назад убил. Его обгоревший мундир был изорван пулями. Лицо хоть и немного обгорело, а уже не разберешь, сколько ему было годочков. Моя работа, подумал Страшных. Я его убил. Минуту назад он был совсем живой, гнался за нами, уверенный, что перестреляет нас. А я его убил. Живого человека. Живого человека, еще раз упрямо повторил Страшных, прислушиваясь, не дрогнет ли у него в груди хоть что-нибудь. Но ничего не дрогнуло. Пустые слова. Когда он смотрел на этого убитого им фашиста и произносил «живой человек» — это были пустые слова. Фашист и эти слова не совмещались. А может, причиной была груда полусгоревших товарищей в провале котельной? Или пристреленный в упор Эдька Постников, которого он узнал только по надписи на ремне?..

— Ты чего скис, дядя? — Залогин заглянул ему в глаза. — Мучаешься, что укокошил фашиста?

— Нет. Просто устал.

— Нашел время! Давай, дядя, помоги обыскать их. Бинты нужны. Командира перевязать.

— А сам не можешь?

Вопрос попал точно. Залогин помялся.

— Не могу.

— Мертвяков боишься?

— При чем тут мертвяки? Но... по чужим карманам лазить...

Ромку все еще не отпустило. Он усмехнулся, но усмешка не проникла вглубь, так и осталась на губах. Он представил, как будет выворачивать карманы... А ведь прав Залогин — не так это просто. Надо что-то перешагнуть. А может быть, даже сломать в себе. Но зачем! — возмутилось все в Ромке, мне и так хорошо. До сих пор мне ничего не приходилось в себе ломать. Я не хочу. И не буду!..

— Давай поищем в багажниках, — предложил он.

К горящему мотоциклу подступиться было уже невозможно, и они побежали к уцелевшему. Шерстяное одеяло, два пакета НЗ, две банки консервированной колбасы, буханка хлеба, початая бутылка спиртного, термос вроде бы с кофе, а дальше насос, запасные камеры, инструмент, патроны — целое богатство, а индивидуальных пакетов нет.

На золотисто-коричневой этикетке бутылки красовалась голова оленя с густыми рогами. Страшных вынул зубами пробку, старательно обтер горлышко рукавом, ополоснул содержимым и лишь затем сделал глоток. Зажмурился.

— Хороша штуковина! Огонь по жилам. Попробуй, — протянул бутылку Залогину.

— Я не пью.

— Да брось ты! Наркомовские тебе положены? Ежедневно! Колоссально снимает усталость.

— Не хочу.

— Глупо. Ну я твою долю сержанту отдам. Ему это сейчас во как надо. Совсем скапустился.

Услышав его шаги, Тимофей открыл глаза.

— Почему задерживаемся?

— Сейчас поедем. А ну заглотни, только помалу.

— Самогон?

— Послабже будет. Но до санбата на этом газу ты продержишься.

Только сейчас Ромка заглянул в багажник своего мотоцикла. Здесь тоже было припасено немало добра — кроме бинтов. Он возвратился к Залогину. Герка

сидел на корточках возле задавленного лейтенанта, перед ним лежал черный кожаный бумажник немца, он разглядывал фирменную фотокарточку: этот же лейтенант, только в парадном мундире и с медалями, рядом полненькая блондинка, светлоглазая, в перманенте, а между ними совсем маленькая девчушка, вся в локонах и шелке.

— Кончай!

У второго пулеметчика в сумке они нашли то, что искали.

Они забрали все патроны, три автомата, бинокль и «вальтер» лейтенанта. Забрали одеяло и всю еду. Бензином разжиться почти не удалось, видать, вчера немец неплохо поездил, сразу подзаправиться поленился, а сегодня когда ж ему было этим заниматься, еще и к восьми не подошло, когда началось.

Посовещавшись, они стащили с лейтенанта френч и предложили Тимофею, который был, по сути, до пояса голый: от гимнастерки остался лишь правый рукав и воротничок, да клочья материи на груди и спине. Но Тимофей даже примерять не захотел. Шнапс уже действовал. Он сидел свободно, глаза были ясные.

— Нет, — сказал он. — Сойдет и так.

Его завернули в одеяло.

— Ну что, на север двинем? — сказал Ромка, забираясь в седло. — Там вроде наши шумят.

— Наши сейчас везде, — сказал Герка. — Так что это не горит. Может, сначала человека похороним? Гля, место какое классное. Тихо, красиво.

— Вот сейчас набегут сюда фашисты — получишь тишину. — Ромка повернулся к Тимофею. — Твое слово, командир.

Тимофей погладил горячий ствол «МГ».

— На север сейчас невозможно — не проскочим через шоссе. Ночи надо ждать... И хоронить абы как грешно... Ладно, давай на хутор к Шандору Барце.

9

Этого венгра знали все окрест. Он разводил хмель, держал несколько коров; был прижимист: у таких зимой снега не допросишься. Его давно следовало отселить куда поглубже, подозрительным личностям в этой

зоне делать было нечего, но граница только осваивалась; до хуторянина руки у начальства так и не дошли.

Хутор стоял над речкой. Невысоко, но в самый раз — его не доставало половодьем, а холм был глинистый, всегда сухой. Крепкий кирпичный дом, крепкие сараи и коровник, крепкая ограда. С севера от реки к хутору подступал ухоженный яблоневый сад. Сад охватывал хутор с трех сторон, оставляя открытой только южную, солнечную, где был двор.

Когда пограничники подкатили к воротам, хозяин уже встречал их. В новой тройке, в начищенных сапогах и с трубкой. Он слишком поздно увидел, с кем имеет дело; уходить было неудобно. Он сунул трубку под седые усы, сузил белесые глаза и ждал.

— Здорово, Барца! — весело прокричал Страшных, затормозив так, что венгра с ног до головы обдало пылью; тот, впрочем, и не поморщился.

— А я думал, что вы уж все пошли на божий суд, — сказал он, намеренно коверкая речь. Это была беззлобная демонстрация: каждый утверждается как умеет.

— Для нас повесток не хватило. Пока напечатают — поживем.

— То-то, гляжу, один уж заработал вечную жизнь.

— Над чем смеешься, змей! — рассвирепел Страшных и соскочил с мотоцикла, но Тимофей успел удержать его за руку.

— Здравствуй, дед, — сказал он. — Меня-то что не признаешь?

— Трудно тебя признать, капрал, дай бог тебе здоровья.

— Помоги, Барца. Товарища вот схоронить надо.

— Хорошо, гляжу, бегаете.

— Ладно тебе. Говори — выручишь?

— Небось сами и похороните, — сказал венгр и опять ухватил трубку крепкими желтыми зубами. Затем кивнул Залогину — пошли, мол, — повернулся и заскрипел сапогами через двор.

Герка не сразу последовал за ним. Легким скользящим шагом прошел перед воротами, согнувшись почти к самой земле, всматриваясь в следы. Вернулся более широким полукругом, расслабленно выпрямился и сказал Тимофею:

— Сегодня здесь еще никто не проезжал.

Но автомат все-таки перебросил из-за спины под мышку и поставил на боевой взвод.

Они пропадали долго. Наконец появился Залогин, неся две лопаты и маленькое ведерко с молоком, а следом венгр с двумя домашними караваями, с куском сала и свертком, от которого терпко пахнуло застоявшимся запахом полыни.

— Это тебе, капрал.

Тимофей развернул сверток. Это была старая кавалерийская куртка, скажем даже больше — драгунская, только Тимофей не знал таких тонкостей, да и все равно ему было. Шили куртку из хорошего прочного сукна; от него теперь осталась одна основа, но тусклый, когда-то шикарный позумент уцелел весь и пуговицы с орлами тоже. Реликвия! Однако Тимофей был рад.

— Здоровый был мужик, — похвально оценил он. — Чья это?

— Небось моя.

— Скажешь! — не поверил Тимофей. — Да в ней двоих таких, как ты, спеленать можно.

— Если б дожил до моих лет, небось усох бы.

— Не! У нас такой корень — все больше в толщину идем, — улыбнулся Тимофей, влезая в куртку; она оказалась ему в самый раз. — А с чего ты решил, что я не проживу с твое?

— Если с этими рыцарями не поедешь, у меня останешься, может, и проживешь. Может, еще и сто лет жить будешь.

— А с ними, думаешь, убьют?

— Это уж как Иисус рассудит. Только куда уж вам уберечься.

Тимофей долго ел молча. Потом сказал:

— Не могу, Шандор. Я за них в ответе. Понимаешь? Не могу я их бросить. Если б еще пеши были... А так нет.

— Твоя воля, капрал. Небось немец меня не тронет. А ты на молочке как гриб поднимешься. Еще до червней.

— А! Какой сладкий! — гаркнул Страшных, отставляя ведерко. — Выдаст он тебя, Тимош, как пить дать выдаст, старый змей. А за то пару соток под огород выклянчит. Или лужок для коровушек! — Он зло засмеялся. — А ты не подумал, Барца, что еще че-

рез неделю мы возвратимся да как хряснем тебе по шее?

Венгр выслушал его спокойно, вынул трубку.

— Когда я был такой же дурной, как ты, парубок, я тоже судил людей по себе, — сказал он, еще больше коверкая слова.

— Ладно, — сказал Тимофей, — посоветуй, дед, где нам товарища схоронить.

— На погосте нельзя сейчас, — сказал венгр. — Там уже эти.

— Ему и не обязательно на погост. Он воин.

— Есть хорошее место. Тихое. И земля легкая. За огороженным выгоном, вон там, на сходе, может, видали возле двух старых груш. Было три, так одна усохла. Спилили.

— Знаю! — оживился Герка. — Высота 41.

— Это на вашем участке, — согласился Тимофей.

— Шикарное место. Видок оттуда — закачаешься! Я покажу, как проехать. Тут просто.

— Ты уж приглядывай за могилкой, — сказал Тимофей, втискиваясь в коляску. — Прощай, дед.

Венгр чуть кивнул.

— Лопаты там оставьте. По-над вечер заберу.

Место оказалось — себе лучше не пожелаешь. В полчаса они выкопали могилу метровой глубины, тело обложили свежим густым лапником и закопали на совесть, плотно, чтобы не сразу могила просела. Сверху положили припасенную Геркой дощечку, на которой написали все, что полагается в таких случаях. Получилось не очень подробно — Страшных знал только имя этого парня, — зато брало за душу. Дощечку закрепили камнями. Потом Ромка хотел дать прощальный салют и даже заупрямился, настаивая на своем, когда Тимофей сказал «нет». Тогда Тимофей так сказал «нет», что Ромка сдался, хотя еще долго дулся на товарищей.

Решив дождаться темноты, они зарулили в пустую кошару. Замаскировали мотоцикл трухлявыми досками, забрались на жидкий сеновал. Место было глухое, но береженого бог бережет. «Ты в первом карауле, — сказал Тимофей Залогину. — Через два часа тебя сменит Страшных». Отвернулся к дырявой толевой крыше и через минуту захрапел. Но Ромка спать не мог.

— Время только зря портим, — не выдержал он

уже через полчаса. — Если хотите знать, я улавливаю противоречие в наших рассуждениях.

— Не в обиду будь сказано, товарищ сержант, — сразу отозвался от слухового окошка Залогин, — плохо вы его учили. Никчемушный он солдат, этот Страшных.

— Поясни, — не оборачиваясь, сказал Тимофей.

— Справный солдат еще не лег, а уже спит...

— Я к чему веду, — продолжал Страшных, словно и не слышал этих реплик, — ты ж какой сейчас воин, Тима? Смешно сказать. Тебе в койку надо. И поскорее. А мы все в драку лезем. Где пальба погромче.

— Ну?

— А надо бы туда, где тихо. До своих скорее добежим.

— Например?

— Хотя бы в райцентр. Его ведь так просто наши не сдадут. Должны держать. А там больница...

Тимофей думал недолго.

— Ладно. Заводи мотор.

До райцентра было километров двадцать с гаком, но места все знакомые, и Страшных не зарывался, даже осторожничал, так что проскочили без приключений. Они уже решили, что дело сделано, и в райцентр въехали открыто, однако там оказалось полным-полно немцев. Пограничники спаслись только потому, что немцы слишком поздно их разглядели — может, приняли за своих, а может, им и вовсе было наплевать, кто это. Короче говоря, когда под свист пуль, гогот и улюлюканье они все-таки благополучно заюлили в чащу, было решено двигаться на восток не наобум, а держаться поближе к шоссе. Этим нисколько не уменьшалась вероятность встречи с немцами, зато пограничники могли быть уверены, что идут к своим кратчайшим путем: такую магистраль наши должны были держать. Не здесь, так где-нибудь подальше. Но держать!

Осуществить этот план оказалось нетрудно. Немцы охраняли шоссе только в непосредственной близости, дальше у них пока руки не дошли, не до того им было — они стремились на восток. Правда, пограничникам все же довелось пострелять. Это случилось дважды. Похоже, оба раза им встретились разъезды или разведгруппы. Оба раза стрельба носила скорее предупредительный характер. Возможно, тут сыграло свою

роль и некоторое равенство сил. А рисковать без особой надобности охотников не нашлось.

Потом пошли горы.

Потом кончился бензин, а фронта все не было слышно.

Бензин кончился около полудня. Пограничники ждали этой минуты давно, были готовы к ней, потому даже досады не почувствовали.

— Может, так оно и лучше, — сказал Тимофей. — Меньше риску напороться на фашистов. Не так сподручно, зато верняк.

— Нет, — сказал Ромка, — кабы ты здоровый был.

— Ладно. Как-нибудь дойду.

— Есть идея, — сказал Ромка. — Скромная гениальная идея.

Он прошелся возле мотоцикла, разминая ноги, тряс ими поочередно. Это показалось ему недостаточным, и он стал массировать икры. Здесь не было ни ветра, ни птиц, даже насекомые молчали. Только натужно гудели далекие моторы на шоссе да потрескивал бинт, когда Залогин выдирал его из бурых пятен на груди Тимофея. Геркины руки занемели от напряжения и начали дрожать. Чтобы скрыть это, он отер рукавом гимнастерки свое взмокшее восковое личико.

— Дядя, хочешь, расскажу, что ты придумал?

— Валяй, — сказал Страшных.

— Очень просто, дядя. Мы с тобой сейчас берем по автомату, спускаемся к шоссе, нападаем на немецкую автоколонну и разбиваем ее, захватываем канистру горючего, после чего продолжаем путь на этой керосинке.

— А у него котел варит, а? — не растерялся Страшных и улегся на мох, заложив руки за голову. Но глаз не сводил с груди Тимофея — очень ему было интересно, сколько же у сержанта ран. — Как говорится: ум хорошо, а полтора лучше.

— Мы пойдем пешком, — сказал Тимофей.

— Но ведь если остановить одинокий бензовоз или просто грузовик...

— Еще немножко, дядя, и ты согласишься просто найти на обочине одинокую канистру. Но для себя я решил, что если и поеду дальше, так только в «опель-адмирале».

— Вы слышали приказ? — сказал Тимофей.

— Так точно, — сказал Залогии.

— Да иу тебя, Тимоша, в самом деле! — сказал Страшных.

— Красиоармеец Страшиых, два наряда вне очереди. Как только прибудем в часть, напомиите мие о иих. Ясно?

— Еще бы.

— Почему отвечаете ие по форме?

Страшиых подиялся.

— Виииоват, товарищ младший сержаит. Вас поиял.

— Ладио. Что ты возишься долго? — сказал Тимофей Залогииу. — Зиаешь, вроде пар туда проникает. И дышать вроде иечем.

Залогии вынул из-под биитов кандидатскую карточку, а потом и комсомольский билет. Билет был проткнут штыком почти у сгиба, и задиие, еще ие заполнениые страницы склеила кровь. Герке стало жалко своего билета, ио он и виду не подал, обтер грудь Тимофея влажиым платком и начал иакладывать новую повязку, аккуратиую и ловкую, словио сдавал экзамеи на саииструктора. Бинт не иравился Залогину, как и вообще весь немецкий индивидуальный пакет. Что-то в нем было не такое. Однако выбирать ие приходилось. Я уж иаши-то бииты ие буду выбрасывать, отстираю, решил он. Не то что это иемецкое дерьмо.

Потом они поели. После еды настроеиие подиялось. Тимофей велел иаиово перемотать портяики. Идти черт те куда, да все по камиям, по горам — ноги в первую очередь беречь иадо. Для Ромки это было тем более важио — с чужим сапогом шутки плохи. Пришлось на портяику пустить кусок одеяла.

Напоследок они закатили мотоцикл подальше в кусты, закидали хворостом, запомиили ориентиры. Уничтожать такую машину было жалко, да и бесхозяйственио, а что вскоре представится возможиость извлечь машиину из тайника — ие сомиевался иикто.

10

Потом оии встретили Чапу.

Собственно говоря, звали его Ничипор Драбыиа, он это сразу сказал, но как-то невнятио, словно выполнил

формальность, хотя и знал наверное, что и в этот раз все будет как обычно и что бесполезно настаивать, все равно не сейчас, так завтра он станет для своих новых товарищей просто Чапой, как был Чапой всю жизнь, с первых же лет, как был Чапой для каждого встречного, словно это имя у него на лбу от рождения вырезали. Он был Чапа — и этим сказано все. Он был не очень маленьким — вровень с Геркой Залогиным, и уж куда сильнее Герки, здоровьем природа его не обделила, но и силачом его нельзя было назвать. Он был круглолиц и круглоглаз, с носом-бараболей; милое и немножко смешное лицо, довольно приметное; уж, во всяком случае, когда видел его перед собой, не возникало сомнения, что легко узнаешь его среди других. Но впечатление было обманчивым.

Нашел его Ромка Страшных.

Ромка был в дозоре; попросту говоря, шел в полусотне метров впереди товарищей, и хотя в его задачу входило обследование всех мало-мальски подозрительных мест, для чего надо было иметь железные ноги, Залогину пришлось куда тяжелее. Он тащил два автомата с запасными магазинами, за плечами — сумку с едой, но самое главное — помогал идти Тимофею.

Тимофей был совсем плох. Правда, к боли он притерпелся, и его уже не пугало, что раны отвердели и опухли — начинали гнить. Подводила потеря крови. Крови он потерял многовато, отчего тело казалось ватным, смятым, ноги не держали — каждый шаг был чудом; и голову он старался держать прямо, не поворачивать, потому что сразу начинала переворачиваться земля, он дважды падал при этом и разбил бы лицо, если бы тренированное тело само, без участия сознания не совершало бы отработанный на занятиях самбо перекат. Он наваливался на Герку и твердил про себя: ты дойдешь! дойдешь! сможешь! — и напрягал всю волю свою и гордость, чтобы не дать приказ о привале. Я не стану им обузой, твердил он, хотя видел, что и Залогина уже кидает из стороны в сторону, но отпустить Герку он не мог ни на миг — это был бы конец...

И тут вдруг послышался Ромкин предупредительный сигнал. Что-то произошло впереди, он предлагал им остановиться и залечь, и они оба рухнули на землю, прямо где стояли — на солнцепеке, на каменном щебне, хотя буквально в десяти шагах была тень, а под

нею разлив мха. Им было не до удобств. Просто лечь... просто лежать, закрыв глаза, и не думать, как сделаешь следующий шаг.

...Возле самого лица топчутся Ромкины сапоги.

— Тим... Тимка, погляди, какое чудо-юдо я привел.

Не открывать глаз... просто лежать... Могут они понять наконец, что он не железный?.. Просто лежать...

Тимофей открыл глаза и сел. И увидел перед собой Чапу. Глаза Чапы были красны от недавних слез, лицо раздергано противоречивостью чувств: горе еще оттягивало вниз его щеки, концы губ и глаз, но радость уже давила изнутри, и уже угадывалась ухмылка в пляшущих, срывающихся чертах.

— Почему он плачет? — расцепил губы Тимофей.

— Вот и я подумал, с чего бы это он? Там в ложбине наши танки стоят: тридцатьчетверка и два БТ-7. И ни души вокруг, только вот этот сидит на земле и ревет чуть ли не в голос.

— Он тебя не трогал? — спросил Тимофей у Чапы.

— Этот? — Чапа смахнул под носом, а потом и последние слезы стер. — Навищо ему меня трогать? Или я на бабу схожий?

— Ну мало ли как можно обидеть...

— Обидеть? Он — меня?.. Та вы шуткуете, товарыш командир. У нашем селе я таких гавриков...

— Понятно, — перебил Тимофей. — Где остальные?

— Тю! Та я сам токечки сюда пришкандыбал. Другим яром. Я ж на вас и подумал, что вы и есть оте остальные.

— А чего ж плакал?

— Обидно. Из сердца те слезы.

— Понятно. Красноармеец Страшных, доложите обстановку.

— Так я же доложил. Танки там наши стоят. Все на ходу, боекомплект в порядке. А горючего — ни грамма. Сухие баки.

— А экипажи?

Ромка развел руками.

— Помогите подняться...

Ложбина была просторная; скорее не ложбина — маленькая долинка. Сочная трава была раскурочена, изжевана траками. Над нагретой солнцем тускло-зеленой броней дрожал воздух. И это был не мираж. Если не ве-

ришь глазам — подойди и потрогай угловатую броню и аккуратные клепки...

— Но ведь это же не мотоцикл! — сорвалось у Тимофея.

— Ты думаешь — они вроде нас?..

— Конечно! — Он удержался от стона и сказал себе: — Ладно... ладно... — и почти успокоился.

— Здесь укромно, — сказал Залогин. — И в стороне. Случайно разве кто набредет.

— А для обороны неспособно, — деловито добавил Страшных. — Даже охранять — погляди сам! — и то не с руки. Все подходы закрыты. Батальон — и тот не управится.

Да ведь они, похоже, пытаются как-то его утешить. Его, своего командира... Вот уж никуда не годится.

— Ладно... Послушайте, а может, их заминировали? — встрепенулся Тимофей.

— Ложбина не минирована, — сказал Страшных, — я проверял.

— А если мы их взорвем?

Он поглядел в глаза товарищам. Страшных отвел взгляд. И Залогин отвернулся.

— А что, можно, — сказал Чапа. — Управимся враз. — Он не понял, почему так изумленно взглянули на него пограничники, и торопливо пояснил: — Если не чесать по-дурному языком, то наши, когда бы сюда ни вернулись, не дознаются, чья работа. Выходит, обойдется без шухеру. А германец если наскочит — во что с этого будет иметь...

И Чапа показал, что с этого будет иметь германец.

Страшных приволок танковый брезент, расстелил в тени терновника; тень была не плотная, легкая, пропускала дыхание солнца, что было совсем не лишним — лощина оказалась сырой. Тимофей едва лег на брезент — словно провалился. И уже не слышал, как с него стянули сапоги и портянки, расстегнули драгунскую куртку и накрыли одеялом.

В этот день они не стали уничтожать танки. Мало ли что! А вдруг завтра на шоссе появятся свои? Утро вечера мудренее. К тому же двигаться дальше сейчас они не могли: у Тимофея начался жар, он никого не узнавал и бредил, и Чапа сказал: раз нет лекарств, надо пустить кровь, он видел, как это делал их коновал, и всегда помогало. Но Герка сказал, что не позво-

лит, мол, к ночи всегда больным становится хуже; другое дело, сказал он, холодный компресс на голову и на рану. На том и порешили.

После ужина их потянуло в сон.

— Давайте разберемся насчет дежурств, — сказал Залогин. — Только, чур, не я первый!

— Мальчик шутит? — сказал Страшных. — Зачем нам эта роскошь?

— Ну как же, дядя, — растерялся Залогин, — порядок вроде такой... Да и за командиром присмотреть...

— Кончай базарить, — отрезал Страшных. — Во-первых, какой Тимке от нас прок? Одни слюни. А во-вторых, кто припрется в эту дыру ночью? Я правильно говорю, Чапа?

— Солдат спить, а служба идеть, — сказал Чапа.

Этот древний аргумент оказался и наиболее весомым. Они натаскали в тридцатьчетверку молоденького лапника, сверху навалили травы. Было тесновато, зато ложе роскошное. Они задраили люки, изготовили к бою пулеметы — мало ли что! — Ромка и Герка еще какое-то время ворочались и даже успели разок поспорить, но Чапа едва прислонил голову в уголок — тут же засопел.

История его была простая.

Служил он в стрелковом полку ординарцем командира роты. Каким он был ординарцем — хорошим или плохим, предупредительным или растяпой — не суть важно; зато со всей ответственностью можно сказать, что Чапа был простодушен, за что и поплатился в первый же день войны. Естественно, пострадавшим оказался его лейтенант. Выяснилось это не сразу, когда полк подняли ночью по тревоге и стало известно, что война, а несколько погодя, когда после десятичасового непрерывного марша полк одолел чуть ли не полсотни километров, вышел на исходный рубеж и стал окапываться. Только тут подоспел лейтенант, догнал-таки свою роту и в первую же минуту обнаружил Чапину оплошность.

Этот лейтенант был личностью своеобразной, вернее — позволял себе быть таковым. Когда-то, еще в начале прохождения службы в полку, ему случилось отличиться неким оригинальным способом, каким именно, впрочем, никто уже точно не помнил, но репутация

сохранилась. Даже командир полка и начштаба, когда речь заходила о лейтенанте, всегда говорили: «Ах, это тот, который... ну как же, помню, помню...» — следовательно, ко всему прочему создавалось впечатление, что лейтенант на виду. И он позволял себе время от времени высказываться смело и нелицеприятно, чем еще больше укреплял свою репутацию оригинала. А «раз человек такой, что с него возьмешь?» — и ему зачастую сходило с рук то, за что крепко пострадал бы другой.

В ночь начала войны лейтенант пропадал невесть где. У него был очередной бурный роман в заречном селе, с кем именно роман — не знал никто из приятелей, а тем более Чапа. Ему лейтенант приказал раз и навсегда: «Ты не знаешь, куда я иду. Внял? Ты не знаешь имен моих подружек. Внял? А если узнаешь случайно — тут же забудь от греха подальше...» Это случилось после того, как Чапа дважды подряд, проявив недюжинное упорство и смекалку, находил лейтенанта посреди ночи — естественно, по делам службы. С тех пор лейтенант и «темнил».

На этот раз судьба грозила ему немалыми карами. Диапазон был широк: от словесного нагоняя до штрафбата. Лейтенант готовился к любому повороту событий и все же не учел весьма существенной детали — и получил удар прямо в сердце. Чтобы не интриговать читателя попусту, скажем сразу, что он был страстным коллекционером. Он собирал бритвы и, понятно, едва объявившись на позиции, первым долгом пожелал узнать, где коробка с его коллекцией.

— Ваше личное оружие, шинель и смена белья в ротной линейке, товарыш лейтенант, — доложил Чапа, еще пуще округлив от старательности свои глаза.

— Я тебя про коллекцию спросил. Про коллекцию. Внял?

Лейтенант говорил тихим голосом. Если б он был злым богом, он превратил бы Чапу в камень. Разумеется, узнав прежде, что с коллекцией. А сейчас он глядел в непроницаемые, как у куклы, Чапины глаза и пытался прочесть в них правду. Знал ее, предчувствовал, но это знание казалось ему таким ужасным, что лейтенант боялся дать ему всплыть; топил его, надеясь на чудо, ласково заглядывал в глаза ординарца; он бы

молился, если бы умел, но лейтенант не умел молиться и потому бессознательно (чем значительно снимается доля его вины) поминал бога в душу мать...

— А как же! Ясное дело, внял, товарыш лейтенант, — преданно объяснял Чапа. — Однако я так понял, товарыш лейтенант, — война...

— Коллекция где, Чапа...

— Ну где ж ей быть, товарыш лейтенант? Ну куда ж она денется? В казарме она, товарыш лейтенант. Как была у вашей в тумбочке.

Тут ему подумалось, что, может быть, он был не прав, что — черт с нею! — надо было кинуть ее в линейку вместе с остальными лейтенантовыми шмутками. Ну, война — это понятно. Только ж не все время война, не круглые же сутки, иногда ж захочется человеку душой оттаять, возле чего-то погреться. Одному — письма мамкины перечесть, другому, скажем, цветочки, а этот вот — бритвочками балуется... Но это была нечаянная слабость. Чапа не дал ей ходу. Он никогда не думал о высоких материях, но что для него было чисто — на то он пылинке сесть не давал, а что было свято — за то, не задумываясь, отдал бы жизнь.

Но это так, к слову...

А коллекция действительно осталась в той тяжелой казарменной тумбочке, в нижнем отделении, где под запасным комплектом голубого байкового белья лежали пачки аккуратно разобранных по адресатам и перевязанных шнурками от ботинок письма лейтенантовых корреспонденток. Блокнот с их адресами и пометками о днях именин и рождений, какой когда отправил письмо и о чем договаривался, он носил с собой; а эти письма лежали довольно открыто. Он не делал из них тайны и даже иногда, после второй или третьей бутылки, читал приятелям.

Кстати, небольшая поправочка: и бритвы-то не все были на месте. Одна из них, чуть ли не самая ценная, находилась в мастерской. Немецкая, с грубой костяной ручкой, с фашистской свастикой у основания лезвия, называлась она довольно просто, что-то там было насчет золы, только Чапа и не старался запомнить, сам он еще не брился ни разу и был убежден, что привередничать из-за бритв — блажь. Но как было потешно, просто слов нет, когда лейтенант, отдавая эту бритву

мастеру для совсем пустячного ремонта — клепка в ней разболталась, — повторил раз пять, какая это ценность, и каждый раз добавлял еще, что она дорога ему как память. И вот теперь эта «память» осталась в мастерской, может быть насовсем, потому что с войны не удерешь, это не маневры; не сегодня-завтра пойдут вперед, через Венгрию на Берлин, чтобы задушить фашистскую гадину в ее собственном логове, вот и выходит, что в это местечко, где были их казармы, лейтенант если и попадет, то ого как не скоро, и вряд ли тогда его признают, а скорее всего не попадет вовсе. Значит, бритва тю-тю!..

Лейтенант держался геройски. Правда, он все-таки высказал Чапе все, что о нем думает, а в заключение приказал:

— Свои вещи оставляешь здесь. Налегке смотаешься домой. Внял? Даю тебе двадцать четыре часа — чтобы ни минутой позже вся коллекция и «Золинген» из мастерской были здесь. Внял? Если патруль задержит — сам крутись. Но с пустыми руками лучше не появляйся. Внял? Ну вали.

Чапа знал, что прав тот, кто имеет право приказывать, и еще знал, что с этим лейтенантом ему и жить, и воевать, а потому не спорил. Правда, приказ был еще тот, явно незаконный, но такая уж служба ординарская: нос высоко, да до чести далеко.

Путь до казармы он проделал быстро. Сперва на попутной полуторке, а за развилкой его подобрал на фуру неразговорчивый дядько в засмальцованном жилете из овчины и в картузе на манер конфедераток: весь углами и козырек лаковый. Солнце уже не пекло, дорога была гладкой, шины у фуры богатые, на резине. Чапа как зарылся носом в то сено, так только перед казармой дядько еле его растолкал.

В расположение полка Чапа возвратился куда раньше назначенного лейтенантом срока, хотя от шоссе пришлось свернуть сразу: на первом же километре его чуть не застукал контрольный пост. Еще раз испытывать судьбу у Чапы не было желания. Он добрался окольным путем, большей частью пеши, но полка на месте не обнаружил. Чапа почуял недоброе. Откуда сила взялась — побежал к роще, где на опушке окапывалась их рота. Вот и окопы, вот блиндаж лейтенанта, совсем законченный, даже дерном поверху обло-

жить успели. Но людей нет. Признаков боя нет. Полк словно испарился. Их перевели на другой участок, сообразил Чапа, и это его успокоило, но ненадолго. Он тщательно обшарил блиндаж, уверенный, что лейтенант должен был оставить ему записку. Не нашел. Чапа выбрался наружу, сел в цветущую траву и положил рядом коробку с бритвами. Оцепенение длилось недолго. Когда оно рассеялось, Чапа знал, что теперь он дезертир. И нет ему оправдания.

Пахло свежей влажной землей, чабрецом и еще чем-то терпким, вроде лука. В густом воздухе плавали пчелы. Вязы стояли на вершине холма как войско, изготовившееся к битве; роща кончалась вдруг, и оттого, что луга были выкошены, а кустарник вырублен совсем, крайние деревья казались стройнее и выше, чем были на самом деле. За долиной опять начинались холмы; из-за одного, сбоку, четко темнея на фоне белесого неба, выдвигался увенчанный крестом шпиль костела. Значит, там есть городок или хотя бы село, подумал Чапа, но это открытие вовсе его не обрадовало. *Он остался один.* Я теперь совсем один, понял Чапа, и эта мысль испугала его, как если бы вдруг оказалось, что он остался один-единственный на земле. Рядом не было лейтенанта, которому положено было за него, за Чапу, думать; рядом не было товарищей по роте, вместе с которыми он ничего не боялся. Он остался один. Сам себе командир и сам себе товарищ, сам и разведка, сам и основные силы. Вокруг были мир и покой, но что-то в груди Чапы напряглось, он явственно слышал предостерегающий голос, и это был не страх, потому что трусом Чапа никогда не был: может быть, его мозг воспринял какие-то еще неведомые науке волны, которые идут от мозга к мозгу, уже затопили незримым паводком все окружающее пространство, но проявятся только через два-три дня, проявятся вдруг у всех сразу в образе четких черных силуэтов: «ОБХОДЯТ!» «ТАНКИ!», «ОКРУЖИЛИ!..»

Гудели разбитые, натруженные ноги, каждая косточка отделилась от остальных, плавала, как в киселе, была сама по себе и ныла. Манили разбросанные по склону стожки. Завалиться сейчас под какой-нибудь, ноги разуть... ах, разуть ноги да придавить эдак минуток триста — как идти после этого будет легко да ве-

село! И как далеко он сможет уйти! — хоть весь маршрут отмеряй сначала...

Чапа тяжело поднялся, взял коробку с бритвами под мышку, еще раз оглядел долину, какая она тихая да пригожая, и пошел на север, где километрах в десяти было большое стратегическое шоссе. Уж там-то я встречу наших, сонно качал головой Чапа, под «нашими» имея в виду не обязательно свой полк, а нечто большее, за чем стояла привычная, надежная, родная атмосфера Красной Армии.

На шоссе были немцы.

Чапа сразу проснулся и заспешил вдоль шоссе на восток. Первого убитого красноармейца он увидел издалека. Тот сидел почти на открытом месте, привалясь спиной к кусту бузины; правда, с шоссе его было не видать. Чапа не сразу понял, что красноармеец убит. Красноармеец вроде бы отдыхал, и это поначалу сбило Чапу с толку. Но, когда до него осталось метров двадцать, Чапе что-то не понравилось, хотя он и не сразу догадался, что именно, а потом подошел совсем близко и увидел, что красноармеец весь в засохшей крови, и по ранам на животе и груди было ясно, что его добивали в упор и не жалели патронов. А потом Чапа понял, что его насторожило раньше: вокруг белели бумажки, вывернутые из сумки и карманов красноармейца, и это даже больше диссонировало с окружающей пастельной зеленью, чем труп.

Чапа впервые видел убитого человека и приблизился к нему с неохотой. В двух метрах от красноармейца Чапа присел на корточки и долго его рассматривал, потом взял за конец ствола и потянул к себе его винтовку. Но то ли рука убитого уже оцепенела, то ли винтовку что-то удерживало, только легкого усилия оказалось мало. Чапа потянул сильнее, затем дернул винтовку. Убитый качнулся так по-живому, что у Чапы сердце замерло, и он сел на землю, и даже вспотел. Но винтовка была уже в его руках. Правда, оказалось, что в ней нет патронов, и пришлось приблизиться к убитому совсем и осмотреть подсумки. Они были полны, и Чапа по очереди опустошил все, и в конце этой операции испытывал к этому парню что-то вроде симпатии и жалости.

Чапа зарядил винтовку и едва обошел кусты, как перед ним открылось поле недавнего боя. Бой был

встречный, определил Чапа, хоть и не много в этом смыслил, никто даже и окопа вырыть не успел. Убитые лежали по всему пространству: в черных воронках, за камнями, просто посреди травы, — и сразу было видно, кто бился до последнего, а кто бежал; эти в большинстве были с пустыми руками. Но больше всего убитых лежало вдоль склона насыпи. Это был почти непрерывный валик, вроде ленты, окаймлявшей шоссе. Видать, они были убиты на самом полотне, а потом их сгребли в сторону, сбросили, чтоб они не мешали проезду, как сбросили смятые 76-миллиметровки и трупы лошадей, и разбитые повозки, и два немецких танка — один из них все еще чадил. Еще два танка мертво чернели внизу, на лужайке, среди маков, но ни одного убитого немца Чапа не высмотрел. Уже убрали своих, успокоил он себя, и все продолжал стоять, все смотрел из кустов на эту страшную картину, которую перечеркивало наискосок сверкающее на солнце шоссе, а по нему мчались и мчались на восток торжествующие, трубящие моторами орды веселых молодых убийц.

До ближайшей точки шоссе было четверть километра. Чапа сдвинул планку прицела, дослал в ствол патрон и приладил винтовку в развилку куста. Целиться было очень удобно. Чапа отодвинул ногой коробку с бритвами, чтобы не раздавить ее случайно при стрельбе, перевел дух и еще раз приладился. Взял на мушку водителя тупорылого грузовика и повел за ним ствол, прикидывая, какое понадобится упреждение. Стрелок он был никудышный, а сейчас промазать было бы тем более обидно. Ничего, не первым, так вторым его достану, подумал Чапа, но тут же забеспокоился, сколько же раз он успеет выстрелить прежде, чем его обнаружат. Раза три успею, прикинул он, а потом они начнут лить из автоматов, придется залечь, ну, обойму я всю истрачу, а вторую, может, и зарядить не дадут...

Чапа опустил винтовку и посмотрел, какие у него шансы насчет отступления. Очень хлипкие были шансы. Кустарник такой, что все насквозь видно. Рядом гора, да ведь до нее и со свежими силами в полчаса не добежишь — сердце зайдется, а у него какие же силы, он уж который час идет не на ногах, а на нервах, а фашисты — те засиделись, гады, в ку-

зове на лавках, им размяться охота, загонят как зайца.

Чапа еще раз посмотрел на убитых, на шоссе. Только сейчас он понял, что первый же его выстрел перечеркнет и его собственную жизнь. Ну, не сразу; ну, минуты через три, через пять — самое большее... А сколько он врагов успеет убить? Одного, двух; если очень повезет — убьет троих... Вроде бы подходяще. Да что там считать, Чапа и на один к одному согласился бы не колеблясь, если бы за этим что-то большее стояло, скажем, товарищей прикрыть. А так просто — ты убил да тебя убили — это не понравилось Чапе. Что-то в этом было мелковатое, неполноценное. Чапа даже не знал, как это выразить, слов у него не хватало. Что-то в этом было такое, что лишало его удовлетворения, и смерть сразу становилась чем-то бессмысленным и трагическим.

Чапа закинул ремень винтовки на плечо, взял под мышку коробку с бритвами и, почти не хоронясь, пошел в сторону горы.

Когда ему открылось еще одно место недавнего боя, Чапа обошел его все неторопливо, методично. Подходил к каждому убитому, смотрел, не уцелел ли кто: очень ему уже недоставало хоть какой живой души, прямо невмоготу стало. Но живых не нашлось. Зато он разжился вполне исправным ППШ и пятью запасными магазинами к нему. Можно было бы еще раздобыть, если поискать по солдатским торбам, только ведь не утянешь такой груз. Для коробки с бритвами да для запасных магазинов Чапа приспособил почти новый вещмешок, осторожно сняв его с огромного синеглазого помкомвзвода. Вещи убитого он аккуратно сложил рядом с ним, только НЗ забрал, совсем еще не тронутый, — уж в этом-то Чапа разбирался, — завернутый в субботний номер «Правды Украины».

Винтовку он все же не хотел бросать. Ведь если пальба идет не в упор, а на мало-мальски приличном расстоянии, что такое ППШ? Так только, треск для наведения паники. А винтовка — она всегда вещь. Но когда Чапа прошел по чащобе да по каменистым осыпям километра два, — а каждый из них казался ему бесконечным, потому что на одном плече у него винтовка весом с центнер, а на другом автомат, то-

же не легче; а магазины за спиной, а ботинки на ногах... все груз, все тяжестью прямо за сердце тянет!.. — тогда Чапа решил, что винтовку надо бросить. Пока ни на кого нападать на большом расстоянии он не собирается, а если уж придется принимать бой, так не иначе если столкнется с фашистами носом к носу. Так это ж для автомата ситуация!..

Он прислонил винтовку к дереву, выгреб из карманов и высыпал патроны. И хотел идти дальше — и не смог.

Чапа сел рядом, привалился к дереву спиной и долго смотрел, жмурясь от солнца, на долину, на аспидную излучину шоссе, а когда устали глаза — себе под ноги, на бурые камушки, похожие на кирпичный щебень, только совсем хрупкие: они крошились, если сильно нажать.

Это не моя винтовка, говорил себе Чапа. Не моя. Не на меня записана. Я даже номера ее не знаю (он чуть было не глянул, какой у нее номер, но тут же спохватился и даже подвинулся самую малость, почти спиной к ней повернулся — только бы не видеть ее даже случайно; ведь он для того и сидел здесь: отвыкал от нее). Она для меня ничем не отличима от миллиона других, внушал он себе. Такая же, как все... Но он знал, что это не так, что их связывает тот бой, который они так и не дали фашистам, тот момент, когда он вел мушку, наведенную точно на шею шофера, так отчетливо черневшую на фоне этой белой шеи. Их связывали недолгие часы, проведенные вместе, часы, когда они были одним целым, не отделимые друг от друга; просто человек и просто винтовка, а слившись, они стали воином...

Чапа не смотрел на нее. Я отдыхаю, я просто присел отдохнуть, говорил себе Чапа, и осторожно, одну за другой рвал паутинки, которые их так прочно слепили. И когда настал момент и он понял, что он сильнее излучаемого винтовкой магнетизма и уже достаточно отстранился от нее, — Чапа поднялся и, так и не взглянув на нее ни разу, тяжело потопал на восток.

Он шел недолго. Встретил тропинку и послушно запетлял между кустами, все больше под-над краем леса, только иногда срезая углы чащи. А потом увидел в ложбине советские танки и даже припустил к ним бегом, и это было несколько мгновений счастья, впрочем, со-

всем короткого. Потом он понял правду — и был ошеломлен больше, чем когда потерял свой полк. Ему стало плохо, тошно, одиноко. Он был такой маленький, слабый, жалкий и никчемный...

Чапа сел на землю и заплакал.

11

Они проснулись легко и сразу. Всех разбудил один и тот же звук: над самой головой скребли по броне чьи-то подкованные ботинки. Человек обошел башню, заглянул, не открыт ли передний люк, сел верхом на пушку и опять принялся за прерванное только что занятие — открывание верхнего люка.

— Кончай, Ганс, — закричали ему издали. — Какого дьявола ты там застрял?

— Один момент. Видишь? Люк заклинило, никак не открою.

— Плюнь ты на это дело. Еще на мину нарвешься.

— Нет. Они так быстро удирали — не до того им было. А вот что танки на отшибе — это симптоматично. Я на всю жизнь запомнил, как Бадер на глухом хуторе по дороге на Реймс у меня на глазах вытащил из танкетки сейф с казной.

— Кончай, кончай, Ганс, — послышался третий голос, и рядом с машиной прошелестела трава. — Лейтенант ждет на дороге. Если мы задержимся, он нам такую жизнь устроит...

— Я где-то здесь видел ломик...

— Если хочешь знать, из-за таких, как ты, у наших трофейных команд репутация мародеров... Через нижний люк пробовал?

— Нет. Задурили вы мне голову!..

Он спрыгнул на землю, обошел танк, присел на корточки и заглянул под днище. И встретился взглядом с Ромкой, который, неслышно выбравшись из люка, стоял на четвереньках в нерешительности, нападать первым или же подождать еще — авось немцы уйдут.

Немец был маленький, толстый, с короткими полными ручками, с тем характерным разрезом чуть опущенных к концам глаз, которые придают любому лицу жалостливое выражение. Это было такое тыловое, та-

кое мирное лицо, что военная форма на немце казалась чем-то чужеродным. Кстати, он был и без оружия. Его винтовка стояла здесь же, прислоненная к танку, но до нее — несколько шагов, а Ромка держал в руке «вальтер».

Немец не пытался бежать и кричать как будто не собирался. Перед ним было дуло «вальтера», и он терпеливо ждал, что за этим последует.

Что с ним делать? Ромка не знал, как по-немецки будет «подойди ко мне», но стоило прижать палец к губам, а затем показать знаками, мол, полезай сюда — и немец послушно полез под танк.

Пусть посидит здесь, рассудил Ромка, попятился на четвереньках, вылез наружу, только собрался встать — и вдруг увидел рядом с собой на земле тень человека. Человек стоял у него за спиной. Человек в каске. Ясно, немец; кому ж еще тут быть...

Тень двигалась.

Что делал враг — Ромка не успел ни заметить, ни понять. Он перекатился через плечо и еще в падении выстрелил. А потом выстрелил еще раз — опять не целясь, потому что продолжал катиться. Силуэт немца в бледном, выгоревшем мундире лишь на миг мелькнул перед глазами.

Обе пули прошли мимо.

Ах, собака фашистская, бормотал Страшных, растирая бедро, в которое угодил удар прикладом. Ах ты, собака, да ведь если с такой силой трахнут по башке — шариков потом не соберешь! Бьет со спины, без предупреждения. Даже у нас в детдоме так не поступали. Бандюги какие-то, а не солдаты!..

Перед танком было пусто. И под ним никого.

Ромка стал красться вдоль танка и увидал сразу всех трех немцев. Пожилой толстяк был уже далеко, он тяжело бежал к мотоциклу по развороченному гусеницами дну лощины и даже не оборачивался. Возле мотоцикла, спрятавшись за него и пристроив винтовку на багажник, сидел на корточках второй. А третий был неподалеку. Он неторопливо пятился и едва увидел Ромку — выстрелил не целясь. Тотчас же хлопнул выстрел из-за мотоцикла.

Страшных старательно прицелился. Мимо. Прицелился еще старательней. Опять мимо! Что за дрянь оказался «вальтер»!

Не обращая внимания на выстрелы немцев, Страшных забарабанил рукояткой «вальтера» по броне.

— Герка, ты видишь их?

— В натуральную величину.

— А ну попробуй из пулемета.

Но из пулемета не пришлось. Едва башня танка начала поворачиваться, немцы разом ухватились за мотоцикл и откатили его за крайний БТ. Потом завелись — и звук рассеялся за скалой, за которой ложбина поворачивала к шоссе.

— Ото б и нам добре умотать у другой бок, — сказал Чапа.

Тимофей был без сознания. Его вынесли наружу, и, пока Залогин и Страшных выкладывали возле башен обоих БТ пирамидки из фугасных снарядов, Чапа смастерил носилки. Он сделал их на совесть, с ременными заплечными петлями, а то ведь тащить носилки руками — надолго не хватит. Он еще возился с носилками, когда в конце лощины появились немцы. Хорошо, что заметили их вовремя. Страшных развернул башню тридцатьчетверки и ударил осколочным. Прицелиться он не успел, выстрел был явно неудачным, но немцы залегли. Второй выстрел был получше, а после третьего они отступили за скалу. Тут в люк заглянул Залогин и сказал, что они уже готовы, сейчас понесут Тимофея; через пять минут можешь с этим делом кончать. Ага, сказал Страшных, и для острастки еще дважды ударил осколочными под скалу, потом зарядил орудие фугасным, прицелился под башню БТ, где лежали снаряды — и промазал. Он и во второй раз промазал, но после третьего рвануло так, что от БТ почти ничего не осталось. Другой БТ удалось уничтожить с первого же раза. Страшных еще задержался, чтобы взорвать тридцатьчетверку, и неторопливой рысью побежал за товарищами.

Трудно сказать, сколько они прошли за этот день километров. Сами они считали, что не меньше двадцати, все-таки шли без малого до сумерек. Правда, до настоящего темна оставалось еще не меньше часу, но им встретился подходящий ночлег — сеновал с остатками прошлогоднего сена. Этим пренебрегать не следовало. Единственное село, которое им довелось обойти стороной, было полно немцев. Кто мог поручиться, что в следующем будет иначе?

Ужин был более чем скромен — по бутерброду на брата. Приходилось экономить. К тому же известно, что на порожнее брюхо спокойнее спится. Иное дело завтрак — без него и работа киснет.

Спать улеглись невеселые.

— Соображением хочу поделиться, — сказал Залогин, ворочаясь в сене. — Об одной принципиальной ошибке.

— Думаешь, зря за шоссе держимся? — отозвался Страшных.

— Уже почти уверен. Ты сообрази, дядя, Гитлер мог навалиться как раз вдоль шоссе, на узком фронте. А чуть в стороны — и его уже нет. И там Красная Армия. Ну?

— И сколько же в этом «чуте» будет километров?

— Ну, может, полста... а может, и больше.

— Мне не подходит, — сказал Страшных. — Много.

— Чудило! Это ж до линии фронта. А я убежден: стоит нам отвернуть в глубину, как сразу же повстречаем своих. Горемык вроде нас. Только поумнее нас: они не лезут черту в зубы и держатся подальше от этой проклятой дороги.

— Мне не подходит, — сказал Страшных, — я уже во как сыт одним умником.

— Я тебе серьезно говорю.

— А я шучу? Сообрази: встречаем какого-нибудь умного парня с кубарями. Обрадуется он нам? Еще бы! Заржет от счастья! Команда, что и говорить, дай бог. Только вот Тимоша будет лишним. Обуза. Ну мы с ним возимся понятно почему. А лейтенант не поймет. Он скажет: «Целесообразнее не тащить младшего сержанта товарища Егорова, мучить его и лишать себя мобильности, а оставить на попечение советских товарищей колхозников». Ты понял? «Це-ле-со-образ-нее», — отчеканил Страшных. — Он объяснит нам: «Это не жестокость. Это суровая необходимость. Война диктует свои законы». И в первой же хате мы сбросим Тимошу на попечение какой-нибудь бабы или деда и даже узнать не сможем, что это за дед, может, он первейшая сука во всем районе и ждет не дождется своих любименьких фашистов.

— Ну ты это зря, дядя, — сказал Залогин. — Чего вдруг мы его бросим? И не подумаем.

— Прикажут — так и бросишь.

Они помолчали, и тогда подал голос Чапа.

— Хлопцы, а шо я вам скажу... На такому от харче далекочки не удерем.

— А я думал, ты спишь, — удивился Страшных.

— Не-а, брюхо не дает. Говорить со мною. Мысли усякие нашептывает.

— Чревовещатель! — прыснул Залогин.

— И какие ж это мысли оно тебе «нашептывает»?

— А то, что бегем по-дурному. И товарыша командира жалко. Самое время остановиться.

— Прямо здесь? На этом вот сеновале?

— Не-а, тутечки погано. Открыто отусель. Немец наскочит сдуру — куда тикать? — усе ж кругом видно... И за харчем далекочки бегать.

— Найти бы лесника! — Залогин наконец-то сообразил, к чему гнет Чапа. — У него и припас должен быть, и живет он небось в какой-нибудь дыре, на отшибе.

— Ото ж я и говорю...

— Он гений, — мрачно сказал Страшных. — Самородок. Неотшлифованный бриллиант... Я его отшлифую, Залогин, а из тебя сделаю к нему оправу. И буду носить это кольцо на большом пальце правой ноги. Не снимая даже на ночь...

Утром они пересекли старую границу.

Тимофей преодолел кризис, и хотя идти сам еще не мог, сознание уже его не покидало. Теперь быстро пойду на поправку, оправдывался он, а если повезет найти лесника да денька три-четыре у него позагорать... мечта!

Горы расступились, и открылась долина. Сверху, с кручи пограничники видели ее всю, ускользающую в синюю дымку. Под ними была река подковой — блестящая, с пляжами и омутами. Стянутая рекой долина была уютной. И еще в ней было что-то навевавшее спокойствие и тепло.

— Пришли... — сказал Тимофей.

В нем зародилось и быстро овладело им странное чувство, которое он не мог понять, но знал, что понять его надо и что одним этим словом он это чувство уже передал.

— Знаете, ребята, мне сейчас кажется, будто я шел сюда всю жизнь, и вот пришел... и покой вот здесь, — он показал на грудь, — и больше ничего не надо...

Но долину рассекало шоссе. Выскользнув из ущелья почти под ними, оно летело к пологому высокому холму, почти упиралось в него и лишь в последний момент отворачивало вправо, огибая холм плавной дугой.

— Проберись на холм, — сказал Тимофей Залогину. — Место приметное. Как бы немцы не устроили на нем свой пост. Если же свободно, пойдем напрямик. — Он опять взглянул на долину и покачал головой, изумляясь творившемуся в его душе. — Только будь моя воля — никуда б я отсюда не ушел.

Майор Иоахим Ортнер проснулся вдруг. Что-то толкнуло его в сердце. Не боль: майор был еще молод, а во время обеда у дяди-генерала, в корпус которого Ортнер был всеми правдами и неправдами переведен буквально накануне войны, выпили скорее символически. Дядя поднимал одну и ту же рюмку и за приезд племянника, и за его мать, и за его воинскую удачу, и племяннику поневоле приходилось с этим считаться. Правда, он все-таки налил себе вторую — коньяк был хорош, но так и не допил ее из показной деликатности.

Дорога была красивой и монотонной, после перевала майор пригрелся на заднем сиденье своего нового «опеля» с опущенным кожаным верхом и задремал, а потом проснулся от этого толчка. Толкнуло изнутри, да так явственно, что Ортнер с уверенностью решил: что-то произошло. Но вокруг было покойно, дорога гладкая и свободная, еле слышно урчал мотор; Петер вел машину, как всегда, внимательно, и хотя очкарик Харти, полушепотом рассказывая ему очередную скабрезную историю, то и дело подергивал водителя за рукав, Петер только кивал в ответ, но ни разу не глянул в его сторону. Все было как надо, во всем был порядок, а ощущение какого-то несоответствия, чего-то ужасного не проходило.

«Опель» мчался вдоль мелкой плоской речушки по дну горного ущелья, оно делалось все шире, раскрывалось — и вдруг горы отступили совсем. Перед Ортнером была долина, стянутая излучиной реки. Шоссе пронзало долину черной стрелой, послеполуденное солнце вытравило из природы все краски, оставив только белый цвет. Черный и белый. И холм, в который упиралось шоссе, сверкал белизной; и его вершина в резуль-

тате каких-то оптических эффектов и вертикальных токов разогретого воздуха казалась то обугленной, то вспыхивала белым пламенем.

Нечто апокалипсическое было в этом пейзаже. Словно материализовавшийся дурной сон.

Мост отозвался гулом — и отстал.

Мимо плыла выцветшая каменистая пустыня. На траве, на кустах, на цветах — пепельный свет. Ни единой краски. Ортнер глянул на кожаное сиденье своего «опеля» — и оно обуглилось, хотя ну только что, буквально минуту назад это была замечательная новая кожа, красный хром, предмет зависти берлинских приятелей. Я заболел, решил Ортнер, и откинулся на спинку, задыхаясь и корчась от непонятных спазмов, которые терзали — правда, без боли — все внутри.

«Опель» еле тащился по шоссе.

Если сейчас совсем остановимся, мне конец, понял Ортнер и наклонился вперед, чтобы приказать Петеру: «Гони!» — и вдруг увидел, что стрелка спидометра дрожит возле цифры 100...

Шоссе словно вымерло.

Задыхаясь, мокрый от холодного пота, корчащийся от спазмов Ортнер почти сполз с сиденья на пол и вдруг понял, что это за болезнь. Страх! Всего лишь безотчетный ужас... Но ведь я солдат! — сказал он себе и выпрямился, и сидел прямо, как только мог, но корчи не проходили, и озноб, и невидимый пресс продолжал давить на плечи... Но ведь я солдат! — повторил себе Ортнер. И если понадобится, я готов умереть, выполняя приказ... Только и на это ничто не отозвалось в его душе, и тогда он снял фуражку с мокрой, как из-под душа, головы, и натянул свою каску. И застегнул ослабленный еще в горах ворот мундира. И сидел прямой, весь деревянный, положив на колени сцепленные кулаки, с остекленевшими глазами. Я сильнее страха! я сильнее страха!.. — шептал он себе, ощущая во рту вкус холодного сырого мяса.

Он не знал, сколько времени это продолжалось. Но в какой-то момент почувствовал, что пресс ослаб. Он уже мог снова видеть и, скосив глаза, убедился, что пейзаж по сторонам побежал быстрее... еще быстрей! У него расправилось лицо, он отстегнул и снял каску и положил ее на красное — оно уже было пастельно-красным, как всегда! — сиденье. Тогда Ортнер причесал-

ся, надел фуражку и хотел закурить, но руки пока слушались плохо: он понял, что не удержит сигарету.

— Останови машину, — велел он, и когда «опель» стал и оба — шофер и денщик — к нему обернулись, сказал Харти: — Достань-ка мою флягу.

Чтоб они не видели, как дрожат его руки, Ортнер выбрался из машины, пробормотав: «Черт возьми, как ноги затекли», — и отошел на несколько шагов. Первый колпачок он не почувствовал совершенно. И второй тоже. А вот после третьего понял: порядок. Только тогда он позволил себе обернуться.

Холм был совсем близко. Обычный холм, ничем не примечательный. Его длинный пологий скат закрывал тот участок шоссе, по которому они только что проехали. Наваждение какое-то, подумал Ортнер, закурил и деловито пошел к машине.

Когда «опель» скрылся за невысокой грядой и в оптическом прицеле осталась лишь пустая дорога с курящимися завитушками пыли, Александр Медведев перевел дыхание и выпрямился в креслице наводчика. Этот «опель» он поймал в паутину разметочных линий прицела еще на выезде из ущелья и не отпускал ни на мгновенье. Правда, у подножия холма, где дорога делала плавный изгиб, была мертвая зона, однако Медведев уже приспособился за эти дни крутить маховичок пушки точно с необходимой скоростью, и едва машина проскакивала мертвую зону, как опять влипала в прицел.

Это была игра. Поневоле только игра. Медведев даже не заряжал пушку, чтоб исключить случайности, чтобы не сорваться в минуту слабости, не покуситься с отчаяния на какую-нибудь одинокую машину. Потому что он был на посту и его долгом было сберечь охраняемый объект, пока не придет караульная смена или гарнизон. Открыть огонь, ввязаться в драку было проще простого, ума для такого не требуется. Но одному здесь и пятнадцати минут не продержаться. Окружат, пойдут одновременно отовсюду — и конец. Другое дело, если враги обнаружат его сами. Тогда он им покажет. Уж как успеет, но покажет. С полным на то правом.

Это был дот.

Выросший на вершине холма, дот венчал скалу. Он слился с нею воедино и походил на огромный заросший валун.

Умело замаскированный камуфляжем и кустами шиповника, бронеколпак был покатой формы, вроде шляпки гриба, и хотя имел в высоту не менее полутора метров, было очевидно, что артиллерии он не боится: откуда бы по нему ни стреляли, снаряды будут рикошетировать. Другое дело бомбы. Но, во-первых, прямое попадание — это не такая простая штука, а во-вторых, броня в 400 мм и сферическая форма купола гарантировали спокойную жизнь даже при попадании по крайней мере стокилограммовых бомб.

Снаружи дот казался небольшим, однако производил впечатление мощи и величия. Было в нем нечто такое, что давало понять: я только форпост, часть целого.

Так оно и было на самом деле.

Дот был двухэтажный.

В верхнем этаже был артиллерийский каземат. Здесь стояла пушка крепостного типа калибра 105 мм. Колеса отсутствовали. Лафет легко поворачивался на роликах — катался по желобу вокруг выступавшей из пола неподвижной стальной оси, насколько это могло понадобиться при стрельбе. Для пушки имелась длинная амбразура, которая закрывалась мощными стальными заслонками. Амбразура была врезана в железобетонную толщу ниже бронеколпака, значит, снаружи пробита в самой скале. Пол был из стали, но не гулкий: лежал на железобетонном перекрытии.

Нижний этаж был жилым. Там же находились подсобные помещения и арсенал.

Дот входил в систему оборонительных сооружений старой границы. Ее демонтаж начали год назад, до этого дота просто очередь не дошла. Держать в нем постоянный гарнизон — двенадцать человек — очевидно, не имело смысла, поэтому раз в трое суток сюда привозили очередную смену часовых. Когда Александр Медведев со своим напарником заступили два дня назад на дежурство, они знали, что это продлится считанные часы. «Гарнизон уже должен был выехать, — сказал им сержант. — Как только они заявятся, сдаете объект — и немедленно в часть. Будем ждать».

Прошел день, прошла ночь — гарнизон не появлялся. А утром на шоссе уже были немцы.

Немцы очень спешили, дот был замаскирован отлично; кроме того, у подножия холма возле самой дороги белел железобетонный остов артиллерийского бункера, демонтированного еще прошлой осенью, — он-то и должен был по плану перекрывать мертвую зону; бункер был виден издали, сразу бросался в глаза — притягивал к себе внимание и успокаивал: высматривать здесь же второй дот вряд ли кому пришло бы в голову. Так и случилось, что первая волна наступающего врага прокатилась мимо, а уже через час это место стало тылом.

Часовые подождали до вечера. С темнотой напарник Медведева ушел искать свою часть, чтобы знать, как им быть.

И Медведев остался один.

Он принадлежал к категории людей весьма распространенной. Природа дала этим людям все. Но если другие, имея куда меньшие возможности, развивают свои сильные стороны, чтобы «перекрыть» естественные «недостачи», то эти люди, напротив, все свое внимание сосредоточивают на слабости.

Медведев был высок, очень силен. Он был красив: правильные, истинно русские черты лица с чуть выдающимися скулами, с румянцем, проступающим из-под чистой кожи; черные кудри, голубые глаза. Кажется, уж от девчат ему точно отбоя не должно быть, но они его не жаловали, как не жаловали и парни. Эти, правда, не всегда сразу давали ему верную оценку: внешность Медведева, ее очевидная мужественность, «выигрышность» служила как бы форой. Но проходило немного времени, фора иссякала, и как-то само собой получалось, что он оказывался в положении подчиненном, зависимом, страдательном. Кстати, следует отметить, что сержанты угадывали его слабину сразу не хуже девушек. Именно сержанты, а не какого-либо иного звания военный люд; например, офицерам он всегда нравился, во всяком случае поначалу. А сержанта ни внешним видом, ни выправкой не проведешь. Он один раз пройдет перед строем и точно покажет, какой солдат самый шустрый да моторный, а какой — рохля, курица мокрая, паршивая овца, пусть даже на его груди лемеха ковать можно. Такой не обязательно бывает в каждом отделении, но уж во взводе точно сыщется, и сержант это знает, ему нельзя не знать, не угадать этого «типа» сразу: не дай бог оплошаешь и пошлешь

его по какому живому делу — кому потом отбрехиваться да шишки считать?

А между тем объективно у Медведева не было оснований для такого поведения. Он не был болен, не имел тайных пороков, а тем более каких-либо тяжких, по счастливому случаю оставшихся нераскрытыми проступков в прошлом. Но именно в прошлом, в детстве произошли те незначительные события, те первые маленькие поражения, которые наложили печать на его характер и на всю его последующую жизнь.

Вначале душу Медведева иссушила безотцовщина. Батю и трех дядьев порубали апрельской лунной ночью мальчишки-конармейцы. Санька родился уже после, на троицу. Стáтью, всем видом своим пошел в отца, но характером — в ласковую, мягкую, как церковная свечка, мамашу.

Первые годы это было не приглядно. Тем более что всегда он выделялся среди сверстников и ростом и силой. Заводилой не был, зато в нем рано намечалась та манера добродушного безразличия, которая зачастую присуща очень сильным людям. У них, как у наследных лордов, сразу есть все или по крайней мере самое важное: им нечего добиваться. Но манера успела только наметиться. Мальчику было три-четыре года, когда выяснилось, что ему не с кого брать пример; ни во дворе, ни среди родни не оказалось даже какого самóго плюгавого мужичонки: всех унесла гражданская. А посторонние... что посторонние! — у них и до своей мелкоты руки не доходили, разве что с ремнем да лозиной. Санька, может, и за эту плату был бы рад, только у него не спросили; мать так и не привела другого мужика в хату — на ее век перевелись мужики начисто. Вот и тулился Санька к матери, перенимая у нее и неуверенность, и податливость, и мягкость.

А еще через пару лет стал он понимать и иное, что отец его был лютей собаки — матерый мироед, а последние годы и вовсе душегуб: за косой взгляд порешить мог, не говоря — за партбилет. Скольких Санькиных приятелей осиротил — считать страшно. Понятно, не вменяли это Саньке в вину, он-то чем виноват, невинная душа? Да уж больно внешность у него была знакомая: выкопаный батя. И как-то так получилось, что отцов грех он принял на свою душу, а как искупить — не знал. Груз был тяжел, явно не по силам, а главное — не по

характеру. Другой на его месте, может, озлобился и тем затвердел, окаменел, нашел бы в том силу, и опору, и даже цель. А Санька напротив. Он готов был за всех все делать, любому уступить и услужить — только бы не поминали ему родителя. Получалось, конечно, наоборот. Он это видел, но переломить себя не мог. Да и не хотел. Он постепенно вживался в свою роль, и она уже казалась ему естественной и «не хуже, чем у людей».

Тем не менее он знал цену своей силе и в общем-то держался соответственно. Сочетание получалось причудливое, но не жизненное. Первое же испытание должно было поставить мальчика перед выбором. Мальчик оплошал. Он не смог подтвердить своей силы, оказалось, что победы (и естественных упреков, связанных с нею) он боится больше, чем поражения. Конечно, он не представлял себе все это столь ясно, и первая осечка не обескуражила его, только удивила. Вторая неудача смутила. А третья посеяла зерно сомнения, которое попало на благодатную почву и ударилось в рост: ведь товарищи помнили о его неудачах — подряд! — не хуже, чем он сам. И стали им пренебрегать. А у него не нашлось душевных сил, чтобы вдруг стать против течения, и выстоять, и доказать свое.

Так и покатилось под уклон.

В колхоз Санькина мать вступила на первом же собрании. Нажитое мужем добро у нее столько раз трясли да половинили, что записалась она почитай с пустыми руками. Валялись в ее прохудившемся амбаре и плуги, и бороны, и косилка стояла даже, но все от времени да без хозяйского глаза в таком виде, что легче новые завести, чем это наладить. А худобы — коровенки там или лошадки — не осталось совсем: года три, как в самой голытьбе числилась.

Трудилась она хорошо, и, хотя не богато получала, никуда б она не стронулась из родных мест, когда б не шла за ней память о покойнике-муже. Чуть не то — так и жди, что какая-нибудь подлая душа камень кинет. Но не за себя сердце болело. Видела она, как Санька тушуется; понимала — здесь ему не будет ходу. И в начале тридцатых, в голодное время, когда каждый держался как мог, добралась до станции, села на первый поезд и поехала с сыном куда глаза глядят. Долго их носило, пока не осели в Иванове на ткацком комбинате. О прошлом не больно допытывались. Сама быст-

ро вышла в люди — в ударницах числилась, красную косынку носила; и мальчик хорошо учился, в школе его в комсомол приняли, потом по слесарному делу пошел. Жизнь у них наладилась, в доме был достаток, но тем яснее она понимала — сына уже ничем не изменить. Что в детстве в нем сложилось, то и окаменело. Опоздала она с отъездом. Что б ей раньше лет на пять!..

В погранвойсках Медведеву служилось неплохо. Поначалу, правда, было поинтересней: на самом кордоне стояли. А потом границу перенесли на запад, а их часть так и осталась в прежних местах — охраняла стратегически важные объекты. Кто спорит — дело тоже нужное и ответственное, но по сравнению со службой на самой границе это был курорт.

Медведев старался. За ним не числилось провинностей, он был «ворошиловским стрелком», первым по строевой и боевой подготовке, активным на политзанятиях. Другой на его месте давно бы в сержанты вышел и уж по крайней мере всегда был бы на виду, всегда считался бы образцом. Однако Медведева в пример другим не ставили ни разу. Отдавали ему должное — и только; как будто его успехи были его личным делом, а вот успехи других — общественным достоянием. Чего-то ему недоставало. То ли темперамента, характера ли, чтобы заставить других отдавать ему должное; а может быть, просто нахальства. Одно ясно: все зависело от него самого, переломить инерцию в отношении окружающих он мог бы только сам, но он привычно нес свой крест, не жалуясь на судьбу, и если иногда и думал о том, что не все в мире устроено справедливо и вот бы хорошо ему вдруг однажды утром переломить себя и зажить по-новому, то никого он не винил за отношение к себе, разве что себя самого, да и то редко.

12

Герку он заметил уже непосредственно перед дотом. Это делало честь Залогину, поскольку склоны холма были, по сути, голыми, все на виду, но и Медведева не принижало: он-то следил за теми передвижениями врага, которые могли представлять непосредственную угрозу объекту; да и Герку хоть и с опозданием, а все же засек. Потом между ними произошло объясне-

ние, весьма странный разговор, когда один говорил: я верю, что ты свой и что ты пограничник — тоже верю, и я очень хотел бы тебя пустить, потому что загибаться здесь в одиночку — хуже ничего не придумаешь; но не могу, понимаешь? — не могу, у меня приказ... а другой отвечал: да разве я не понимаю, дядя, приказ — это святое дело, кто спорит, приказ надо исполнять; да только ведь кругом враги, а я свой — понимаешь, нам вместе надо быть... так вот, дядя, ты и приказ исполняй, и меня пусти.

Сказать, что Герка ушел ни с чем, нельзя. Он уходил со свертком под мышкой, а в свертке было три банки тушенки и пачка табаку. Медведев следил, как он сбежал с холма и затрусил неспешной рысью к реке, как перешел реку вброд и стал взбираться по склону. Теперь надо было не прозевать появления всей группы. Очень ответственный момент. Это могло случиться и через пять минут, и через два часа — сроки Медведева не пугали. Ждать он умел — служба научила. И он не отрывал глаз от стереотрубы, пока на том же склоне не появились фигурки. Медведев насчитал четверых. И реку перешли четверо. А когда они выбрались на этот берег и пошли напрямик к холму, их осталось только трое...

Медведев облегченно вздохнул.

Он сразу понял, что задумали эти ребята. Неудивительно: чтоб сообразить оригинальное, нужно время. Ну ничего, и так сойдет, только б они не перестарались.

И он стал продумывать детали своей встречной операции, которая вся вмещалась в формулу: и волки сыты, и овцы целы.

Он точно угадал командира. Тимофей отказался от носилок и сейчас буквально висел на плечах Герки и Чапы, но что-то в нем было командирское, а точнее говоря — сержантское, что Медведев почувствовал даже в стереотрубу. Ну и сапожки выдавали. А драгунская куртка его не смутила. С детства Медведев узнал, что значит ходить и зиму и лето в одной рубахе да в зипуне, которому ты пятый уже хозяин и на котором от штопки да латок живого места нет. После такой школы на всю жизнь останешься демократом.

Красноармейцы не стали подниматься к самой вершине, остановились в полусотне метров ниже, сидели на широком плоском камне и в полный голос обсуж-

дали дальнейший маршрут. Медведев понимал, что все эти слова говорятся только для него, чтоб его раззадорить, но не спешил вступать в игру: он все время помнил о четвертом, думал о нем, прикидывал, сколько ему нужно времени, чтобы выйти на исходную. Наконец он решил, что больше тянуть нельзя, и подал голос:

— Эй, ребята, это что за чучело с вами?

— Полегче на поворотах, дядя, — взвился Залогин. — Это наш командир.

— Ну да, наверное, маршал! — не унимался Медведев.

— Сволочь ты, дядя, понял? Думаешь, если немцы кругом, а ты в будке спрятался, так можно потешаться над сержантом?

— На нем написано, что он сержант, да? А даже если сержант, так и пошутить нельзя? Вон как вырядился!

— Гимнастерку на нем немцы пожгли пулями!

Чапа тихо ахнул.

— Ото добре! Ото сказав — як картину написав!

Медведеву это тоже понравилось, только злило, что они и шага навстречу ему не делают, все приходилось самому.

— Слышь, сержант? — крикнул он. — У меня тут аптечка есть, в ней завал всякой медицины. Может что надо — так я кину...

— Ладно, сиди уж, — отозвался Тимофей. — Если ты такой принципиальный, нам от тебя не нужно ничего. А то как бы с нашей помощью в ад не угодить!

Он сказал товарищам: «Пошли», — и они пошли вниз; осторожно, не спеша стали спускаться. Значит, четвертый уже где-то здесь, понял Медведев, и в этот решающий момент ему вдруг так расхотелось выходить из дота, но другого выхода не было — на этом строилась вся их игра... По привычке он схватил винтовку, но, уже открыв люк, понял, что этого делать нельзя: если у тебя оружие да у того оружие — без выстрелов трудно обойтись. А пули, как известно, иногда и попадают.

Медведев сунул винтовку в пирамиду и выскочил наружу.

— Ребята! Постойте минуту. Я вам что-то скажу.

Они охотно остановились.

— Ну что тебе? — сказал сержант. — Только покороче.

— Ребята, вы как до наших доберетесь, уж разыщите мою часть, а? Пусть они кого за мной пришлют.

— Ты что, дядя, совсем псих? — замахал руками Герка. — Сам посуди, кому ты сейчас нужен? Только твоей маме...

— Сообщить, это мы и без твоей просьбы сделаем. Это наша обязанность, — сказал Тимофей. — Однако тебе от этого легче не будет.

— Почему? — Медведев отошел от дота еще на несколько шагов и только тогда услышал за спиной едва уловимый шорох камней.

— А сам не понимаешь? Кто за тобой людей пошлет через линию фронта? Рисковать, скажем, целым отделением, чтобы тебя одного снять с поста? — Тимофей улыбнулся. — Придется тебе смириться с нашим обществом.

И красноармейцы стали подниматься к доту.

Все, понял Медведев, волки сыты. Теперь как бы овечкам уцелеть...

Он обернулся. Входной люк был закрыт. Медведев подскочил к нему, дернул на себя за ручку, заколотил по люку изо всех сил ногами.

— Открой!.. Открой, тебе говорят!..

Медведев схватил здоровенный камень и что было силы садануть им по люку. Второй раз не стал — боялся замок повредить.

— Не шуми, — отозвались изнутри. — Отойдешь в сторону — открою.

Медведев помедлил, потом сказал: «Твоя взяла», — быстро отошел на несколько шагов и там стал спиной к доту с поднятыми руками.

На Ромку, наблюдавшего за ним в смотровой глазок, это произвело впечатление. Конечно, он и на секунду не допускал, что часовой так вот просто примирится с поражением. Он мог бы признать свое поражение, рассуждал Ромка, в конце концов ничего страшного не произошло: все свои. Но сделал бы это не сразу. И уж наверняка не в такой форме. Он спешит, ухмыльнулся Страшных, он вынужден считаться, что сейчас подойдут остальные, и тогда он точно проиграл. Вот и спешит. Предлагает, чуть ли не навязывается: на, мол,

бери, вот он я весь перед тобой... А сам-то мечтает, чтобы я выглянул, вылез наружу раньше, чем ребята подойдут. Он думает, ему это что-то даст... Хорошо! Не буду обижать человека, решил Страшных, пусть испытает свой фарт до конца.

Открыл люк и вышел наружу.

— Вот так бы и давно, — сказал он, чувствуя, что голос звучит неестественно. — Только ломаешься зачем? Руки поднимаешь... К тебе со всем уважением, а ты...

Автомат он оставил в доте — уж если играть, так по-честному. Правда, шансы были не равны: часовой во какой здоровенный — раза в полтора тяжелее. Но Ромка не был бы «вечным каторжником», если бы разумные доводы могли его остановить. К тому же в этой схватке он знал все наперед. Ребята уже подходили к часовому; чтобы ворваться в дот, у того была единственная возможность — прыгнуть. Пробиться за счет инерции. Ах, как это скучно, когда все знаешь наперед, успел еще подумать Страшных, остальное заняло не больше секунды. Часовой вдруг развернулся, сделал шаг, чуть присел и — словно катапульта его метнула — в отличном стиле прыгнул вперед ногами. Он летел не точно в Ромку, а рядом, что Ромку крайне поразило, и врезался в бронированную стенку. Другой без ног бы остался, но это был такой парень, что Ромке — как ни жаль — пришлось еще дважды рубануть его под шею ребром ладони.

Тимофей спросил только:

— Ты ему ничего не повредил?

— Что ты, комод, кому говоришь! Разве я не понимаю?

— Ладно. Напомнишь мне потом: два наряда вне очереди за провокацию, — и вошел в люк.

— Еще легко отделался, — шепнул Ромка Залогину.

— Это мы легко отделались. А если бы он не промахнулся?..

В доте Тимофею опять стало плохо. Пока знал, что надо идти, — держался; а сделали дело — и прямо дух вон. Пот заливал лицо, стекал по груди, по рукам; била дрожь. Препротивнейшее состояние, когда весь напрягаешься, чтобы хоть зубами не стучать, а получается только хуже.

Он сидел в креслице наводчика и терпеливо ждал, пока Чапа приведет часового в чувство. Потом подозвал его. Парень хоть и был еще слаб, подошел по-уставному четко.

— Фамилия?

— Рядовой Александр Медведев.

Сержант всегда сержант! — даже при затуманенном сознании Тимофей уловил в часовом какую-то ущербность, неполноценность. Он сразу понял, с кем имеет дело, и Медведев прочел это в его взгляде и сразу сник. Все было как всегда.

— Ты на него не обижайся, — кивнул Тимофей на Ромку. — Он у нас того... — и покрутил пальцем возле виска.

— Первый герой, в общем, — вставил Герка. — Если кого не победит — прямо спать не может.

— Спасибо, конечно, что приютил... А все-таки не имел права! — голос Тимофея вдруг окреп. — Так что за допуск на охраняемый объект посторонних лиц — два наряда вне очереди.

— Есть два наряда вне очереди, товарищ младший сержант! — радостно отчеканил Медведев.

— Чему радуешься?

— Понял, что вы настоящий, товарищ младший сержант!

Тимофея положили на расстеленный орудийный чехол, накрыли Чапиной шинелью, и едва он закрыл глаза, как провалился в небытие. Оно походило скорее на легкий сон, потому что возвращение из него было незаметным, без осадка. Словно прикрыл глаза на миг — и тут же открыл, но и в теле, и вокруг все успело измениться.

В доте было светло и пахло горячей пшенкой на сале. Для тех, кто понимает, — мечта!

Свет был электрический.

Тимофей сел. Ему тут же насыпали из котла. Миска приятно грела колени. Тимофей ухватил губами несколько крупинок, разжевал их, произнес «О!» — и отправил в рот сразу полную ложку. Он обжег небо и задохнулся горячим паром, но все это входило в комплекс наслаждения едой, без этого не могло быть настоящей пшенки, и он даже застонал, так ему было хорошо.

— А ты, дядя, оказывается, гурман! — засмеялся Залогин.

— Ложкой трудиться тоже надо уметь, — сказал Страшных. — Опять же пример рядовому составу.

— Верная примета, — поддакнул Чапа. — Кто хворый, тому ота работа без интересу.

Только Медведев смолчал. Он пока приглядывался к новым своим товарищам, угадывая связи и противоречия, границы и меру дозволенного. Но именно на нем остановил свое внимание Тимофей. Он вдруг отложил ложку и спросил:

— Почему не на посту?

Медведев вскочил, вытянулся по стойке смирно. По его лицу было видно, что он ищет ответ и не находит. Наконец он выжал из себя:

— Виноват, товарищ командир.

— Мы оба виноваты, — примирительно сказал Тимофей. — Ты ведь вторые сутки один — мне не следовало об этом забывать... Отставить ложки! — неожиданно резко выкрикнул он. Все перестали есть, сидели прямо. — Это что ж получается, товарищи красноармейцы? Выходит, мне и поспать нельзя? Или вырубиться по невольной слабости?.. Это же черт знает что! Стоит отвернуться — и тут уже не воинское подразделение, а цыганский табор. Голыми руками вас бери — не хочу!..

— Ну это ты зря, Тима, — тягуче начал Страшных, но его перехлестнул выкрик Тимофея:

— Разговорчики!.. Чему вас учили в армии? Чему вас учили? — я спрашиваю... Ладно. Раз не можете по-другому, при вас всегда будет состоять командир. Назначаю своим помощником красноармейца Залогина.

— Слушаюсь.

Залогин не удивился, но и радости не выказал. Он предпочитал быть «одним из», чем командовать себе подобными. Тимофей это понял.

— Учти, за дисциплину буду с тебя спрашивать.

— Ясно, товарищ командир.

— Составишь график караулов. На двое суток. Медведева — в последнюю очередь, пусть отоспится. Меня не вставляй пока — могу подвести под монастырь. А тут риску не должно быть ни грамма.

— Слушаюсь.

— Дежурства: кухня, уборка, то да се — тоже в график введи. Особое внимание — красноармейцу

Страшных. У него полная торба нарядов. Хватит ему их коллекционировать — пустим в дело.

— А если утаит?

— Не посмеет. А то ведь с утра до ночи будет картошку чистить.

— Здесь нет картошки, — ехидно встрял Страшных.

— Прикажу — достанешь!..

Первым заступил в караул Чапа.

После чая Тимофей обследовал дот. Артиллерийский каземат при электрическом освещении был мрачен. Свод броневого купола покрывала серая масляная краска. Серыми были цементные стены. Броневой пол почему-то не был выкрашен: очевидно, его постоянно чистили, но рыжий налет ржавчины угадывался сразу.

В стены были врезаны четыре люка: большой входной и три поменьше, эти вели к пулеметным гнездам. Тимофей заглянул в один. Собранная из железобетонных колец труба имела диаметр около метра и уходила в темноту. Лишь в конце что-то неясно светлело.

— Пулеметы крупнокалиберные, турельные, — сказал Медведев.

— Это телефон? — Тимофей тронул закрепленный на своде ярко-красный провод.

— Да. Все посты телефонизированы.

В нижний этаж попадали через люк в полу. Вертикальная стальная лесенка («лазня», — определил Тимофей) обросла ржавчиной, стертой лишь посреди поперечин. Ничего. Рома приведет ее в божеский вид. Боком выйдут парню его наряды!

Жилой отсек имел прямоугольную форму: четыре метра на три. Вдоль стен в три яруса — откидные койки с матрацами. На двенадцать человек. Столик с телефоном. Печка-чугунка с коленчатой трубой. Здесь же подъемник для снарядов и железная дверь в следующее помещение. Тимофей открыл дверь, поискал слева выключатель, и, когда вспыхнула под потолком лампочка, замер на пороге, восхищенный зрелищем, которое ему открылось.

Это была подсобка. Узкая — в проходе только боком разминешься, зато полки глубоки: по метру каждая. От пола и до потолка — все забито.

Пять метров полок справа — боеприпасы. Ближе — ящики со снарядами; узкие дощатые обоймы, выступающие торцами, поблескивающие изнутри металлом.

Тимофей заглянул наугад. Вот с черной каемкой — бронебойные, с красной — фугасы; а вот и шрапнель, и осколочные. Дальше нашлись гранаты, два ящика: в одном противотанковые, в другом «лимонки». Тимофей это понял, даже не заглядывая внутрь, узнал по заводской упаковке — на заставе получали точно в такой же таре. В последней секции стояли патронные цинки.

Полки слева были заняты съестными припасами: мешками с мукой, крупой и сухарями, ящиками с консервами. Но возле самой двери был просвет. Здесь умещался движок (он еле слышно гудел, рядом стояло маленькое ведро с соляркой) и ручной насос. Тимофей качнул ручку насоса — и тотчас где-то далеко забурлила, загудела вода, поднимаясь по трубам. Ладно! Тут же стояла металлическая бочка с горючим, рядком, как поросята, залегли полдюжины мешков с цементом, да не с простым — с портландским, в этом Тимофей еще с гражданки разбирался; и пучки стальных прутьев. Арматура. На случай, если где повреждение, так чтобы сразу залатать. Ай да мужики! — похвалил Тимофей неведомых старателей. Вот уж действительно все на свете предусмотрели!

Тут его разобрал интерес: а чем они предполагали топить чугунку? Заинтересовался он этим не по делу вовсе, а только из любопытства; ведь понятно, до холодов им здесь не сидеть, печку топить не придется. Но Тимофей не отмахнулся от вопроса и опять пошел вдоль полок, становился на цыпочки, приседал, заглядывал за ящики и мешки, высматривал топливо, хоть небольшой запас, что называется — на первый случай. И нашел — это были угольные брикеты. Их было немного, всего два мешка; топливо, честно говоря, не высший сорт, чего уж там, конечно, можно было подобрать и получше. Но оно было. Оно было и ждало своего часа. О нем не забыли, его учли. Здесь все было учтено — вот самое главное, в чем Тимофей хотел еще раз убедиться — и убедился вполне. Все, что зависело от инженеров и интендантов, они сделали. Они создали маленький, но законченный мирок. Однако ожить сам по себе он не мог. Не хватало важнейшей детали — гарнизона. И лишь приняв ее, этот сплав холодного металла и камня мог ожить — стать силой, волей и энергией.

Подсобка заканчивалась большим люком, вправленным в мощное броневое кольцо. Он и сам был из стали, с надежным запором, смотровым глазком и отверстием для стрельбы.

— Запасной ход, — подтвердил предположение Тимофея Медведев. — Метров сто в нем будет.

Вернувшись в жилой отсек, Тимофей отстегнул и опустил одну из коек, привычно пощупал матрац, удовлетворенно отметил про себя: морская трава — лег на спину и несколько минут не говорил ни слова. Медведев сидел напротив и тоже молчал.

— Ты время не губи, Саня, — сказал ему Тимофей. — Отоспись, пока даю. Бойца запас не тянет.

Потом закрыл глаза и попытался в себе разобраться.

Первая радость обладания окружающим богатством, счастливое чувство безопасности, едва наметившись, тут же уступили место новой волне. Дот не только вселял уверенность и располагал к спокойствию, не только давал понять, что на него можно положиться вполне и быть самим собой. Своей силой он пробуждал активное начало — чувство ответственности. Он как бы подталкивал: не только быть, но и выразить себя.

13

Тимофей отдыхал недолго. В нем пробудилось стремление двигаться, что-то предпринимать, весьма неожиданное при его физическом состоянии. Тем не менее он даже перевязку отложил, хотя держал ее в уме все время; даже в аптечку не заглянул: отметил для памяти, где ее искать, и полез наверх.

В артиллерийском каземате было неожиданно светло. После сорокасвечовых, завуалированных сетками лампочек нижних помещений солнце било, как луч прожектора. Оно врывалось в раскрытую во всю ширь амбразуру, вдавливалось внутрь дота медовыми кусками света. Уже не палящее — мягкое, какое-то домашнее, уютное.

Тимофей пристроился возле амбразуры.

Солнце уже перестало быть комком огня, обрело форму. Оно еще не падало, но уже и не парило. Оно висело над горами, задержавшееся на миг каким-то

судорожным усилием, а может быть, и неуверенностью, в какое из ущелий рухнуть со своей уже неопасной высоты. Долина была залита золотистым светом. Камни и кусты испятнали ее, как рябью, четкими, по-дневному черными мазками теней; с каждой минутой мазки вытягивались и расплывались, теряли очертания и интенсивность, чтобы к сумеркам выцвесть совсем. Очень скоро они станут такими, как нависшая над рекой, сжавшая долину излучина гор: дымчато-голубыми, вроде бы призрачными, вроде бы подернутыми туманом, хотя это только казалось так, а на самом деле никакого тумана и быть не могло — воздух все еще был по-дневному сух и тонок.

Самыми яркими в пейзаже были река и шоссе. Они блестели, как никелированные металлические полосы, и казались выпуклыми, будто их надули изнутри. Шоссе было пустым — очень непривычно, совсем как в мирный воскресный день, только у подножия холма уползали влево два громоздких тупорылых автофургона, размалеванные в коричневое и голубое. За вторым фургоном на прицепе катила тележка, издали похожая на снарядную двуколку; она была нагружена мешками, и наверху лежал остромордый пес, вроде бы овчарка, но они так быстро скрылись из виду, что даже Тимофей не смог бы это сказать наверное.

Теперь шоссе было совсем пустым — до моста и даже дальше. Собственно, мост не был виден, он находился точно в створе амбразуры, и впечатление было такое, словно шоссе с разгону перелетало через реку. Сразу за мостом раскрывалось устье ущелья. Несмотря на расстояние, оно было видно отчетливо, однако само ущелье уже терялось в тени, еще неплотной, ранней, но тем не менее непроницаемой.

Вот из нее посыпалась какая-то мелочь. Сбоку от амбразуры была укреплена на консоли стереотруба. Тимофей повернул ее, подкрутил настройку. Это были самокатчики, судя по числу — рота. Они ехали долго, смешанным строем, лениво крутили педали. Тимофей представил, что б от них осталось, кабы подпустить их метров на сто и ударить враз из двух пулеметов. Да ничего б от них не осталось, все бы здесь полегли, до одного. Счастлив ваш бог, гады...

Потом проехали еще двое, видать, от роты отбились. Но они не спешили догонять своих — война не убежит!

Один даже за руль не держался, руки были заняты губной гармошкой, хотя играл он не все время, выдует несколько пронзительных звуков, скажет что-то, и оба закатываются от смеха. Каски у них болтались поверх вещмешков на багажниках, винтовки были приторочены к рамам велосипедов...

Потом на сумрачном фоне ущелья проявились танки. Две машины. Они шли уступом, но расстояние скрадывало уступ, и казалось, что танки идут борт к борту. Они были уже на мосту, когда из тени выступил третий. Тимофей понял, что это боевое охранение, и ждал, когда же появится сама колонна.

Ждать пришлось недолго. Но опять это были только две машины; и несколько позади, в полусотне метров — третья. Опять боевое охранение, констатировал Тимофей и даже вздохнул от волнения, представив, какая силища прет по шоссе, если в боевое охранение они выпускают два танковых взвода. Должно быть, не меньше дивизии, решил Тимофей, и наконец увидел ее голову.

Разглядеть он мог только первый танк. Остальные слепились в сплошную серую ленту. Танки шли впритык, интервалы на таком расстоянии были неразличимы. Корпуса, башни, гусеницы — все слилось, и по тому, как они неспешно выползали, это движение казалось еще более грозным и всесокрушающим, а неразличимость деталей только поощряла воображение...

Не отрываясь от стереотрубы, Тимофей сказал:

— Внимание! Общий сбор.

Сосчитать танки было невозможно. Застучали по броне сапоги, мягко хлопнул входной люк — это Чапа, а вот и Медведев где-то рядом чертыхнулся. А колонна вытянулась уже без малого на километр.

Полк.

— Гарнизон по вашему приказанию выстроен, — доложил за спиной Залогин.

Тимофей предостерегающе поднял руку. Он ждал. Он все ждал, когда же появится хвост колонны, и наконец увидел его, и тут же убедился, что это не конец. Это был только небольшой просвет, а затем из ущелья поползли грузовики и вездеходы.

Выходит, механизированная дивизия.

Тимофей медленно распрямил занемевшую поясницу и повернулся к товарищам. Они глядели мимо не-

го — в амбразуру. Стояли прямые и какие-то вдруг осунувшиеся. И в глазах их была печаль и даже отчаяние. Но не страх. Жизнь — это такая приятная штука; что ни говорите — ее всегда жалко, всякую. Но долг — выше. И честь — выше. И вообще есть много еще таких вот штуковин; о них не думаешь и даже не помнишь до времени, но наступает минута — и они поднимаются, словно дремали в тебе, пока твое сердце тихонько к ним не толкнулось. Тогда они просыпаются и заполняют тебя всего, как сталь заполняет форму, словно в ней ничего и не было, словно в ней не было себялюбия и робости и мелких страхов из-за бытовой ерунды. Сталь выжигает их начисто. И ты перестаешь быть собой — слабым человечком. Твое сердце заполняет тебя всего. И вся твоя жизнь фокусируется в этой минуте, и не только прошлое, но и будущее. И вся твоя энергия фокусируется в ней, как линза фокусирует солнечный луч в точку. И тогда как будто из ничего вдруг вспыхивает пламя...

— Товарищи красноармейцы, — сказал Тимофей и замолк: сел голос у него. Он осторожно, чтобы рану не бередить, прокашлялся в кулак, открыл рот — и не получилось ни звука. Это его только разозлило.

— Воды! — прохрипел он.

Чапа с готовностью протянул фляжку. Тимофей отпил всласть, жестко вытер тылом ладони рот и сказал спокойно и твердо:

— Товарищи красноармейцы. Сейчас, когда наша Советская Родина бьется насмерть с мировым фашизмом... — Он замолчал: замах вышел не по плечу. — Священный воинский долг... и просто совесть... — Он опять замолк, поглядел в лицо каждому и вдруг рубанул воздух кулаком. — Я так считаю, что мы им должны сейчас вжарить. Сейчас просто обязаны. Все. Прошу высказаться, товарищи.

— Вот это разговор, Тима! — восторженно заорал Страшных. — В первый раз за трое суток говоришь почеловечески. Давно бы так!

— Нас только пятеро, — сказал Залогин. — Ну, врезать им хорошенько — это вещь, кто спорит. Ну, поломаем несколько игрушек. А как эти дяди попрут на нас? В одиночку дот не продержится — он ведь только часть системы. И потом: здесь гарнизон нужен — двенадцать человек. А нас только пятеро.

— Четверо, — поправил Тимофей. — Я не в счет. Какой из меня ныне вояка! Спасибо, что хожу.

— Да я и не считал, если по правде.

— Не разберу: ты за или против? — разозлился Ромка.

— Если б я один был — какой разговор...

— Ясно, — сказал Тимофей. — Твое мнение, Драбына?

— Я шо, — глаза Чапы от возбуждения совсем округлились и были на пол-лица. — Я как усе.

— Ладно. Что скажешь ты, Саня?

— Как прикажете, товарищ командир.

— Отлично. Приказываю готовиться к бою!.. — Он еще раз оглядел всех. — Кто знает наводку?

— Да что там знать, комод? — фыркнул Страшных. — Бей напрямую — и хана.

— Тебя не спрашивают. Твои знания мне известны.

— Дайте я спробую, товарыш командир, — сказал Чапа. — Так что у меня был приятель...

— Понял. Садись наводить. — Тимофей отхлебнул еще глоток и возвратил ему флягу. — Страшных, будешь замковым и заряжающим. Залогин — снарядным. Ты, Саня, лети вниз, подавай бронебойные. Пока не получишь другого приказа — одни бронебойные. Разберешься?

— Так я ж ничего не увижу оттуда!

— Ты что — в кино пришел? Выполняй приказ!

Он повернулся к амбразуре и даже чуть не отпрянул в первое мгновение, так близко были враги. До головной машины — не больше трехсот метров...

Мотопехота уже вся перебралась на этот берег, и теперь через мост двигался второй танковый полк.

В передовом дозоре шли два средних танка, их прикрывал тяжелый. Он казался горбатым, набычившимся животным. На его башне, свесив ноги в люк, сидел танкист. Он был без шлема, со значками на груди — слева и справа; курил трубочку и смотрел на холм. Впечатление было такое, что он смотрит прямо в амбразуру. Тимофею даже показалось на миг, что немец и он встретились глазами — вдруг их глаза оказались совсем рядом, словно расстояние необъяснимым образом потеряло свою власть. Тимофей ощутил внутри пустоту и замер. А затем горизонт стал сжиматься сразу с обеих сторон: это стоявший рядом Залогин, оцепенев, будто

под гипнозом, медленным вращением маховичка сдвигал створки амбразуры...

Тимофей остановил его руку:

— Не надо. Он не видит нас.

Это был оптический обман, небольшая шутка природы.

Чапа уже обжился в креслице наводчика, даже телефонные наушники зачем-то напялил. Прильнув к дальномеру, крутил ручки.

— Чапа, дозоры пропускаем.

— Э! От меня они вже повтикалы.

— Ух ты! Откуда же начинается мертвая зона?

— А трошечки дали, товарыш командир. Отам, де ярок и дырка под сашше.

— Это где водосток, — шепнул Залогин.

— Вижу... Отступи метров на сто. Там их и прихватим.

Уже и второй дозор был рядом, огибал холм. И колонна совсем приблизилась. Головной танк — лобастый, упрямый, — покачиваясь, катил по серебряной ленте, жевал гусеницами собственную тень. Тимофей подправил настройку стереотрубы, определил: до линии огня еще метров пятьдесят; успеваем. А где же хвост колонны? Все новые и новые танки выползали из ущелья. Ладно, что откусим — то и наше. Не подавиться бы...

Он услышал сзади незнакомый щелчок и обернулся. Залогин вынимал из подъемника снаряд. Засуетился Страшных, с непривычки замешкался, наконец торопливо лязгнул затвор.

— Орудие к бою готово!

Это было последнее мгновение, когда Тимофей своею командирской волей мог остановить судьбу и отменить атаку. Интересно: как бы сложилась их жизнь? Вспоминали бы они об этом мгновении — последнем, за которым лежала пропасть?.. Но Тимофей даже не подумал об этом. Он увидел — пора, и закричал:

— Огонь!

Вот уж чего они не ждали, это грохота. Впечатление было такое, что сидели в железной бочке, а кто-то вдруг ахнул от всего сердца — сколько в нем только силы наскреблось — кувалдой.

Тимофей оглох и ослеп на несколько мгновений, и потому прозевал разрыв снаряда. А когда смог наконец

видеть, ему подумалось: мимо. Головной танк катил, словно ничего не произошло, к спасительной границе мертвой зоны. Но тут оказалось, что движется он один, а колонна останавливается — теснясь, сжимаясь, как гармоника. Останавливается, потому что стоит второй танк. Тимофей долго всматривался, пока увидел маленькие язычки пламени, а потом, как-то сразу, будто в нем дырочку открыли, из танка повалил густой жирный дым.

— Куда ты в него, Чапа?

— Тю! А я знаю? Я в першого вциляв.

Все еще золотое, все еще чистое и ясное предвечерье лилось долиной, и даже дым не мог его замутить. Пока не мог.

Между тем остановился и головной танк. Знай немцы, что они уже в мертвой зоне или по крайней мере стоят на ее границе, они и держались бы соответственно. Но пока им было ясно одно: противник напал на колонну, а они неосторожно оторвались от своих. И танк попятился. Он поднял пушку, навел ее на вершину холма, но не стрелял, должно быть, еще не видел цель. Он отползал медленно. В этом движении не было страха — только мера предосторожности. Он только хотел соединиться со своим батальоном, который уже разворачивался, готовясь к бою: несколько танков рассредоточились влево от шоссе, несколько — вправо. Колонна осталась на дороге, ждала, когда передовой батальон сметет преграду и расчистит путь для дальнейшего движения согласно приказу.

По лязгу затвора Тимофей понял — орудие к бою готово.

— В которую штуку лупить? — спросил Чапа.

— Который пятится, того и бей.

— Не-а. Не можу, — пожаловался Чапа. — Он ач, какой верткий. Токечки, думаю, гоп, а он уже драла дал.

— А ты с опережением попробуй, — посоветовал Ромка.

— Дуже ты розумный! — огрызнулся Чапа. — Може, сам покажешь, як отое роблять?

— Ладно вам, — сказал Тимофей. — А по горящему попадешь еще раз?

— Спробую.

— Целься ему в мотор. Но стрелять только по моей команде!

Тимофей подрегулировал резкость и, чтобы как-то убить оставшиеся секунды, пока танк отползает к своим, шептал: «Ладно... ладно...» — смотрел, как шевелится (шалят нервишки у немца!), целится прямо ему в лицо все еще молчащее (ждут второго выстрела, чтобы точно засечь дот) дуло танковой пушки; как уплывают под броневые крылья отполированные траки; как командир танка высунулся из башни и то смотрит в бинокль на вершину холма, то что-то говорит вниз, наверное, пушкарю...

Тимофею казалось, что даже лицо механика-водителя он различает в приоткрытом переднем люке. Чтобы убедиться точно, хотя ему это и не нужно было, Тимофей стал всматриваться в темный срез амбразуры и чуть не прозевал момент, когда танк стал огибать горящую машину.

— Огонь!

И опять вокруг них и внутри каждого из них — в мозгу, в костях, в каждой клеточке тела красноармейцев—взорвался гром, словно это и не снаряд был вовсе, а само пространство раскололось на куски. Но теперь Тимофей был готов к этому и не зажмурился даже, и видел, как сверкнул из-под катков огонь, и хотя Тимофей знал, какая это сила — 105-миллиметровый бронебойный, — а все-таки боялся сглазить удачу и ждал настоящего пламени, или дыма, или взрыва, что подтвердило бы успех. Но мгновения бежали, а танк стоял целехонький, и Тимофей уже смирился с неудачей, и ждал, что сейчас танк сдвинется и поползет прочь от шоссе, занимая свое место в боевых порядках батальона, как вдруг из башни высунулся командир, стал вываливаться наружу, сползать с башни вперед руками, цепляясь за броню; наконец скатился на землю и опять пополз на одних руках, и хотя Тимофею не было видно, что у немца случилось с ногами, надо понимать, досталось им крепко, потому что они тянулись за ним, как груз, а он все полз на руках и кричал беспрерывно, может, одно только «А-а-а!..» — судя по тому, как у него был вывернут рот. Но из дота его не было слышно: все-таки расстояние приличное, верных полкилометра набежит, да и моторы там ревели вовсю, десятки мощных танковых дизелей, а уши после второго выстрела были все еще заложены. Тимофей сглотнул несколько раз, чтобы выбить пробку, но не помогло.

Больше из танка не вылез никто, а затем изнутри его рвануло вверх высоким столбом, и лишь тогда по-настоящему загорелось.

Две снарядные гильзы еще чадили на броневом полу каземата.

Два дыма слились в один; рваное облако стало сносить вдоль шоссе в сторону дозорных танков.

Шоссе было перегорожено напрочь.

Теперь весь головной танковый полк рассредоточивался по долине. Первый батальон, словно разбуженный взрывом, уже бил по вершине холма в два с половиной десятка стволов. Однако цель была для немцев неудобная. Во-первых, стрелять вверх без специальных приборов всегда не с руки; а во-вторых, танки все время находились в движении — выполняли противоартиллерийский маневр. В таких условиях спрашивать с наводчиков исключительную точность, право же, грешно. И снаряды то летели высоко, то рвались ниже дота. Только однажды красноармейцы услышали, как болванка угодила в бронеколпак. Против ожидания звук оказался не ахти какой: загудело низко, будто в большой колокол; все-таки масса купола была огромной, в ней могла раствориться без существенных последствий и не такая инерция. Но об этом легко думать задним числом, после того, как оно случилось и ничего не произошло. А ведь красноармейцы ждали его, это прямое попадание, с первых минут боя. Знали, что когда-то оно произойдет, раньше или позже. Оно ожидалось, преувеличенное неизведанностью, и когда случилось наконец — сквозь дробь осколков по броне, сквозь глухие удары камней, — то угадалось сразу, и визг болванки, рикошетом упорхнувшей прочь, был воспринят с облегчением и торжеством.

Но, в общем, обстрелом немцы добились лишь одного: частично ослепили дот. Облака дыма и сухой глины заволокли вершину. А когда в амбразуру залетел большой осколок (его не услышали сразу, и лишь через мгновение обернулись на протяжный, всхлипывающий скрежет, и успели заметить, как он пробороздил по стене дота, густо роняя на пол искры и куски бетона), Тимофей прикрыл ее, оставив минимальное отверстие для наводки и стрельбы.

В редкие просветы он видел, что и механизированный полк пришел в движение. Правда, грузовики и бронетранспортеры остались на шоссе — в стороны им ходу

почти не было: по камням да буеракам далеко не удерешь, — но солдаты густо посыпали через борта и бежали прочь, рассасываясь по тем же ямам и буеракам.

— Чапа, по мосту попадешь?

— Далеченько... — пожаловался тот на всякий случай, хотя в прицел мост был виден превосходно, и Чапа уже давно посматривал на него с интересом.

— Нечего прибедняться — наводи! — Тимофей покрутил ручку телефона и, услышав: «Медведев на проводе», — крикнул в трубку: — А ну-ка подбрось нам несколько фугасных!

В мост они попали только с пятого снаряда. Мост рухнул сразу, и десятка полтора танков, замыкающих походные порядки дивизии, оказались отрезанными. Они подкатили к берегу и стали гуртом. Потом один двинулся вдоль берега влево, другой — вправо. Искали брод. Сейчас тоже будут здесь, механически подумал Тимофей, но, поскольку это уже не имело значения, тут же забыл о них навсегда.

Со времени первого выстрела прошло уже четверть часа. Нельзя сказать, чтобы среди этих пятнадцати минут была такая, когда немцы были бы напуганы или у них началась паника. Нет. Все-таки их была целая дивизия, и они находились в глубоком тылу своих войск. Но они были обескуражены, оказавшись в капкане, и только поэтому замешкались поначалу. Они с полным основанием могли подозревать, что дот — это лишь часть засады. И приняли меры предосторожности, выждали какое-то время. А когда убедились, что неожиданностей больше не предвидится, бросились в атаку.

Из боевых порядков головного батальона выдвинулись три средних танка, набрали скорость, и не успели красноармейцы перезарядить пушку, как они уже были в мертвой зоне.

Тут Тимофей вспомнил о шести дозорных танках. В их распоряжении было целых пятнадцать минут, чтобы разобраться в происходящем, принять решение и ударить. И воображение Тимофея услужливо нарисовало ему страшную картину: вот один из этих танков подполз к доту с тыла и наводит свою пушку прямо на люк... Этот люк — надежная штука: и пуль, и осколочных гранат можно за ним не бояться. Но первый же снаряд вобьет его внутрь.

Тимофей еще не решил, что противопоставить новой

угрозе, когда вдруг наступила тишина. Снаряды перестали рваться почти одновременно; сначала был слышен только стук осыпающихся камней, он быстро иссяк, и тогда остался лишь далекий рык танковых моторов.

Боятся подбить своих — это ясно.

Тимофей выбрался через люк наружу. Он уже не чувствовал тротиловой вони, и даже в горле как будто не скребло — еще в доте пообвыкся. Зажмурившись, чтобы не запорошило глаза, он пробежал по битому камню всего несколько метров и увидел дозорные танки. Четыре машины стояли прямо на шоссе, развернувшись в сторону холма. Два средних танка, форсируя двигатели, ежеминутно меняя угол атаки, то и дело сползая на несколько метров, упорно лезли вверх. Этим будет нелегко, понял Тимофей, крут склон.

И пошел вокруг бронированного купола взглянуть на танки, атакующие в лоб.

Странно, подумал он, увидев, что и эти машины ползут с огромным трудом, здесь холм вроде бы пологий... чего ж они телятся?..

Тимофей нагнулся к амбразуре:

— Чапа, ты видишь их?

— Не-а. Може, когда ще трошечки выдряпаются до нас...

— У тебя под рукой не осталось бронебойных?

— Один есть, — сказал Страшных.

— Заряжай. — Придерживаясь за теплый ствол пушки, Тимофей влез через амбразуру в дот, покрутил ручку телефона. — Медведев! Знаешь, где лежат противотанковые гранаты? Набери в какую-нибудь торбу штук десять, не меньше, понял? — и мотай к нам наверх. Только поживей!

14

Медведев решил, что это конец. Надо было бежать, удирать отсюда, уносить поскорее ноги — прочь! прочь! — пока возможно, пока есть еще ничтожный шанс выпутаться. Запасной лаз рядом...

«Сволочь», — сказал себе Медведев, выхватил с полки тяжеленный ящик и громыхнул его на пол посреди прохода. Кончиками пальцев — дальше не прошли — выдрал верхние дощечки, только гвозди визгнули. За-

греб в одну руку три гранаты, в другую столько же. Бросил назад. Если даже в карманы положить по гранате — и то десяти не унесешь. Прав сержант — нужна торба.

Он заметался по кладовке. Ничего подходящего!

Но взвинченность, а тем более истерия не были характерны для флегматичного Медведева. И едва первый всплеск улегся, он с обычной своей рассудительностью задался вопросом: «А гранаты зачем? Холм эскарпирован весь. Никакой танк не взберется... Да ведь сержант не знает об этом!..»

Медведев перевел дух и обессиленно опустился на ящик с гранатами.

Его минутную слабость понять нетрудно. Пока товарищи вели бой, он томился одиночеством и вынужденным бездельем; время растягивалось для него мучительно, а фантазия предлагала картины одну страшнее другой. По типам снарядов, которые требовал сержант, он догадывался о плане боя, но пушка била так редко, а стены вокруг содрогались от близких разрывов так явственно!.. Его колотил озноб, он обливался потом — и все от неизвестности. А теперь это кончилось.

Он спокойно прошел в жилой отсек, взял суконное одеяло, под которым спал полчаса назад, возвратился, не считая сыпанул гранаты прямо из ящика и связал диагональные концы одеяла; узел вышел на славу. Запалы он набрал в карманы тоже не считая: в одни горсть, в другой горсть — хватит! И полез вверх.

— Ну и телишься же ты! — Тимофей не пытался скрыть, что нервничает.

— А куда спешить? — разыграл простодушие Медведев.

— Ты что, деревня, глухой? Танки же! — заорал ему в лицо Страшных.

— Не ори. А танки с чем приползли, с тем и уползут. — Медведев спокойно развязал узлы, выгреб из карманов запалы и лишь затем поднял улыбающееся лицо на сержанта. — Склоны эскарпированы. Не взобраться им. Не должны.

Спасительная новость была слишком внезапна; надо было не только осмыслить ее, но и привыкнуть к ней.

— А не подумаешь, — наконец сказал Тимофей. — Сам поднимался... и не заметил.

— Так ведь готовились, — сказал Медведев.

— Ладно... Только береженого бог бережет. Ты, Саня, подстрахуешь тыл. Вы, — повернулся к Герке и Ромке, — фронтальных постережете. Да автоматы не забудьте прихватить! Не ровен час, какая-нибудь шкура под шумок нашу бдительность решит проверить...

Снаружи было светло и чисто.

Медведев этого не ждал и присел на корточки: ему почудилось, что сейчас он виден отовсюду, что тысячи взглядов скрестились на нем. Где же дым, гарь, пыль? Где следы ада, который он слышал из подземелья?.. Здесь даже воронок не было. Впрочем, одна есть, да и то не воронка, а скорее углубленьице: скала была под самым дерном, взрыв сорвал его, как одеяло, вот, почитай, и вся его работа.

Должно быть, все воронки с лицевой стороны дота. Но щебня и осколков и здесь хватало.

За пазухой постукивали три противотанковых гранаты. Автомат был непривычен: маленький и вроде бы неопасный. Медведев держал его в руках впервые. «Шмайссер». По плакатикам знакомая машинка. Медведев поставил его на боевой взвод и стремительными перебежками двинулся туда, где скребли гусеницами по камням вражеские танки.

Он увидел их внезапно — угловатые, серо-зеленые, они возились в семидесяти метрах, земля вокруг была истерзана, и в действиях танкистов угадывалось скорее упрямство либо тупое подчинение приказу, чем сознательные действия, подогретые верой в успех. Они уже поняли, что здесь им не взобраться, решил Медведев, но, поскольку парень он был исполнительный и выучку имел классную, он облюбовал себе удобную ямку, снарядил гранаты, положил их перед собой и стал ждать.

Сначала он смотрел, как бы подбирался к танкам на верный бросок гранаты, если бы это понадобилось, конечно. Маршрут не складывался, все было на виду. Верная гибель под танковым пулеметом. Тогда Медведев стал смотреть на старицу, с этой стороны подступавшую к самому холму. Когда-то здесь было малое русло, потом река ушла к горам вся, а через бывший перекат проложили дорогу. Каждое половодье старица наполнялась, и ключи в ней были свои, так что уровень здесь был почти постоянный и вода редкая на вкус даже для этих мест, где она такая везде.

Тут за его спиной послышался шорох. Медведев рез-

ко обернулся, уже готовый стрелять из «шмайссера», и увидел Тимофея. Тот сказал «отбой» и втиснулся в ямку рядом с Медведевым.

— Ладно ты здесь устроился, Саня. — Тимофей поскреб бинты под своею диковинной курткой. — Однако ты был прав. Там они не взобрались. А здесь и подавно.

— Так точно, товарищ сержант, — подтвердил Медведев. — Разве что пехотой попытаются. Но наши пулеметы весь склон чистенько, как граблями, подбирают.

— Без мертвых зон?

— Какое! Поначалу были: кое-где скала выпирала, большие камни видимость закрывали. Так их еще позапрошлой осенью в одну ночь рванули.

— А рыбу глушили?

— Зачем? — удивился Медведев. — В старице и на удочку, просто на хлеб прет как сумасшедшая. Спортивного интересу никакого. У нас любители на речку бегали. Там даже форель есть. Во какой толщины.

Он показал пальцами, и оба засмеялись, собрали гранаты и пошли к доту, потому что танки уже отползали на исходные позиции и с минуты на минуту обстрел мог возобновиться.

Медведев испытывал странное чувство. Он видел ясно: в Тимофее что-то изменилось. Прежний «сержантский» — у з н а в ш и й Медведева — взгляд был стерт, но облегчения не наступало, потому что новый был неуловим. И вроде бы Тимофей не отводил глаз, а что в них, прочесть не удавалось.

Причина этого была проста. От Тимофея не укрылось, как непроизвольно сжимается Медведев под его взглядом. Это подтверждало самое первое предположение, что вместо справного парня, лихого пограничника досталась ему тюря. Но выбирать не приходилось, каждый боец был незаменим, с каждым — воевать. К тому же Тимофей был настоящим сержантом-строевиком, воспитывать бойцов входило в его прямые обязанности; тем более сейчас, когда он был и командиром и политруком. Он решил переломить себя, но далось ему это нелегко, а для болезненно-внимательного взгляда Медведева следы этой борьбы были очевидны.

Между тем враг успокоился. Прекратив противоартиллерийский маневр, танки рассредоточились — эта мера предосторожности сейчас уже казалась гитлеровцам достаточной. Выбравшись наружу, экипажи отды-

хали; не без зависти наблюдали, как их товарищи пытаются заработать железные кресты. Дело-то плевое, а без крестов не обойдется: чтобы оправдаться за два подбитых танка, генерал такое напишет про этот холм, на бумаге выйдет целый укрепрайон, почище линии Мажино! Нет, кресты за эту славную победу будут непременно!

И мотопехота перестала психовать. Начала неспешное обратное движение: из ям да ложбинок потянулась к дороге. Шоферня уже ходила между машинами, кто-то копался в моторе, лез в кабину. До головных машин было чуть поболее километра, так что видимость и без стереотрубы — лучше не надо.

Наконец самое любопытное происходило возле двух подбитых танков. Немцы зря времени не теряли. Пока внимание красноармейцев было отвлечено приступом, они успели погасить огонь на одном из танков, занялись вторым, и к ним выбрался на шоссе еще один тяжелый; от него уже заводили трос.

Если расчистят шоссе, так ведь и прорвутся, чего доброго!

— Чапа, а ну-ка вжарь осколочным в просвет промеж трех.

— А у меня броневбойный туды затолканый.

— Бей чем придется!

— Есть!

— Саня!

— Вас понял, товарищ командир! — И Медведев ловко, вроде и не придержавшись ни за что, соскользнул в люк.

Первый взрыв полыхнул из-под подошедшего танка. Дал ли он что-нибудь, сказать трудно: немцы залегли на несколько секунд, потом засуетились снова. Но второй был осколочным и угодил именно туда, куда намечал Тимофей: в центр треугольника между танками. Это была удача. От прямых осколков и рикошета (броневые стены с трех сторон!) спастись было невозможно. Уцелевшие немцы прыснули в стороны. Но ведь кто-нибудь с крепкими нервами мог и остаться, чтобы все-таки сделать дело...

— Чапа, еще один снаряд туда же, а потом — по грузовикам!

Танковые батальоны ударили беглым огнем, их тотчас же поддержали приданные мотопехоте артиллерий-

ские батареи. Их даже не развернули толком; пушки откатили на несколько метров от шоссе — тем и удовлетворились. Возможно, через буераки не было ходу тягачам, а скорее всего они рассчитывали, что вот-вот двинутся дальше.

Этот обстрел был куда интенсивней предыдущего. Вначале еще можно было работать, используя просветы между разрывами, но уже через несколько минут перед амбразурой клокотала непроницаемая для глаза черно-рыжая буря, вспенивая землю и щедро плеща осколками стали и камней.

Тимофей взял бинокль и «шмайссер», сунул в каждый из карманов по рожку с патронами и неловко полез в нижний этаж. Медведев помог ему открыть люк, ведущий в запасной ход.

— Не отходи от телефона, — сказал Тимофей. — Мало ли что.

— Ага, — сказал Медведев. — А что, если я им наверх накидаю снарядов и до вас мотнусь? Вдвоем никак веселее.

— Нет, — сказал Тимофей, переступив через высокий стальной порог люка. Ход железобетонной трубой полого ускользал вниз в темноту. Здесь была прохладная сырость. Пожалуй, сейчас единственное прохладное место во всей долине.

— Нет, — повторил он, отметая на этот раз уже немую просьбу Медведева, и взял у него фонарик. — Ты здесь нужнее. Это знаешь как важно, чтобы у них перебоев не было. — Он мотнул головой в сторону потолка.

— Ага.

— Только телефон слушай. Если долго буду молчать, скажем, минуты две, сам вызывай.

— Не помешаю?

— Нет. А то мало ли что... и ход останется открытый...

— Ага...

Вверху громыхнула пушка. Это уже третий снаряд вслепую, отметил про себя Тимофей. Ему так не хотелось лезть в эту дыру. И риск большой, и демаскировка возможна. Но ведь кому-то надо корректировать Чапину пальбу...

Ход показался ему очень длинным. И выполнен был некачественно: местами швы между железобетонными

кольцами заделали плохо, из щелей, пульсируя в такт канонаде, сыпался песок. Добро, что не вода, а то бы много мы здесь навоевали...

Наружный люк был такой же конструкции, что и остальные: замок, смотровые щели, пригодные для ведения огня. Только этот был помощней: трехслойная сталь миллиметров около ста.

В смотровую щель обзор был неважный: прилегающий клочок земли, на который сыплются комья глины. Тимофей открыл замок, взял автомат на изготовку, стремительно выскочил наружу и сразу присел в простенке между скалой и откинутой крышкой люка.

Никого.

Выше по склону били в небо бурые фонтаны. Туча клубилась, стремительными волнами вдруг скатывалась вниз. Некоторые снаряды рвались в полусотне метров, осколки так и шипели вокруг. Опасность усугублялась еще и тем, что этот выход, замаскированный под скопление валунов, приспособили для обороны с трех сторон; тыл был открыт совершенно. Это было толково: нападающие не могли бы использовать углубление как окоп — сверху он простреливался; а сейчас и Тимофей не мог в нем укрыться.

Но выбирать не приходилось.

На шоссе не было заметно перемен, только в одном месте дымили сразу три грузовика — результат удачного снаряда, когда Чапа еще имел возможность наводить. Выходит, вся пальба вслепую была зряшной; на немцев она не произвела впечатления.

Вот в долине плеснул взрыв. Не совсем бестолково: где-то там лежала мотопехота. Но от шоссе далеко.

Тимофей передал по телефону поправку. Не угадал. Вторая оказалась ближе к истине. И только четвертая обеспечила прямое попадание, зато через несколько минут полыхало уже в трех местах, и немцы опять качнулись откатной волной. Однако не всех еще убедили те снаряды, и находились храбрецы, которые пытались отвести машины, и некоторым это удалось: фургоны и легковушки перебирались через кювет и расползались по целине. Но когда после очередного снаряда в хвосте автоколонны начался фейерверк — угодило в грузовик с боеприпасами, шоферня побросала даже то, что могла спасти, и стало очевидно: колонна обречена.

Без опыта корректировать стрельбу было трудно.

Только глазомер и выручал. Тимофей весь ушел в эту работу и прозевал момент, когда немцы снова пошли на штурм: по фронту наступали два танковых взвода и несколько десятков автоматчиков. Это упущение объяснялось тем, что Тимофей не отрывал от глаз бинокля, он всем своим существом был на шоссе. Но затем где-то вблизи наметилась перемена. Тимофей уловил ее сначала подсознательно, потом даже бинокль опустил. Осмотрелся. Танки уже не стреляли, и одна за другой замолкали батареи. Еще минута — и вокруг стало тихо, только шлепались на землю последние комья земли и осколки.

И только теперь он увидел немцев. До них оставалось метров триста. Автоматчики шли скорым шагом, и танки не спешили — старались держаться купно с ними.

Их появления так близко Тимофей не ждал, но эту неожиданность принял спокойно. Еще три дня назад, в последние минуты перед схваткой он испытывал не только решимость, но и отчаяние: он не боялся умереть, но умирать так не хотелось!.. А сейчас сердце молчало. Никаких эмоций не было в Тимофее. Лишь спокойствие и холодный расчет. Как в тире. Больше нет людей с их страстями, судьбами, талантами и детьми. Есть только задача, которую поставили перед тобой три дня назад. Тогда ты был не в силах ее выполнить, но сейчас она пересекла твой жизненный путь снова, как огненные библейские письмена на стене. «Не пропустить!» — ради этого была вся предыдущая жизнь. Чтобы сегодня в этой уютной долине — не пропустить. Во имя чего он это делал, Тимофей сейчас не задумывался, как не мог знать, что с того момента, когда он, стреляя по фашистам, перестал думать, что убивает людей, он стал настоящим солдатом, а эта война стала его войной: не только ветром его судьбы, но и частью его естества.

Медведев ответил сразу: все патроны в кладовой, возле пулеметов их нет.

— Возьми шесть коробок, по две на каждую машинку. Залогин укажет, кому какая. — Тимофей хотел кончить на этом, но молчание Медведева и сопение Чапы подсказали: от него ждут полной ясности. — Немцы близко. Очень.

— Ага, — Медведев был удовлетворен. В трубке щелкнуло.

— Тю! — сказал Чапа.

— Ты остаешься возле пушки, — сказал ему Тимофей. — Ты слышишь, Чапа? Я иду к тебе... Я сейчас...

Автоматчики были уже близко. Молодые парни в новенькой форме, они шагали легко; склон был пологий, да и засиделись они в кузовах за целый день. Одно худо: в глазах Тимофея они будто расслаивались — двоились и троились — по вертикали и горизонтали. И он уже не мог понять, какие из них реальные, а какие — только отпечаток на сетчатке его глаз...

Тимофей вполз в люк, запер его. Поднялся, тщетно пытаясь удержаться за ускользающие вниз, как в вертящемся барабане, стены. Сделал несколько шагов, волоча за собою «шмайссер»... Свет фонарика метался, сбивал с толку, не давал понять, вверх он идет или вниз... Попытавшись опереться плечом, Тимофей потерял равновесие и сполз на пол. Сесть сразу не удалось. Тимофей решил собраться с силами, но вспомнил, что Чапа ждет, и двинулся вперед на четвереньках. «Шмайссер» мешал — Тимофей его бросил. Потом оказалось, что и фонарик куда-то пропал. А потом послышался скрип — знакомый размеренный скрип новых сапог, он приближался, пока эти сапоги не остановились перед самым лицом. Тимофей поднял голову и увидел давешнего немецкого майора... «Тебя нет, — сказал Тимофей. — Я б тебя и увидеть не смог, потому как фонарик потерял.... Тебя нет, а вот Чапа меня ждет — это да... Я иду, Чапа... я сейчас...» И он прополз сквозь и продолжал ползти, подсказывая себе: теперь левую руку передвинем, а теперь правую... а теперь левое колено... Как только мог, он спешил на помощь своим товарищам, которые там, наверху, давно бьются с фашистами...

Подъемник был забит осколочными снарядами. А если танки все же прорвутся к вершине...

Тимофей вернулся к стеллажам, нашел бронебойный; прижимая снаряд к груди, полез вверх, но сил не хватило, так и застрял в люке. На шум обернулся Чапа. Неторопливо снял наушники, слез с креслица, сначала забрал снаряд, потом зашел со спины и, ловко ухватив командира под мышками, втащил в каземат. Здесь было душно, не продохнуть от дыма и пыли. Впрочем, только что под землей Тимофею казалось, словно он через раскаленную печь ползет. Не стоит обращать внимания.

Стрельбы не было слышно. Только танковые моторы ревели где-то совсем рядом.

— Как, отбили атаку?

— Ще не-а. Хвашисты ще тамечки.

Тимофей попытался свести концы с концами. Не сходилось.

— Чапа, — сказал он наконец, — как давно мы говорили с тобой по телефону?

— А я знаю, товарыш командир? То, может, минута вже збигла. А може, и меньше.

«Ладно...»

15

— Подъемник набит осколочными, — сказал Тимофей, — так я тебе на всякий случай бронебойный приволок. Мало ли что.

— Ото добре, товарыш командир, — дипломатично похвалил Чапа и поднял голову, потому что где-то рядом коротко ударил крупнокалиберный, и сразу в ответ сыпанули автоматы. — То не начало, — уверенно определил он. — То Гера на ихних нервах грает.

— Ну, вроде отдохнул. — Тимофей поднялся. — Чем пушка заряжена?

Чапа замешкался; наконец сказал в сердцах:

— Так броневбойный же отам...

Он и не пытался скрыть досаду. Неловко получилось — ну просто слов нет. Раненый командир тратил последние силы, тащил снаряд, чтобы сделать как лучше, а все зря, все уже учтено и сделано другими... Не задай он своего вопроса, Чапа как-нибудь исхитрился бы и Тимофей остался бы доволен собой, а так...

Тимофей засмеялся.

— Там дурень один у меня под самисеньким носом копырсается, — приободрился Чапа. — То я его и стережу.

Это был средний танк с хорошим мотором, а скорее всего механик-водитель на нем был классный. Танк шел уверенней других, подъем брал легче, и техника вождения здесь была мастерская — сразу видать. Его цепкость и ловкость приводили к поразительному эффекту: моментами танк казался гибким. Он должен был взобраться наверх; во всяком случае, его действия убе-

дили Чапу настолько, что Чапа предпочел не рисковать, оставил на время в покое полуразгромленную автоколонну и сторожил только этого врага.

Остальные танки заметно поотстали.

Сначала они взяли слишком широко, и крайний едва не завяз в болоте; оно лежало справа от холма, почти по всей пойме между рекой и старицей. Танк прошел по краю топкого места, уткнулся в старицу и замер на неширокой песчаном пляже. В метре от него раскачивались потревоженные им кувшинки, словно всплыло на поверхность минное поле, красивенькие такие мины с белыми и желтыми взрывателями. Из башни неспешно выбрался на броню танкист, встал на капоте и, закрывшись от бокового солнца ладонью, разглядывал холм. Второй вылез сначала до пояса, затем отжался руками и сел на край башни. Они о чем-то спорили, это даже издали было ясно. Их поведение не было нахальным, скорее беззаботным. Ведь система огня русских не была известна, почему бы не допустить в таком случае — а рельеф местности подсказывал именно этот вывод, — что танк уже вошел в мертвую зону не только для артиллерийского, но и для стрелкового оружия? Но танкистам не повезло. Во-первых, пляж простреливался, во-вторых, это был сектор Герки Залогина. Он снял обоих совсем короткой очередью (ее-то и прокомментировал Чапа), если учесть расстояние, которое Герку от них отделяло. Выстрелы демаскировали Герку раньше времени. Внезапный удар по автоматчикам стоил бы немцам бо̀льших потерь, но и соблазн был велик: смешно даже сравнивать автоматчиков и танкистов. Герка пошел на это, не колеблясь. Первые же пули сбили обоих танкистов на песок, но одного словно ветром понесло: он катился по пляжу, как бревно, весь вытянутый в струнку, с закинутыми над головой руками, катился, подгоняемый черт те какой силой, может быть, даже ударами тех же пуль; он прокатился так несколько метров, но шестая или седьмая пуля пригвоздила его к песку. Он затих лицом вверх, с закинутыми за голову руками, и больше не шелохнулся.

Третий танкист на это не отреагировал никак. Еще с минуту Герка поглядывал, не выберется ли он, чтобы подобрать убитых товарищей, но немец попался терпеливый. А Герке стало не до него, автоматчики

подобрались близко и так густо лепили из своих машинок по амбразуре, что одна пуля ввинтилась внутрь бронеколпака и рикошетом саданула Герку по башке. На счастье, не оглушила совсем, но все же контузила: он потерял на какое-то время способность говорить, а может быть, ему это только казалось; как бы там ни было, Тимофею он отвечал только «в уме», хотя тот, судя по его голосу в наушниках, готов был разнести телефон вдребезги.

Герка снова вспомнил о танке лишь после того, как отбился от автоматчиков. Танка на месте не было. Герка поискал и увидел его в стороне: танк уже приближался к исходной позиции своего батальона; оба трупа лежали позади башни на капоте.

Пулемет в центральном секторе обороны достался Медведеву. Произошло это случайно: в спешке Герка заскочил не в тот люк, а когда разобрался в ошибке, меняться было поздно.

Был ли Медведев рад, что может наконец принять участие в бою? Трудно сказать. Его затянуло так стремительно — успевай поворачиваться! Единственное, чего он боялся — это отстать от других, и потому излишне суетился и начал тушеваться — на этот раз перед Залогиным. Но едва нырнул в железобетонную трубу и прикрыл за собой люк, едва остался наедине с собою, без командиров и свидетелей, уверенность возвратилась к нему. Правда, только уверенность, но не спокойствие.

Потому что впереди, в каких-нибудь шести метрах, труба была разбита и завалена обломками камней. Поверх завала светлела узкая серповидная отдушина.

Судя по глубине воронки — тяжелый снаряд. Миллиметров сто пятьдесят будет. Но откуда у этой дивизии такой калибр? — удивился Медведев. Ведь даже у тяжелых танков пушки в два раза слабее, и приданная артиллерия у них тоже должна быть легкой. Неужто три или четыре снаряда угодили в одну точку? Ну и дела! А еще говорят: дважды в одну воронку не попадает. Вот и слушай кого после такой картинки...

Неудобнее всего оказалось отгибать изнутри прутья арматуры: лежишь на спине, под лопатками битый камень... Но Медведев только в первый момент отметил про себя: больно! — и больше не думал об этом.

Цинки почти не мешали.

Ему стало жутковато на миг, когда, выглянув из воронки, он увидел совсем близко цепь автоматчиков. Не просто немцев — он насмотрелся на них за последние сутки, — а немцев, которые шли н а н е г о, которые хотели убить именно его, Саню Медведева. Их было так много... А в долине — настоящий муравейник!

Но страх только опалил и прошел. Уже иными глазами оценил Медведев расстояние до автоматчиков, решил: успеваю — и теперь его хладнокровия и обстоятельности хватило даже на осмотр бронеколпака снаружи. Лишь затем он спустился через уцелевший огрызок трубы на свое боевое место.

Под бронеколпаком было душно. Медведев сел в железное креслице и открыл амбразуру. Она была узкая: узкий крест с короткой горизонтальной щелью и длинной — от основания колпака до самого зенита — вертикальной. По левую руку был штурвальчик с рукояткой; если его крутить, весь колпак поворачивался. Медведев проверил. Колпак поворачивался легко, но все же система была слишком сложная. Это когда вокруг тихо и покойно, тогда покручивай ручку в свое удовольствие, посматривай, что делается слева от тебя, что справа. А как бой? Да ведь и бой на бой не приходится. Если окружат да настырно полезут со всех сторон, не глядя на потери, вот уж где помянешь конструктора в Христа, бога и душу, потому как голова кругом пойдет, за что хвататься сначала: крутить штурвальчик или бить из пулемета...

Медведев вставил ленту, пожалел, что нельзя пальнуть разок — проверить затвор, — вытер пот и, услышав справа Геркину очередь, повернул туда бронеколпак, но ничего не понял. Автоматчики были в сотне метров. Еще бы подпустить их малость! — однако выстрелы вспугнули всю цепь, вся цепь залегла спокойно, готовая в любую минуту подняться. Немцы с любопытством поглядывали на фланг, где наперегонки долбили автоматы и в общем что-то должно было происходить, но ничего не происходило, потому что крупнокалиберный не отвечал, и вдруг выяснилось, что он стрелял вообще в другую сторону: в цепи никто не пострадал.

Немцы поднялись и пошли вперед.

Они опередили свои танки. При этом часть из них стала еще осторожнее — ведь последнее прикрытие

оставили позади; другие же, обегая буксующие, сползающие машины, весело скалились, что-то кричали в темные люки водителей. Только один средний танк упрямо полз впереди цепи, и это тревожило Медведева.

Ждать было легко. Медведев еле заметно поворачивал бронеколпак влево-вправо, наконец улучил момент, когда трое автоматчиков сбились в кучу — и ударил по ним. Пулемет работал легко. Медведев точно видел: двоих он убил сразу. Что стало с третьим, он не понял; третий упал за кустом жимолости, и там могло быть всяко. Но двоих он убил наповал, и это раскрепостило, сняло остатки волнения. Он и дальше бил все в том же стиле: короткими, уверенными сериями, и за весь бой не дал ни единой очереди, которая бы превышала четыре-пять выстрелов. Это принесло удовлетворение.

Немцы отступили не сразу. Они попытались ослепить пулеметчиков огнем по амбразурам и просочиться к доту тем более что условия местности это как будто позволяли. Но пулеметы держали их цепко, и тогда автоматчики стали сбиваться влево, уходя из сектора Медведева. Это продолжалось недолго. Бой решился вдруг двумя ударами. Первым был выстрел Чапы. Он ждал все-таки не зря: танк нашел дорогу к вершине. Рискованную и настолько сложную, что тем же танкистам, возможно, ее не удалось бы повторить. Весь путь танк проделал в мертвой зоне, пока не добрался до последнего перегиба. Дальше шел пологий легкий подъем, здесь можно было расстрелять немца просто в лоб — калибр пушки позволял. Но Чапа сделал это чуть раньше. Когда танк, вгрызаясь в грунт, сантиметр за сантиметром выдвигался над последним перегибом холма и готов был каждую секунду перевалиться вперед и занять горизонтальное положение, в этот момент Чапа и врезал ему бронебойным в самое уязвимое место — в брюхо. Танк замер, а потом взрывом его как бы развернуло изнутри, он стал сразу вдвое ниже, просел башней на грунт, гусеницами в стороны — распятый, как жаба на столе у препаратора, — и таким плоским утюгом пополз назад, вниз, ломая кусты, пока не ткнулся в большой валун.

Второй удар нанес Ромка. У него хватило выдержки собрать перед своим пулеметом почти треть автомат-

чиков: считай, всех он там и положил одной длинной очередью. После этого остальные посыпались в долину. За пехотой попятились танки.

Под конец еще раз отличился Чапа. Промоина, из-за которой под шоссе был проложен водосток, при видимой неказистости представляла собою почти идеальный противотанковый ров. Увы, крутые стенки местами обрушились, и немецкие танки, выдвигаясь на исходную для атаки позицию, пользовались одной из этих пологостей. Она была почти на границе мертвой зоны, и Чапе пришлось помозговать, прежде чем он решил, как вернее подступиться к делу. Но время у него было, и когда, наконец, в прицеле появился танк, Чапа всадил ему бронебойный. Танк загорелся не сразу, снаряд попал в ходовую часть. Это был последний бронебойный. Тимофею пришлось спускаться за снарядами, и они потеряли минуты три, только немцев эти минуты не выручили. Залогин уже успел оправиться от контузии и зажал танкистов под брюхом машины. Это у него получилось весьма убедительно, хотя он едва напоминал о себе. Так они там и сидели, пока танк не взорвался от третьего снаряда.

После этого бой как-то свернулся. Солнце уже скрылось, но небо оставалось еще очень светлым, и долина казалась ровной, скорее всего потому, что исчезли тени.

Этот легкий призрачный мир был невелик — его ограничивали горы. Их бесцветная стена чернела ущельями, одно из которых истекало темной массой: воинское соединение, двигавшееся следом за механизированной дивизией, было остановлено разрушенным мостом, и вскоре на том берегу образовалась автомобильная пробка. Наводить по ней было несложно, каждый снаряд шел в цель, в самую гущу, и через четверть часа Чапиной пальбы там был огненный ад.

А потом красноармейцы увидели, что дивизия уходит.

Вряд ли немцы признали свое поражение. Для этого их было слишком много. Им — от генерала и до последнего солдата — и в голову не приходило, что они не смогут взять дот. Смогут! И взяли бы! Но, во-первых, для этого нужно какое-то время, а дивизия и без того уже безнадежно выбилась из графика движения, когда еще его наверстает, ведь, по сути, она лишилась машин и тягачей, а те, что уцелели... им еще предстоит выби-

раться из этой долины все под тем же убийственным огнем. Во-вторых, чтобы взять дот, необходимо небольшое подразделение; держать возле него дивизию бессмысленно и даже глупо. В-третьих, стало очевидно: славу здесь не заработаешь; скорее потеряешь то, что имел.

Дивизия поднялась и возобновила свое движение согласно диспозиции: на восток.

Впереди танки — подразделение за подразделением, прямо по целине, широким крылом огибая холм и уже в тылу его выползая на недосягаемое для Чапиной пушки шоссе.

Когда сдвинулась и пошла пехота, похоже было, поле зашевелилось.

Немцы шли, как саранча, как грызуны во время великих переселений, когда неведомая сила поднимает их и гонит напрямик: через поля, дороги, через улицы городов. Разве можно их остановить или заставить повернуть в сторону? Их можно только уничтожить — всех, до последнего, или дать им пройти, но тогда после них останется мертвая земля...

Артиллерия двигалась вместе с пехотой. Ее медлительность была невольной: местность была сильно пересечена, добрую половину орудий солдаты катили вручную. Только две батареи остались на прежних позициях и вели по доту беглый огонь.

Замыкал движение второй танковый полк. Красноармейцы считали, что до сих пор он совсем не имел потерь. Но, как свидетельствует рапорт командира этого полка (рапорт был помечен следующим днем и обнаружен во время изучения архива спецчасти; весь архив — грузовик с железными ящиками — наши войска захватили в первых числах декабря в районе Можайска), в описанном выше бою погиб экипаж тяжелого танка, а судя по другой его же бумаге, в ремонтный батальон были сданы две машины: одна со специфическими изменениями от долгого пребывания в воде, вторая — с разломами поворотного круга башни, тяжелыми повреждениями ходовой части и мотора. Надо полагать, оба танка пострадали от одного и того же снаряда, разрушившего мост; погибший экипаж просто утонул.

Едва началось это движение, красноармейцы перенесли огонь на пехоту. Только по ней осколочными и

шрапнелью. По пехоте. По живой силе. По немцам, по гитлеровцам, по фашистам, по гадам в человеческом обличье, по убийцам: огонь! огонь!! огонь!!!

Но что могла эта пушка, выпускавшая в полторы-две минуты всего один снаряд? Нанести урон? Да. Но дивизия была столь велика и могуча, что могла пренебречь этим дотом, могла пройти мимо — пусть даже с потерями, и при этом не потерять своего достоинства. И это движение вопреки всему принижало успех красноармейцев, делало его маленьким и незначительным. Оно как бы внушало красноармейцам: что бы ни происходило, как бы ни поворачивалось, чего бы по частностям вы ни добились, в конечном итоге выйдет по-нашему. Так было, так есть и так будет во веки веков, покуда существует германская идея и тысячелетний райх.

Немцы шли под огнем пушки, падали, сраженные осколками, звали санитаров, гибли, но продолжали свое неумолимое движение, подразделение за подразделением обтекали холм и в тылу его выходили на шоссе, которое вело на восток.

Как-то так получалось, что в этом марше под смертью было больше угрозы и демонстрации силы, чем в самой страшной прямой атаке. И чем дольше смотрел Тимофей, тем яснее чувствовал, что необходимо этому что-то противопоставить. Сейчас. Сию минуту. Потому что марш перечеркивал победу красноармейцев. Получалось, что последнее слово в этом бою сказали немцы. Это было так очевидно, что у красноармейцев, еще полчаса назад ликующих триумфаторов, сейчас погасли глаза и опустились руки. Ими пренебрегли. Их унизили этим маршем... Надо было что-то делать. Немедленно. Ради ребят. Но что?

Объяснения тут не помогут. И утешения нет. Истину у тебя на глазах ставят на голову, и это оказывается убедительным, потому что воин не побежден, пока его дух не сломлен. Если поединок, формально завершенный, продолжается в иных формах — незримый — в области духа... тут уж от тебя сегодняшнего зависит немногое. Всей твоей жизни дается слово. И аргументы не ты подбираешь, а твое прошлое, твое счастье, твоя вера, твои идеалы, на которых тебя воспитали. Что Тимофей мог придумать? Только один ответ у него был: для него — естественный, для него — единственный. Разве он

предполагал, что, отстаивая свою правоту, экзаменует свои идеалы, которым настал час стать в его руках оружием?..

— Отставить огонь!

Четыре лица повернулись к Тимофею — четыре маски с воспаленными глазами. Пот замесил пыль и копоть, затвердел коростой.

— Знамя! — сказал Тимофей.

— Тима, да ты просто прелесть! — Ромка улыбнулся на пол-лица, маска сразу полопалась. — Умница!

— Это вещь, — согласился Чапа. — Вчасная штучка.

— Колоссальный фитиль им в задницу! — Герка повернулся к Медведеву. — Где оно? Тащи сюда живо.

— Знамя здесь не положено... — Медведев чувствовал себя едва ли не виновником этого. — В отряде знамя.

— Есть идея! — Ромка кинулся к люку, соскользнул в нижний этаж. Столик под портретом Сталина был застлан кумачовым ситчиком. Ромка сдернул скатерку — и наверх.

— Правда, темноват матерьяльчик, — заметил он, вернувшись.

— Разберутся.

Медведев быстро и ловко сплел из нескольких прутьев арматуры флагшток. Ставить знамя пошел вдвоем с Ромкой (мало ли что — снаряды рвутся рядом). Флагшток воткнули в отверстие для перископа. Ромка даже застонал:

— Эх, фотокора бы сюда! Какой кадр пропадает, товарищ Страшных, какой кадр!..

Немцы признали флаг сразу. Обе батареи устроили салют — напeрегонки застучали осколочными. Потом остановились проходившие мимо пушки, развернулись: ах! ах! ах! Потом и до тех докатилась волна, что уже обогнули холм и на шоссе вышли. Им-то флаг был виден на фоне заката — лучше не придумаешь. Повернулись — и ураган стали затопил холм. Уже и пехота перестраивалась, растекалась в цепи...

— А-а-а-а!.. — бессловесный рев взметнулся над долиной.

С двух сторон сразу — сотни — наперегонки. Какой там строй! Какой к черту порядок! Сломались цепи: сотни ревущих, ненавидящих, с пеной у рта — вперед! вперед! вперед!..

— К пулеметам, — скомандовал Тимофей.

Закрыл наглухо амбразуру, взял автомат, в каждый карман по два рожка патронов, полдюжины «лимонок». Чапа уже поджидал. В последний момент, правда, вернулся — шинельку прихватил; жалко с такой шинелькой расставаться даже напоследок.

И выбрались из люка наружу.

Бой иссяк так же быстро, как и вспыхнул. Но теперь это была окончательная победа. Оспорить ее теперь было невозможно. А потом с реки, со старицы и от болотца стал подниматься туман. Он как-то сразу сгустился над долиной, только вершина холма, увенчанная флагом, плыла, как остров, да сквозь серую муть блестели прямой ниткой бесчисленные костры — догорали машины.

Потом упала короткая ночь. Красноармейцы чередовались в карауле, но спать не мог никто. Ждали нападения. Его не случилось, а с рассветом снова поднялся туман — очень легкий: такая красивенькая голубоватая дымка. А когда она рассеялась, открылась долина — пустая, даже сгоревших танков след простыл, кроме одного, подбитого возле вершины. Потом красноармейцы разглядели тонкую линию окопов. Их только начали, и сейчас по всему периметру темнели солдатские спины.

А ровно в четыре утра откуда-то сбоку появились три «фокке-вульфа», сделали высоко в небе спокойный круг — и красноармейцы впервые в жизни услышали, как воют авиабомбы, когда они летят точно в тебя.

• 16

1027-й стрелковый батальон был поднят ночью по боевой тревоге. Случилось это еще до полуночи, подразделения собирались быстро и легко: они уже вторые сутки стояли в большом карпатском селе, растянувшемся вдоль дороги, и успели отоспаться. Корпус находился во втором эшелоне, о противнике знали только по слухам. Солдаты отдыхали впрок.

Батальон был необстрелянный, из новобранцев. Никто из них не придал значения, что взводы посадили на специально пригнанные грузовики (свои имелись только у технических служб) и повезли в тыл. Ветеранам оба эти факта в сочетании с боевой тревогой пришлись бы не по вкусу. Бывалый солдат знает: если что-то происхо-

дит неестественно, не «так, как надо», как подсказывает здравый смысл, так сказать, вопреки натуре, то добра не жди, и в конечном итоге придется платить именно ему, простому солдату. Но ветераны в батальоне были наперечет.

Командовал батальоном майор Иоахим Ортнер.

Узнав от командира полка боевую задачу: ликвидировать возникший в тылу очаг сопротивления красных — тяжелый артиллерийский дот, — Ортнер не ответил положенное «Так точно» или «Слушаюсь», поскольку все его мысли были заняты одним: как отвертеться. Впрочем, оснований у него было предостаточно. Во-первых, часть была необстрелянная; во всяком случае, ей не мешало бы начать с более верного дела; а так, не дай бог, случись осечка — и комплекс неполноценности целому подразделению обеспечен надолго. Во-вторых, батальон не имел ни специального оборудования, ни вооружения, которое отвечало бы задаче. Следовательно, в-третьих, здесь требовались саперы. И в-четвертых, Иоахим Ортнер еще не знал своих людей, не успел их узнать: он прибыл в батальон лишь несколько часов назад взамен бывшего комбата гауптмана Питча. Питчу было бы куда проще; он формировал батальон, расставлял людей и уже в какой-то степени ориентировался среди них. Но когда вчера утром он возвращался из штаба дивизии, его новенький «БМВ» зацепило на повороте дороги прицепом огромного встречного «мерседеса». «БМВ», смяв колеса, перекинулся в кювет. Убит был только шофер, адъютант отделался ушибами. У Питча тоже ничего не было сломано, однако лицо изранили осколки стекла, и будет ли он видеть, врачи пока ответить не могли.

Назначение майора Ортнера в необстрелянную часть, и то, что он сразу получил нелегкое задание, не было следствием случая, но обычной ошибкой, в основе которой лежал страх перед сильными мира сего и заурядненшее служебное рвение.

Как уже было сказано, во главе корпуса стоял дядя Иоахима Ортнера. Увы, дядя был по материнской линии, значит, носил совсем другую фамилию. Но этот минус был единственным, в остальном дядя заслуживал одних похвал: он любил сестру, любил племянника, всегда о нем помнил и регулярно — лично, а не через своих адъютантов, заинтересованно, а не в порядке лю-

безности — следил за его успехами сначала в закрытой военной школе, попасть в которую стоило огромных трудов, поскольку там учились сыновья генералитета и высших наци, а затем в академии. В промежутке между учебой в обоих заведениях Иоахим Ортнер неплохо провел два года в Испании, и поначалу дядя считал, что этого вполне достаточно. Но затем один за другим совершилось несколько блистательных аншлюсов, из-за учебы Иоахим Ортнер не смог принять в них участия, и это было серьезным просчетом дяди, потому что бывшие однокашники Ортнера уже ходили в немалых чинах, их груди были увешаны орденами, а испанский опыт теперь котировался невысоко. Военная наука далеко ушла за это время от тех робких экспериментов, тем более военная практика.

Надо было спешить. Требовались радикальные меры.

Дядя имел серьезный разговор с племянником и остался доволен. Иоахим Ортнер не считал потраченное на учебу время потерянным, что говорило о его уме; мальчик смотрел далеко, детали переднего плана не мешали ему видеть перспективу. Он был честолюбив, смел и энергичен. Наконец, уже шесть лет находясь в рядах национал-социалистской партии, хорошо зарекомендовав себя в ней, он не зарывался, помнил, что он военный, проявлял преданность и усердие, но не фанатизм.

— Ты будешь делать карьеру в моем штабе, — сказал дядя. — Но биография «правильного» миллионера начинается от маленького ящика чистильщика сапог. Это значит — сначала тебе следует заработать два-три ордена в настоящих боях. Чтобы иметь репутацию боевого офицера. Чтобы застраховать себя на будущее от упреков парвеню, что ты, мол, тепличный цветок, штабная крыса. Не беспокойся, Иоахим, я прослежу, чтобы стажировка прошла гладко.

Печальное приключение гауптмана Питча пришлось кстати. Узнав о нем, дядя связался с командиром дивизии и поинтересовался, каков был у Питча батальон. Батальон превосходный, ответил комдив, не без оснований полагая, что при ином ответе с него первого взыщут за нерадивость.

— Что ж, тем лучше, — ответствовал дядя-генерал. — У меня на это место есть кандидат. Он сейчас же к вам выезжает. Майор Ортнер. Храбрый, опытный

и грамотный офицер. Вы им будете довольны. Между прочим, сын моей сестры...

Комдив принял Иоахима Ортнера очень мило, предложил хорошее место в штабе, и когда майор тактично, однако настойчиво подтвердил свое желание попасть в действующую часть, высказал искреннее сожаление по этому поводу. Планы дяди Ортнера были для него не до конца ясны, зато он отдавал себе отчет, что на батальон Питча не может положиться вполне.

Что было сказано командиру полка — неизвестно. Он не понравился Иоахиму Ортнеру сразу. И не потому совсем, что принял майора сдержанно; они солдаты, соревноваться в любезностях им не к лицу. Но полковник был плебей, Иоахим Ортнер понял это с первого взгляда и, видимо, чем-то неосторожно выдал себя, потому что тотчас по глазам полковника прочел: тот догадался, что майор Ортнер сразу и точно определил его социальные координаты, и уже за это одно возненавидел Иоахима Ортнера так, как могут ненавидеть только плебеи: за происхождение, за положение, за умение держаться — просто за то, что ты не такой, как он, не плебей. За то, что он не может, не имеет права сейчас, сию минуту, немедленно, вот здесь же уничтожить тебя, втоптать в грязь, унизить — что угодно, только бы доказать свое плебейское превосходство...

Полковник был типичный прибалт: высокий, широкий в кости, с резкими, будто их сработали одним взмахом топора, чертами лица; глубоко посаженные серые глаза, пепельная, аккуратно подстриженная щетина волос; кисть большая и сильная, с длинными выразительными пальцами. Викинг с картинки! Что бы такую внешность человеку комильфо! Нет, плебею досталось. Плебейство не таилось в нем, оно выпирало в каждой мелочи: как полковник хрустел пальцами, как бездарно был пошит его тщательно выутюженный мундир, как он почесывал кончик носа мундштуком. И сам мундштук, набранный из разноцветных кружочков прозрачного плексигласа, этот мундштук, даже не будь всего остального, один выдал бы полковника с головой; он сразу бросался в глаза, был вроде предуведомления: «Я плебей!..» Это был настолько крикливый мундштук, что Иоахим Ортнер непроизвольно поморщился. Ну, плебей, подумал он, ну и что? Мой бог, нашел чем хвастать!

Невысказанная пикировка проявилась лишь в том,

что Иоахиму Ортнеру даже чашки кофе не предложили с дороги. Про батальон полковник сказал, что это типичная молодая часть — не лучше и не хуже ей подобных. (Ортнер тут же вспомнил поговорку фельдфебеля, который вбивал в курсантов военной школы премудрости шагистики. «Я алхимик! — говорил фельдфебель, — из зеленого дерьма я умудряюсь выковать стальные штыки!»)

Батальон был расквартирован в этом же селе. Но Иоахим Ортнер даже толком познакомиться со своими офицерами не успел. Полковник вызвал его к себе, приказал немедленно выступить с батальоном и к 9.00 взять красный дот.

Почему именно к девяти, было неясно. Как следовало из приказа, в 4.00 оборонительные сооружения красных подвергнет обработке авиация, о чем уже было согласовано в соответствующих инстанциях. Хорошо, рассуждал Ортнер, в четыре потрудится авиация, затем на красных бросятся мои овечки. Где логика? Целая механизированная дивизия зубы обломала, тогда они посылают батальон... И дают запас пять часов, хотя для того, чтобы взбежать на холм, и пяти минут хватит. Значит, они все-таки допускают, что дот мы возьмем не сразу, атаку придется повторить, и на этот случай придают мне батарею гауптмана В. Клюге — четыре 75-мм пушки? Сотни танков, десятки орудий ничего не добились, а эти четыре пушчонки проложат нам дорогу, чтобы не позже 9.00 я доложил о победе?..

— Могу я узнать, оберст, кто это гауптман Клюге? — спросил Иоахим Ортнер, чтобы выгадать время на раздумье.

Приказ застал его врасплох. Конечно же, он и виду не подал, внешне был деловит и сдержан, но в мозгу вертелась карусель, он пытался понять все подводные течения и принять решение единственно правильное. От предельной сосредоточенности заломило в висках, и Ортнер уже не видел ничего вокруг, кроме кончика плебейского носа господина оберста. Во всем мире остался лишь кончик носа, который господин оберст в раздумье почесывал своим плебейским наборным мундштуком.

— Гауптман Вилли Клюге — лучший артиллерийский офицер в приданном полку дивизионе...

Голос уплывает в сторону, скользит мимо сознания. Майор Иоахим Ортнер смотрит, как шевелятся жесткие

губы господина оберста. Пока шевелятся губы, можно взвесить все про и контра... Конечно же, риск велик. Но с другой стороны, чем труднее победа, тем выше честь. Имею ли я право рисковать? Да, имею, но в небольших пределах. Я не рвусь в герои — мне важен послужной список. Понимает ли это полковник? А вдруг ему не успели сообщить о дяде? Случая не было — и генерал не сказал... Или же знает и злорадствует, ведь у него есть оправдание — мол, хотел как лучше, считал, что дело верное, прекрасная возможность отличиться... Ах, как все запутано, как мало шансов... Но я ведь не трус! Я только не хочу рисковать напрасно. Не хочу одним разом потерять все только потому, что полковника вовремя не предупредили. А если предупредили?..

Он всматривался в невозмутимое лицо командира полка, но не прочел ничего — ни утешительного, ни настораживающего. Так в смятении чувств он и покинул штаб. Его «опель» возглавил колонну. Грузовики трогались тяжело и шумно. Оглядываясь назад, Ортнер видел в полном свете фар их расплывающиеся массы, от них передавалась уверенность, которая была ему так нужна сейчас на этом совершенно пустынном шоссе.

Начальник штаба механизированной дивизии — полковник с воспаленными глазами, с гордой посадкой седой головы, с отчетливым прусским выговором и прусской же фамилией (перед нею стояло «фон» — вот и все, что запомнилось Иоахиму Ортнеру; фамилия этого полковника сразу не осела в памяти, а потом оказалось, что Ортнер ее забыл) — поджидал его на краю шоссе в своем «опель-капитане». До злосчастного холма оставалось три километра. Полковник предложил Иоахиму перебраться к нему в «опель» и там при ярком свете потолочного плафона объяснил обстановку сначала по карте, затем взял лист великолепной слоновой бумаги и мягким пастельным карандашом уверенно начертил схему: вот это холм, здесь река, шоссе, старица, болото; здесь пулеметные бронеколпаки; возьмите, господин майор, вам на первое время пригодится... Он объяснил, как действовала дивизия, и по тому, какие при этом упоминал детали, — другой на его месте наверняка бы опустил их из-за ложного понимания чести, — было ясно, что он всей душою хочет быть полезным своему молодому товарищу по оружию. Майору Иоахиму Ортнеру было хорошо с ним. Они были одного круга люди:

Он видел, что и полковник это сразу понял, и рад этому. Они узнали друг друга, признали друг в друге себе подобных, и от того, что и другой тебя признал, получали какое-то особое удовольствие.

Беседа заняла у них минут десять. Напоследок Иоахим Ортнер едва удержался, чтобы не спросить, как полковник порекомендует ему действовать. Но что тот мог посоветовать? Если б он знал радикальное средство, дот уже был бы взят.

Но полковник понял, о чем думает Ортнер.

— Мне жаль, что я вас оставляю в столь сложном положении, и даже советом не могу помочь, — сказал он. — Но вас я не жалею, и вы не жалейте себя. Не вы, так кто-нибудь другой. Мы солдаты и обязаны исполнить свой долг до конца... Но не делайте это за чужой счет. Боже мой, этот дот будет взят, конечно же, иначе быть не может, но сколько немецких жизней он уже унес и сколько еще унесет!.. Помните это, господин майор. Прощайте!

Следует отдать должное майору Ортнеру. Едва он остался визави с противником, страх покинул его сердце. Это не было результатом какой-либо природной реакции, скажем, отчаяния, когда организм в целях самосохранения «выключает» работающую на пределе психику. Напротив, сейчас это состояние зависело только от его воли. И когда он приказал себе успокоиться и быть уверенным, причем уверенным не только для других, но и для себя тоже, то есть уверенным на самом деле, потому что и от этого зависел успех, он именно таким и стал.

Он понимал: ему предстояло жестокое испытание. И уму его, и знаниям, но прежде всего силам его души. Майор Ортнер к этому испытанию был готов. В конце концов это была его работа, которой он посвятил жизнь, которую изучал всю жизнь.

Когда он подъехал в своем «опеле» к стоящим на обочине грузовикам, по напряжению, которое едва наметилось в работе мотора, он понял, что дорога пошла вверх. Значит, это и есть увал; холм будет сразу за ним, вспомнил майор Ортнер, и недавно пережитый здесь ужас захолодил под сердцем. Но майор не дал ему ходу. Он велел собрать офицеров, объявил задачу и точно показал по карте, где какой роте надлежит стоять. «Остальное на ваше усмотрение, господа. В детали я не

вмешиваюсь». Гауптман Клюге получил еще больше свободы. «Где ставить пушки — решайте сами, господин гауптман. Единственное пожелание: хорошо бы подготовить такую позицию, чтобы батарея могла обстреливать огневые точки русских прямой наводкой». — «Яволь, господин майор». — «Позвольте пожелать вам доброй ночи, господа».

И он действительно отправился спать в свою походную палатку, которую успели разбить в кустарнике Харти и Петер, на резиновом матраце, предупредительно надутом не очень туго. И спал три часа. Без четверти четыре он сам проснулся, как по будильнику (своим тренированным чувством времени майор Иоахим Ортнер не щеголял, но гордился), кипяток для бритья уже шумел на спиртовке; и когда точно в четыре в небе появились обещанные «фокке-вульфы», майор уже был гладко выбрит и допивал свой утренний кофе.

О предстоящем бое он старался не думать. Это было непросто, но совершенно необходимо: нервы еще пригодятся. Что же касается деловой части, то командир роты, которой надлежало первой идти в атаку, узнал об этом еще три часа назад от самого майора, так что обязан был соответственно подготовить людей; к тому же помощник командира батальона (он сразу сел воплощать диспозицию в форме детального приказа) не даст ему спуску, если что пойдет не по писаному.

Поэтому все пятнадцать минут Иоахим Ортнер предавался несколько абстрактным размышлениям, в центре которых был гауптман Вилли Клюге. Тема подвернулась случайно. Вокруг палатки хватало шумов: тягачи ворчали, слышался металлический стук, голоса солдат. Это не мешало спать, но даже сквозь сон Ортнер различал голос гауптмана; он же назойливо зудел где-то рядом, за кустами, и после пробуждения.

Иоахим Ортнер не вникал в смысл слов. Клюге был ему скучен. Он не понравился майору сразу, с первого взгляда, когда майор увидел его — маленького, рыжего, конопатого, с самоуверенной ухмылкой человека, считающего, что знает себе цену и поэтому может держаться с тобой запанибрата. «Опель» Ортнера съехал на обочину совсем, майор не стал выходить из кабины, и, чтобы поговорить с ним, Клюге пришлось сойти в кювет.

Он стоял возле открытой дверцы, разница в уровнях

была не так уж и велика, но то ли лампочка в кабине была тусклой, то ли рамка двери как-то по-особенному стягивала перспективу, только создавалось впечатление, что Клюге совсем маленький человечек и стоит далеко-далеко внизу. Возможно, это отпечаталось на лице Иоахима Ортнера, а может, снизу все виделось гауптману чрезмерно крупным, и это его нервировало, во всяком случае, он попытался задрать ногу и встать на приступку «опеля», однако это не получилось ни с первой, ни со второй попытки, и майор даже заподозрил, что Клюге немножко пьян, так что когда тот весь напрягся и, неестественно улыбаясь, готов был вот-вот предпринять третью попытку, Иоахим Ортнер не выдержал и сострил:

— Будьте выше этого, гауптман.

Но тот не принял шутки: не понял, а скорее всего не захотел понимать. Его лицо потемнело от прилившей крови, а когда она схлынула, по выражению его глаз майор понял, что заработал еще одного непримиримого врага.

Гауптман перестал задирать ногу и нервно поглядывал по сторонам, давая понять, что беседа ему надоела и майор ему скучен, а сам он, Вилли Клюге, крупнокалиберный идиот: какого черта он гнал своих людей, гнал машины сквозь ночь? Чтобы вместо благодарности услышать от этого недоноска с неестественно правильным прусским выговором шуточки в свой адрес?

Иоахим Ортнер отпустил гауптмана с легкой душой. Пусть злится, думал он. Мне он не помешает, не навредит. Слишком мал. А в бою... Кто спорит, может статься так, что от действий Клюге в бою будет зависеть многое. Но в бою ему придется защищать свою жизнь... и честь, если она у таких, как Клюге, имеется. Спаси господь его душу, если он попытается хитрить со мной.

И вот сейчас майор думал об этом снова. Ну и полк, думал он. Их что, нарочно подбирали? Скопище плебеев. Да ведь если пробудешь среди них достаточно долго, глядишь, и сам станешь на них походить. Притворство даром не проходит. Впрочем, разве я притворялся? Нет. Ни с полковником, ни с гауптманом. Притворство было бы напрасным. Я не актер, а они оказались на удивление проницательными. Что нас объединило? Дело? Нет. Скорее судьба. Прекрасно. Будем деловиты и официально любезны. На минуту наши дороги

пересеклись, даст бог, разбегутся в бесконечность! Прекрасно!

— Господин майор! — Адъютант вырос перед ним, неловко закрыв своей длинной фигурой и холм и даже «фокке-вульфы» над ним. — Позвольте проводить вас на командный пункт.

— Прекрасно. Как первая рота?

— На исходном рубеже, господин майор.

— Прекрасно. — Иоахим Ортнер пригубил кофе. За весь разговор он не улыбнулся ни разу. Ни к чему. — Передайте: пусть начинают.

17

Первая атака получилась самой удачной. Если б она еще достигла цели!..

Рота развернулась в цепь и пошла к холму почти одновременно с тем, как упали первые бомбы. Насчет калибра бомб уговора не было, но майор надеялся, что летчики знают о характере цели и воспользуются по меньшей мере стокилограммовыми. Это было немаловажно и с точки зрения психологии. Взрыв стокилограммовой бомбы — достаточно эффектное зрелище; оно бодрит солдат, придает им уверенность. Майор помнил еще по Испании: когда идешь в атаку на окопы, которые у тебя на глазах обрабатывают тяжелыми бомбами, всякий раз думаешь, что уж теперь-то дело предстоит плевое: дойти и занять опустошенные смертью позиции. Увы, в его практике такого не бывало ни разу. Но очередной раз убеждаешься в этом лишь за полторы-две сотни метров до изуродованных и засыпанных землей окопов противника.

«Фокке-вульфы» не торопились. Они медленно кружили высоко в небе, а холм под ними зарастал взрывами. Бомбы ложились на вершину почти непрерывно. Похоже, ни одна не упала в стороне, удовлетворенно отметил Ортнер. Это была не только добросовестная, но и классная работа.

А потом произошло уже известное по рассказу начальника штаба механизированной дивизии. Когда рота достигла середины склона, по ней ударили два крупнокалиберных пулемета; правда, один не из бронеколпака, как ожидалось, а во фланг — из-под раскуроченного

танка. Этот сюрприз немного стоит, подумал Ортнер, наблюдая за боем в бинокль. Уязвимая позиция. Клюге выковырнет их из-под танка четырьмя-пятью снарядами. Если только он действительно так хорош, как обещал оберст.

Рота майору понравилась. Как ни зелены были эти солдаты, а не сдались сразу. Они лезли и лезли. Их хватило еще на полста метров, но потом пошло совершенно голое пространство. Лейтенант попытался поднять их, переползал от одного к другому, теребил и полз дальше, наконец, осмелел настолько, что даже приподнялся — и тут в него впились оба пулемета. В первое же мгновение лейтенанту оторвало правую руку, он завертелся на месте, как юла, подхлестываемая кнутиком. Что с ним дальше было, Ортнер смотреть не стал. Это зрелище может быть поучительным, если видишь его впервые, но майору случалось наблюдать штуки и почище. Он опустил бинокль и вздохнул.

Хотя именно с этим лейтенантом, обсуждая план атаки, он разговаривал дольше других, а значит, успел его в какой-то мере узнать, смерть его не задела Иоахима Ортнера. Но для майора Ортнера это была потеря. Атака захлебнулась, в следующую атаку роту придется кому-то вести, а у него офицеров не так уж много...

Провал атаки майор Ортнер воспринял со спокойствием, удивившим его самого. Случилось то, чего он ждал: он знал, что именно так и будет. Он знал это с той самой минуты, когда, едва проснувшись, сегодня в первый раз увидел холм. Все атаки ни к чему, думал он. Все они бред и несусветная глупость. Но их придется повторять снова и снова, пока что-нибудь не произойдет, или пока его не осенит гений и он найдет какое-то особенное решение.

Он чуть было не приказал дать ракету об отходе, но увидел, как бежит рота, и передумал. Бегство происходило в тишине: едва стало ясно, что атаке конец, как пулеметы замолчали. Это было необычно. Все-таки крупнокалиберный при удачном попадании и за километр убивает наповал. Но тут же майор догадался, что противник бережет патроны. Это можно понять.

Он думал о второй атаке, когда со стороны холма послышалась редкая автоматно-пулеметная стрельба. Сердце Ортнера дрогнуло, он резко обернулся. И без бинокля было видно, что на куполе дота красноармеец

укрепляет сорванный бомбой флаг. Очевидно, какой-нибудь раненый автоматчик попытался его обстрелять. Пулеметы ответили сразу. А красный неторопливо закончил свое дело и ушел в дот.

Перевалив через шоссе, рота перестала бежать. Солдаты поняли, что опасность им не угрожает, шли группами, потные, возбужденные, обсуждали атаку. Ортнер приказал отвести их в овражек. Он знал, что сейчас пошлет их на дот снова, именно их. Пусть опомнятся, отдышатся, перевяжут раны, а он тем временем продумает партитуру новой атаки. Просто повторить атаку, не разнообразя средства и приемы, ему было противно. Это унизило бы его в собственных глазах. Война — это поединок интеллектов; потом уже включались такие факторы, как воля, случай, характер нации... Кстати, что он знал о русских? По сути, ничего конкретного. Их литературы он не читал, личных контактов с русскими себе не позволял, а россказням о них не верил в силу аналитического склада ума.

Майор выбрался из КП и прошел между кустами, поглядывая на холм. Идей не было. Он неторопливо зашагал вдоль траншеи. Солдаты уже разделись до пояса — работа грела. Завидев командира, вытягивались и смотрели пытливо, с надеждой. Он это отмечал, но его это не трогало. Он глядел мимо и сквозь них, поскольку всегда был убежден, что офицер для рядовых должен быть существом высшим; наравне с богом, только безусловней: бога можно игнорировать, а офицера — никогда; ведь одно его слово может опрокинуть твою судьбу.

Траншея вывела его к овражку, где отдыхала рота, возвратившаяся после атаки. Командир второго взвода — и по внешнему виду, и по выговору силезец — подал команду, и рота поднялась. Хорошо поднялась. Слава богу, подумал Иоахим Ортнер, эти молокососы не совсем барахло, если после такой паршивой атаки красные не смогли раскрутить в них гайки.

Силезец остался единственным офицером в роте. Майор отвел его в сторону и попытался вытянуть хоть что-нибудь. Силезец производил впечатление человека недалекого, а когда он сообразил, что ему сейчас придется вести роту в повторную атаку, с ним вообще стало невозможно разговаривать. Он открывал рот — и молчал, опять открывал — и опять молчал, а под конец

едва не разревелся. Ему и двадцати нет, только из училища, что с него возьмешь, с досадой подумал майор и сказал сквозь зубы:

— Возьмите себя в руки. Вы же офицер!

И пошел к солдатам.

Это было нелегко для Иоахима Ортнера: взять с ними простецкий тон. Но он решил, что именно сейчас и именно с этими можно. Он постарался вспомнить, как это делают другие, и говорил им: ну, парни, пошевелите мозгами, черт побери; вы наступали здорово, я видел, мужества вам не занимать; один из вас заработает сегодня Железный крест — тот, кто сумеет захватить или взорвать дот, это совсем неплохо на пятый день войны, не так ли?..

Воодушевить солдат он смог не столько словами, сколько артистизмом и волей, однако из их реплик не уловил искомой мысли. Все в один голос говорили, что дот по зубам лишь авиации, хотя, расспросив их подробнее, майор понял, что самого дота вблизи никто не видел: едва ударили пулеметы, как дот перестал для них существовать.

— Они правы, — сказал силезец. Одолев первый приступ отчаяния, он вдруг сделал приятное открытие: а ведь он уже ротный! Он жив, и почему б ему и дальше не уцелеть? Вполне возможно! И уж мимо него Железный крест не пройдет. И роту у него не заберут. Конечно, не заберут, если он возьмет этот проклятый дот! А я возьму его, будь я проклят! кричали глаза силезца. Клянусь, что возьму! Я это чувствую, знаю, и эти русские ничего со мной не смогут сделать — пусть они установят там хоть десять пулеметов, хоть сто. Раз мне судьба взорвать их — я их взорву, и тогда все будет моим: ордена! звания! деньги! женщины! карьера!..

Его колотила нервная дрожь, и он придержал рукой свой подбородок, потому что подбородок плясал, и клацали зубы — слова невозможно произнести. Он содрогался от нетерпения. Он готов был хоть сейчас, сию минуту выхватить свой «вальтер» и с криком «а-а-а-а!..» побежать, броситься на этот холм, врезаться в него напрямик, напролом, разрыть, разметать — не глядя — всех подряд... всех подряд...

— Пока... не подавим пулеметы... — с трудом говорил силезец, словно в раздумье придерживая челюсть, — нам туда... нечего соваться, господин майор. — При этом

майор чуть повернулся, по мере сил прикрывая его от взоров солдат. — Пока не подавим пулеметы... Эти пулеметы... прямо как дьяволы, господин майор... Вы же понимаете... когда перекрестный огонь — от него не спрячешься...

— Очень жаль, — сказал Иоахим Ортнер. — Очень жаль, что вы не знаете, как подступиться к ним. — Он поглядел на часы. — Атаку начнете ровно в шесть.

— Слушаюсь... господин майор.

— Взрывчатку, конечно, всю побросали там?

— ...Так точно, господин майор.

— Назначьте новые пять групп. По три человека. Да, по три — это как раз достаточно. Пусть они прежде всего имеют в виду взрывчатку. Иначе ваш пыл будет бессмысленным.

— Так точно... господин майор...

— Батарея будет бить по пулеметам. Это все, чем могу помочь. Кстати, почему б вам не пропустить стаканчик? Утро свежее.

— Слушаюсь, господин майор... Разрешите... и моим парням?

— Конечно. Все, что положено роте — полному составу, естественно, — выдайте сразу.

И пошел к себе на КП.

Без десяти пять. До атаки семьдесят минут. Иоахим Ортнер собирался употребить их с толком. Он хотел понять, с кем имеет дело. Вызвал фельдшера, и когда лейтенант примчался (к счастью для него, он не носил очков, чем подкупил майора; майор терпеть не мог очкариков, тем более в армии), приказал ему выслать две пары санитаров с носилками, дав каждой паре по флажку с красным крестом.

— Помилуйте, господин майор, да их просто перестреляют! — изумился фельдшер.

— Может быть, — меланхолически кивнул Иоахим Ортнер, — а может быть, и нет.

— Но ведь это... Это уже четверть века никто не соблюдает! Еще с прошлой войны. Да и флажков таких у нас нету.

— Сделайте. И чтобы через пять минут, — майор поглядел на часы, — я видел, как санитары бегут к холму. Слышите? Только бегом. У нас мало времени. Там умирают их товарищи!..

— Слушаюсь, господин майор.

— В утешение им скажите: при первом же выстреле в их сторону приказ теряет силу.

Эксперимент дал отвратительные результаты: русские по санитарам не стреляли. И если в первой экспедиции санитары подобрали кого попало и тут же припустили назад, то во второй они уже выбирали именно тех, кому помощь нужна прежде всего, а перед третьей парой перевязали вообще всех раненых на склоне, причем осмелели настолько, что осмотрели и тех, кто добежал почти до самых пулеметов, но среди них живых не было ни одного.

Дело плохо, думал Иоахим Ортнер. Выходит, это идеалисты. А идеалиста победить невозможно. Его можно только убить.

Он предпочел бы даже фанатиков. Фанатизм слеп — и его несложно одурачить; он предельно напряжен — значит, найди критическую точку, и он сломается от легкого удара. Но фанатики расстреляли бы санитаров, не задумываясь...

Вторая атака вышла нескладной. Майор немного от нее ожидал, хотел выиграть время. Ну, время он выиграл, пусть даже за непомерную цену. А как им распорядиться? Делать что?

Рота поднялась и пошла к холму в полной тишине. Цепь была редкая и не производила впечатления силы. Но что-то все же таилось в этом зрелище. Даже с гауптмана Клюге соскочила показная бравада. Он то и дело одергивал китель, пытался острить с другими офицерами, но получалось нелепо, и он тут же говорил «извините». Майор поймал на себе несколько его быстрых взглядов, которых сразу не понял; причина их выяснилась в самый последний момент, когда гауптман, переборов возникшую накануне антипатию, спросил:

— Майор, если не секрет, из каких вы мест?

Все дело было в тоне. Он как бы говорил: сейчас начнется бой, и, возможно, кто-нибудь из нас его не переживет; так почему бы в такую минуту не забыть мелочные счеты? Ведь как приятно, когда рядом человек если и не близкий, то хотя бы открытый и понятный...

В глазах майора Ортнера это было признаком слабости, непростительной для офицера.

Он даже бинокль не опустил. Сказал отрывисто:

— Вам пора, гауптман.

Тягачи заревели и поволокли пушки из ложбины.

И тут выяснилось, что гауптман дал маху: выезд из ложбины оказался единственным. Батарея выдвинулась на позицию не вся сразу, а поочередно, орудие за орудием. Счастье, что ни один из тягачей не забуксовал на рыхлом склоне, тогда бы вообще ничего не получилось. Да и красные прозевали начало маневра. Уже вытягивали последнюю пушку, когда поблизости разорвался первый осколочный.

Красные не спешили. Да и наводчик у них был никудышный. Только после четвертого выстрела был ранен один из комендоров. За это же время батарея успела осыпать снарядами и танк и бронеколпаки. Но пятый осколочный сразил еще двух комендоров, а шестой лег точнехонько посреди позиции и внес смятение.

Телефонист подал трубку.

— Господин майор, позвольте отступить, пока нас всех не перебили, — срывался на дискант голос Клюге.

— Ни в коем случае. Продолжайте бой, — ровно сказал Иоахим Ортнер. — Вы же понимаете, гауптман, сейчас только от мастерства и мужества ваших людей зависит успех атаки.

И не стал больше слушать, отдал пищавшую трубку телефонисту.

Он не лицемерил. Действительно, сейчас все зависело от Клюге. Подави он пулеметы красных — и доту не удержаться, потому что рота шла хорошо, хотя ей уже доставалось от осколков своих же снарядов. Что поделаешь, на это приходилось идти, лишь бы молчали пулеметы.

Но надежды не оправдались. Красные удачным выстрелом разбили одну из пушек, и гауптман Клюге пошел на самоуправство: вызвал из укрытия тягачи. Красные сразу перенесли на них огонь. На этом они потеряли время, должно быть, целились долго, и два тягача успели добраться до позиции, зато от первого же их снаряда загорелся тягач как раз на выезде из овражка. Одна машина внизу оказалась отрезанной, две все же зацепили по пушке, но уже от следующего снаряда один из этих тягачей вспыхнул, а пушка перевернулась. Тогда с позиции побежали все — и водители и комендоры.

К этому времени решилось и на холме. Рота не выдержала испытания молчанием противника и страшным зрелищем — ведь склон был весь усеян телами: и тех, кто вчера здесь погиб, и сегодня во время первой атаки.

И рота залегла, хотя по ней так и ие выстрелили ии разу. А когда стало ясно, что батарее конец, солдаты начали отходить. Сначала по одному, ползком и перебежками, но уже через несколько мннут припустили бежать в открытую, слава богу, и иа этот раз красные не расстреливали их в спину.

Что и говорить, это была постыдная картина. Иоахим Ортнер поглядел на часы. Начало седьмого. Интересно, когда просыпается полковник? Если он ранняя пташка, с мннуты на мииуту иадо ждать его звонка. Но если ои решнт выдержать характер?.. Тогда звонок раздастся не скоро, а прежде девяти и я звонить ие стану: ни повода иет, ни охоты. Значит, все упирается в характер господнна полковннка, а пока здесь непонятно за что будут расплачиваться своими жнзиями немецкие парии.

Майору Ортнеру было жаль солдат, которых ои так бездарно гнал на пулеметы. В который раз за сегодняшннй день он размышлял, что, будь его воля, он бы все устроил ииаче. Не кровью, а мыслью, интеллектом и волей доказывать силу германского духа. Но у него приказ, и не позже девяти иоль-ноль спросят, как ои, майор Иоахим Ортнер, этот приказ выполнил. И тогда он назовет число атак, которое подтвердит его иастойчнвость и неуемную жажду победы. И перечислит свои потери. И станет безусловной его непреклоиность, иикому в голову не прндет обвииить его в малодушии, иикто ему не скажет, что он пасует перед трудностями.

Как все глупо, думал Ортнер. Солдаты честят меня последннми словамн, счнтают идиотом и убийцей. Полковннк, узнав о потерях, тоже решит, что я убийца и болван. Но я должен играть свою роль, как бы она ни называлась. Главное, чтобы внешне я был тверд и непреклонен, и убеждеи в правоте своей идиотской тактики, и тогда я буду прав в любом случае, перед какнми угодно судьямн, чего бы ни стоила моя формальная правота доблестной германской армии.

Сердце у него не болело и душа была спокойна: у него не было выбора. Как шар в кегельбаие, ои катился по едииственному, выбранному другими желобу. Чего ж ему было терзаться?

В его положенин самым опасным было проявить малодушие. Это следовало пресекать сразу, даже в мелочах. И майор Ортиер в этом преуспел. Так, ему заранее

было неприятно предстоящее объяснение с Клюге (он не считал себя виновным перед гауптманом; напротив — тот был кругом виноват; но что-то все же было в этом предстоящем разговоре такое, отчего майор вообще с радостью избежал бы встречи, хотя он и не осознавал ясно, что именно его смущает, и не собирался в это вникать), а все вышло на удивление просто, легко и не только не оставило в душе Иоахима Ортнера следа, но даже и не задело ее.

Клюге пришел без вызова. Он брел по неглубокой траншее, глядя себе под ноги, сцепив руки за спиной. Без фуражки. Весь в земле. Мундир справа пониже нагрудного значка был разорван: сукно, и бортовка, и подклад торчали мятыми лоскутами. Когда он поднял глаза, Иоахим Ортнер не прочел в них ни страха, ни гнева, ни озлобления — только усталость.

— Конечно, — сказал он тихим, невыразительным голосом. — Моей батарее крышка. Нет ее больше. Нет — и все.

Вот этот его тон и облегчил задачу Ортнера. Теперь он был прав точно, и не только в прошлом, но и в будущем; прав уже потому, что держался твердо, не давал воли своим чувствам.

— Во-первых, гауптман, — отрывисто отчеканил Иоахим Ортнер, — прошу вас обращаться как подобает. Во-вторых, потрудитесь быть конкретным, если только это доклад офицера, а не цитата из Вертера.

— Виноват, господин майор, — все так же медленно и тихо сказал Клюге.

— На вас солдаты смотрят! Где ваша фуражка?

— Не знаю, господин майор.

— Так удирали, что не заметили, как...

— Я не удирал, господин майор, — даже перебив, Клюге не повысил голоса. — Я оставался на позиции до конца. Даже когда кругом больше никого не осталось. Но мне не было счастья, господин майор, и красные меня не убили.

— Прекратите мелодраму, черт побери! Весьма бездарный огонь русских произвел на вас, гауптман, неизгладимое впечатление. Но как раз это меня и не интересует. Может быть, вы все-таки доложите, наконец, о потерях?

— Точно не могу знать, господин майор. Не все раненые вынесены с позиции. Проще сказать, что уцелело.

— Как угодно.
— Есть одно орудие и четырнадцать комендоров.
— Одно орудие... То самое, что осталось на позиции?
— Так точно, господин майор.
— Брошенное в панике орудие уцелело. Значит, вы еще могли вести огонь и поддерживать нашу атаку, но у вас нервы не выдержали, и только поэтому наша пехота осталась без прикрытия. Вы прямой виновник, гауптман, что эта блестящая атака сорвалась.
— Насколько мне известно, господин майор...
— Ничего не желаю слушать. Гауптман Клюге, получите приказ. Через пятнадцать минут атака будет повторена. Ваше орудие ее поддержит. Как будут расставлены люди — дело ваше, но подмена должна быть организована безукоризненно. Когда рота перейдет шоссе, открываете огонь. И будете стоять до последнего человека. Иначе я предам вас военно-полевому суду.
Лицо Клюге стало серым, веснушки словно стерли с кожи.
— Но это убийство, господин майор, — еле слышно сказал он.
— Повторите.
— Вы посылаете моих людей на верную и бессмысленную смерть.
— Вы отказываетесь выполнять приказ?
— Мы выполним ваш приказ, господин майор! — яростно крикнул Клюге, весь дернулся вверх и демонстративно щелкнул каблуками.
— Идите, — вяло сказал Иоахим Ортнер и отвернулся.
Предстояло объясниться с ротой; тут он не собирался церемониться.
— Солдаты, — сказал он, — вы сейчас наступали бездарно и трусливо. Но я не позволю вам порочить честь нации! Не дам бросать тень на славу германского оружия! Разве нет среди вас национал-социалистов? Разве не вас воспитывал гитлерюгенд? Пусть выйдет из строя тот, кто сейчас вынес из боя раненого товарища, и я тут же вручу ему медаль за доблесть.
Иоахим Ортнер вызывающе, орлиным взором окинул строй.
— Это позор!.. Так вот, запомните: на холм санитаров больше посылать не будем. Если сейчас ты не вынесешь товарища, в следующий раз, когда ранят уже тебя,

ты тоже останешься там, умирая от жажды, истекая кровью. Это первое. Второе: сейчас вы пойдете в атаку снова. Предупреждаю: у вас в тылу я поставлю пулеметный взвод. И если без сигнала к отходу вы побежите от русских пуль, вас встретят немецкие.

К нему подошел силезец. У него была забинтована голова; забинтована легко, так что над ухом проступило бурое пятно.

— Я не смогу повести роту в атаку, господин майор, — сказал он, отводя взгляд.

— Как это вы умудрились? —с досадой сказал Ортнер, придумывая, кем его заменить. Он так надеялся, что внезапного пыла этого труса хватит хотя бы на одну хорошую атаку. Не вышло. — Ведь русские так и не выстрелили по вас ни разу.

— Это наш осколок, господин майор.

— Но вы неплохо выглядите. И бежали хорошо, я помню. Мне в голову не могло прийти, что вы ранены.

— Я не смогу повести роту в атаку, господин майор. У меня повреждена черепная кость. Надо показаться настоящему врачу.

— Ну что ж, лейтенант, с богом! — Иоахим Ортнер впервые за это утро рассмеялся. — Надеюсь, что ваша рана не очень опасна и вы скоро вернетесь в *мой батальон*. Это не последняя высота и не последний дот, который предстоит взять.

— Так точно, господин майор. — Силезец впервые поднял на него глаза. — Но я очень надеюсь, что *этот дот* вы возьмете еще до *моего возвращения*.

Его можно понять, посмеивался Ортнер, возвращаясь на КП. Он легко отделался — и счастлив. А мне все только предстоит.

Эта атака получилась лучше предыдущей. Солдаты добежали до черты, от которой по ним били пулеметы, дальше поползли и незаметно рассосались по ямам и воронкам. Вперед не шли, но и не отступали — ждали сигнальной ракеты. Ортнер даже не сердился на них. Решил: пусть полежат с полчасика — осмотрятся, пообвыкнутся, раненых подберут, а там и ракету можно давать.

Последняя пушка Клюге успела выпустить только четыре снаряда, после чего прямым попаданием была уничтожена. Артиллерийская позиция было недалеко от КП, но майор взял бинокль, когда санитары стали укла-

дывать на носилки безжизненное тело гауптмана. Бинтов на нем не было видно. Пожалуй, убит, подумал Ортнер, но надо было знать точно, и он послал туда адъютанта.

От полковника все не звонили.

Значит, придется заниматься этой идиотской работой до девяти ноль-ноль, понял Ортнер и стал готовить новую атаку. Все же обошлось. Позвали к телефону: начальник штаба полка. Компромисс. Но когда майор доложил, что потерял без малого роту и батарея уничтожена полностью, причем гауптман Клюге имеет две тяжелые раны, одна из которых в голову, так что его нельзя транспортировать, а фельдшер заявляет, что требуется немедленная операция, прямо порочный круг какой-то, тут уж полковник не выдержал, подключился к разговору и сказал, чтобы майор пока ничего не предпринимал; он, полковник, сейчас прибудет, и они вместе решат, как быть.

Иоахим Ортнер не боялся этой встречи, и она действительно вышла безобидной. Полковник прежде всего пожелал проведать Клюге, но, узнав, что тот без сознания, смирился и все остальное время был чуть-чуть в миноре. Действия майора не вызвали у него критики, планы — тем более.

— Я сейчас еду в дивизию, — сказал он, — постараюсь хоть что-нибудь из них выбить: самолеты... огневую поддержку... время...

— Главное — время, — сказал майор Ортнер. — Будет время — мы что-нибудь придумаем.

— Да-да, — согласился полковник и отвернулся наконец от холма, и в ту же секунду что-то стукнуло по левой руке Иоахима Ортнера немного пониже локтя, а потом от холма прилетел слабый звук выстрела.

Сердце Ортнера подскочило вверх, но сразу не было больно. Он шевельнул рукой и понял, что кость не задета.

— У вас при себе пакет? — спросил он адъютанта.

— Так точно, господин майор.

— В чем дело? — обернулся полковник.

— Красный снайпер. Ваша пуля, оберст, — постарался улыбнуться Иоахим Ортнер.

— Когда вы успели? И почему думаете, что стреляли в меня?

Ортнер объяснил.

— Надеюсь, это не очень серьезно? — сказал полковник. — И вы меня не бросите в такую тяжелую минуту?

— Можете располагать мною по-прежнему, оберст.

— Благодарю вас, майор.

Ну что ж, раненый офицер не покинул поле боя — орден можно считать заработанным, удовлетворенно подумал Иоахим Ортнер. С полковником он продолжал держаться на дистанции, но тот уже не столь остро это воспринимал, а скорее всего перестал замечать: не до того ему было. Куда делась ваша плебейская спесь и высокомерие, господин оберст? — посмеивался про себя Иоахим Ортнер. Всем плебеям присуще чувство коллективизма, и когда им приходится туго, они ищут локоть соседа. Они не привыкли полагаться на себя. Они считают, что общая опасность стирает сословные различия и границы. Как бы не так, господин оберст!..

18

После отъезда командира полка Иоахим Ортнер послал разведчиков изучить все подходы к доту. На это ушло часа два. Еще через час позвонил полковник: «выбить» авиационную поддержку пока не удалось.

— Я попробую атаковать их с двух направлений сразу, — сказал майор.

— Ах, — ответил полковник, — конечно же, делайте что-нибудь, все время что-нибудь делайте, прошу вас, чего бы это ни стоило...

Солнце палило невыносимо. Проклиная все на свете, солдаты зарывались в землю, потому что быстро разобрались: красный снайпер был не любитель — профессиональный стрелок. Это из-за него провалилась одновременная атака с двух сторон: взводы еще только подступили к холму, а в цепях уже не осталось офицеров.

Потом майору сообщили, что к нему направлена еще одна батарея 75-миллиметровок. Она отличалась от предыдущей тем, что подразделение гауптмана Клюге принадлежало к так называемым приданным огневым средствам, а это входило в состав артиллерийского полка. На деле различие оказалось куда бо́льшим. Быстро развернувшись, батарея открыла огонь по амбразуре дота столь превосходно, что красные ответили только

четыре раза, причем последиий выстрел был иаихудшим — и закрыли амбразуру.

Зато ударили крупиокалибериые. Им удалось нарушить четкий ритм работы комеидоров, ио две пушки тут же переключились иа новые целн, каждая взяла по броиеколпаку — и пулеметы замолчали тоже.

Майор глазам ие верил. Ои бросил в атаку резервиую роту. Оказалось — иапрасио. В решающий момеит пулеметы пресекли эту попытку. Батарея тоже ие избегла потерь. Едва оиа замолчала, чтобы отойти в укрытие, как ожил дот. Красиые успели поджечь один из тягачей; комеидоры оттащили пушку в сторону, здесь она и была уиичтожеиа прямым попадаиием.

Опять появился полковиик. Вндать, ему крепко досталось «наверху»: иедавней приветлнвости как ие бывало; ни единого иамека в духе «общая опасиость стирает граиицы» и «сближает».

— Майор, почему здесь так тнхо? — заорал ои еще издали иеожидаиио сильиым голосом. — Может быть, вы уже взяли дот, и я одии об этом еще ие зиаю?

— Господии оберст, люди отдыхают после пятой атаки.

— Как? За весь этот длиииый деиь, с четырех утра, вы провели только пять атак? Их должио было быть десять! пятиадцать! двадцать пять!.. Позвольте узиать, майор, что же вы делалн все остальиое время?

Иоахим Ортиер едва ие рубаиул с плеча: «Загорал!» — ио этого полковиик мог и не простнть.

— Я думал, господии оберст, — сказал он.

— И что же вы придумали замечательиого?

— Пока иичего, господии оберст.

— Вы торчите здесь с иочи, майор, а что успели сделать? Ничего! А там, иа шоссе, уже на двадцать пять километров пробка. Машины стоят в четыре ряда. Потому что это шоссе должио кормить армию. Другой путь — крюк без малого в двести кнлометров. Представляете, майор?..

— Господии майор, — тнхо поправил Иоахнм Ортнер.

— Отличио — господии майор! — ядовито повторил полковник. — Вы отдаете себе отчет, что это по вашей милости каждый беизовоз, каждая машина со сиарядами, таики, люди должиы будут делать лишиие

двести километров, чтобы добраться до фронта? Это все равно, господин майор, что пересечь целую Швейцарию. А третьей дороги нет — горы! Ломается график движения, утвержденный самим фюрером!..

— Так мы их не возьмем, господин оберст. Надо вызывать авиацию.

— Авиация на фронте, а мы — в тылу! — опять вспылил полковник и даже начал жестикулировать, чего Ортнер до сих пор за ним не замечал. — Никто нам ее не даст. Если только вы не подскажете, как доложить генералу, что целый батальон не сможет взять один-единственный дот? — Он не дождался ответа и закончил совсем тихо, задыхаясь: — Довольно, майор... Немедленно... весь батальон, в полном составе... в атаку!

У Ортнера оставалось меньше трехсот солдат и один офицер, обер-лейтенант, командир второй роты; из взводных не уцелел никто.

Когда Иоахим Ортнер разыскал ротного, тот сидел позади окопов за кустом ивы без мундира, без сапог; носки сохли, расстеленные по камню. Обер-лейтенант жмурился на предвечернее солнце и нежно мусолил сухой ваткой между пальцами разопревших ног, испытывая — об этом говорило не только его лицо, но и все тело, содрогавшееся каждый раз, — величайшее наслаждение.

Отвратительно. И это немецкий офицер! Ортнер мобилизовал всю свою выдержку. Надо выглядеть предельно деловитым, словно он дает заурядное рабочее задание, а не посылает на верную гибель. Это и в самом деле их обычная работа, их, так сказать, кусок хлеба. Ведь оба они профессионалы...

Предстояло выбраться из траншеи. Ортнер поневоле оглянулся на холм. Если снайпер сейчас поджидает очередную жертву... Конечно, можно бы окликнуть обер-лейтенанта... Стоит ли рисковать ради сомнительного престижа?..

Но тут же Ортнер понял, что это необходимо для него самого. Для самоутверждения. Неловко — стесняла раненая рука — взобрался на бруствер и, подавляя слабость в ногах, напряженным, но неторопливым шагом подошел к обер-лейтенанту.

— С виду неплохое местечко, — сказал Ортнер. — Но земля дрянь. Камни да глина. Разве что под виноградник сойдет.

Обер-лейтенант неторопливо взглянул на него снизу вверх и улыбнулся с близорукой беспомощностью.

— Я больше не поведу людей на дот. Сегодня — ни за что...

Он автоматически провел ваткой возле большого пальца, опомнился: «Извините», — но встать перед старшим по званию ему и в голову не пришло.

— Ну-ну, — сказал майор, — сегодня был нелегкий день. Хлебните коньяку. Если ваш кончился, могу предложить свой.

— Я не пью, майор.

— Ну-ну, возьмите себя в руки, дружище... Успокойтесь.

— Я и не волнуюсь. Но туда не пойду. По крайней мере сегодня. Сегодня я успел побывать там дважды. Не знаю, какому чуду и чьим молитвам я обязан, что выбрался из этого дерьма не только живым, но и невредимым. — Он пожал плечами. — Я никогда не искал острых ощущений — теперь я знаю, что это такое. После них я заново открыл, как это прекрасно: жизнь, солнце, запах травы. Но испытать еще раз... Сегодня я дважды поднимался на эшафот, дважды пережил свою казнь; и для третьей атаки у меня душевных сил не осталось...

— Как человек я готов вас понять. Но как ваш командир... — Иоахим Ортнер подыскивал выражения помягче, — вынужден напомнить о долге. И о приказе, который мы обязаны выполнить.

— Не такой ценой. Не мне вас учить, майор, но эту штуку можно раскусить только тяжелыми бомбами. Или подкопом.

— Я понимаю, — терпеливо сказал Иоахим Ортнер, — а вот господа из высоких штабов — вряд ли.

Он сразу пожалел, что ляпнул это, но потом подумал: какая разница? Самое большее через час этого офицерика у ж е н е б у д е т. И продолжал в том же тоне:

— Но их не заставишь ползать, как вас, кстати, по камням под пулями. Значит, эта истина дойдет до них не сразу, а со временем. А пока они считают, что немецкому батальону вполне по силам взять паршивый красный дот. И любая сверхподдержка — блажь.

— Я не пойду туда сегодня.

— Господин майор, — подсказал, потеряв терпение, Ортнер.

— Виноват, господин майор.

— Батальон сосредоточивается в овражке. Через пять минут извольте быть там.

— Слушаюсь, господин майор.

По его приказу выдали весь запас шнапса. Солдаты пили кружками. Они знали, что их ждет. Потом их выстроили, и майор прошел вдоль неровного строя. Осоловелые глаза; закрытые глаза; блуждающие, неконтролируемые улыбки. Но пьяных вдрызг не было, хотя при других обстоятельствах после такой «заправки» мало кто смог бы держаться на ногах, а уж половину наверняка пришлось бы отправить в лазарет.

— Солдаты! — сказал Иоахим Ортнер. — Вы помните, сколько вас было утром. И видите, сколько осталось теперь. Ваши товарищи лежат там, на холме, хотя, если бы самым первым из них в последнюю минуту не изменило мужество, они взяли бы этот проклятый дот... Они струсили. Они решили схитрить. Но судьбу не обманешь — они все остались там. Это ожидает всех малодушных... Солдаты! Чтобы пережить сегодняшний день, вы должны добраться до вершины. Наверху — слава, ордена. Там — жизнь! Солдаты! Я обращаюсь к вашему мужеству. Если вы броситесь разом, не останавливаясь, не прячась, не глядя по сторонам — вперед и только вперед! — красные не смогут вас остановить. И если один из вас падет смертью героя, то десять его товарищей останутся живы и победят. Помните: наверху — победа и жизнь! Вас поведет...

— Я не пойду туда, господин майор, — спокойно сказал обер-лейтенант, выходя из строя. Солдаты при этом словно проснулись. Строй сломался, а один верзила даже упал и тщетно пытался встать хотя бы на четвереньки.

— Пойдете.

— Нет, господин майор, на сегодня с меня хватит.

— Трус!

— Какой же я трус? Я дважды ходил сегодня на пулеметы.

— Ты желаешь погибнуть здесь? Сейчас же? — Ортнер выдрал из кобуры парабеллум и наставил на обер-лейтенанта.

— Он у вас не взведен, господин майор, — улыбнулся ротный.

— Негодяй! — Ортиер, оскалясь, зубами взвел парабеллум.

— Не посмеете, господин майор. Я у вас последний офицер...

— Ты забыл про меня! — Ортиер выстрелил ротному в ненавистное лицо, отскочил к противоположной стенке овражка и закричал срывающимся голосом: — Ну, кто еще хочет остаться здесь?

В задней шеренге кто-то громко икал. Солдаты испуганно подравнивали строй.

— Солдаты! Это будет наша последняя атака, — сказал Ортиер, поправляя черную косынку, которая поддерживала его раненую руку. — Мы или победим, или все останемся там, потому что пулеметчикам отдан приказ стрелять по каждому, кто повернет, а сигнал об отходе давать некому. Докажем, что мы достойны славы отцов. С нами бог!

Знаменательный день: первый убитый им человек, первая в жизни атака. Станет ли она и последней? Не должна. Ни на мгновение Ортиер не утратил контроля над собой, но обстоятельства сложились так — иначе он поступить не мог. Другого выхода не было: он должен был идти. Голова была ясной. Он не думал сейчас, удастся атака или нет. Главное — выжить. Он не выпил ни грамма, потому что делал ставку не на храбрость свою, а на хитрость и быстроту реакции.

Он развернул солдат в цепи и сначала шел впереди. Он был воплощением спокойствия и уверенности. Его шаг был нетороплив. И только стороннему наблюдателю — в особенности красноармейцам на холме, поскольку им и адресовалось — была заметна одна особенность: если солдаты шли напрямик, то майор исполнял замысловатейший зигзаг. Он и трех шагов не делал в одном направлении, любой камень или ямка служили ему поводом, чтобы повернуть в сторону или изменить темп. Но пулеметы, ослепленные огнем семидесятипятимиллиметровой, молчали, и снайпер молчал, и тогда майор рискнул пройти вдоль цепи, горланившей «Хорста Весселя». У него было в запасе несколько чужих пошлых шуток, он их произносил снова и снова, и по взглядам солдат чувствовал, что производит на них впечатление, и оттого держался еще прямей, а парабеллум в его руке теперь смотрелся как символ силы, неумолимо разящей, словно копье святого Георгия.

Но самого себя обманывать Ортнер не собирался. Он вовремя стал пропускать солдат вперед, затесался между ними, и как раз в это время, опасаясь нанести урон своей пехоте, замолчали пушки. Сразу стало слышно, как тяжело дышат солдаты, как скрежещут по щебню их подкованные башмаки.

Красные не стреляли.

— Пусть они выжидают! — подбадривал майор Ортнер, смещаясь позади цепей. — Спокойствие! Половина дела сделана. Берегите дыхание для последнего броска...

Эти парни сегодня уже побывали тут, а он был впервые, и потому так ярко отпечатывалась в сознании каждая деталь: растянутая пасть амбразуры дота, ее глубокая, слепящая чернота; мятые бронеколпаки с открыто торчащими из прорези тонкими пулеметными стволами; а вот сидит убитый солдат, обхватив руками колени, положив на них голову; он со вчерашнего дня так сидит, майор видел его в бинокль еще на рассвете, и во время каждой атаки все его старательно обходят...

Пулеметы молчали, но Ортнер не верил им, и снайперу не верил, и сложный его маршрут теперь расшифровывался совсем просто: майор следил, чтоб от каждого из пулеметов и от амбразуры его закрывали спины солдат.

Вдруг одиноко хлопнул выстрел — и одна из спин, прикрывавших Ортнера, исчезла: солдат повернулся лицом к майору и сел, держась за живот, и смотрел на своего командира выпученными глазами, не понимая, что с ним произошло. Алкоголь спас его от боли, но он не прибавит сил, когда этот парень, очнувшись наконец, попытается добраться до лазарета.

— Не останавливаться! — призывно размахивал парабеллумом Ортнер. — Он сам поможет себе. Вперед!

И вот неторопливо заговорили пулеметы. Короткими очередями. Трассирующими пулями. Белые жуки отрывались от хоботков пулеметов и тукали с лета то в одного солдата, то в другого. Били не веером — выборочно. А это страшнее, потому что длинная очередь может и миновать, а тут уж если на тебя положили глаз — это конец.

Солдаты неловко побежали в гору.

Впереди майора темнело несколько спин. Пофыркивали пулеметы. Летели, обрывая свой путь в очередном теле, белые жуки... Майор метался, лихорадочно следил,

чтобы все прямые между иим и пулеметчиками были перекрыты, ио вот перед иим остались только три темиых спииы — две — одиа... И вдруг ои увидел, что прятаться больше ие за кого, что впереди только голый склои и белые жуки мед-леи-ио тяиутся к иему...

Как завершилась атака, ему ие довелось увидеть. Ои лежал, зарывшись лицом в землю, затаившись за трупом убитого еще утром солдата, а труп вздрагивал как живой, шевелился и подпрыгивал, потому что у крупиокалибериой пули иа таком близком расстояиии страшиая сила, вот пулеметчик и пытался отшвыриуть пулями труп, чтобы добраться до офицера, который, едва живой от ужаса, держал, прижимал к земле спасительиое тело, а оио дергалось под его рукой, словио в коивульсиях, словио хотело само вырваться и получить покой, чтобы достали, иакоиец, того, кого ищут...

Живой... все-таки живой! — вот первое, что осозиал Иоахим Ортиер, когда прошло иесколько мииут, а по иему ие стреляли. Солице жгло затылок, болела иеудобио подвериутая раиеиая рука. Ортиер осторожио поглядел по стороиам. Никого. Только трупы. Только стонут и плачут раиеиые. На таком солице да без помощи их надолго ие хватит. Но что ему были раиеиые сейчас! Самому дай бог выбраться...

Проще всего было дождаться темиоты. Но чем дольше Ортиер лежал, тем меиьше у него оставалось сил для этого. Что-то иарастало виутри его, взвиичивалось, толкало: только ие лежать, только ие лежать...

Ортиер чуть приподиялся — ие стреляют...

Ои приподиялся смелей — и резкий заливистый свист бросил его на место, заставил затаиться, сжаться.

И вдруг поиял: ие стреляют.

Не стреляют... Не стреляют? — ои опять приподиялся — и опять его хлестнули свистом. Ои догадался, что поиял правильио, робко и иедоверчиво привстал и под свист и улюлюкаиье стал отступать, пятиться, потом побежал, согиувшись, — вииз! скорее вииз! — споткиулся и покатился кубарем, жалкий и уиичтожеииый.

Возле шоссе его поджидал Харти. Забежал с одиой стороиы, с другой, пытаясь помочь идти, ио Ортиер злобно от иего отмахиулся. Шел прямо иа КП. Полковник был еще здесь. Не глядя иа Ортиера, ои сказал, что к утру пришлет две роты из своего резерва. И с тем уехал.

Значит, с утра опять то же самое?..

Эта мысль показалась Ортнеру невыносимой. Только этим, пожалуй, и можно объяснить, что около трех ночи он предпринял еще одну попытку взять дот. Он собрал писарей, телефонистов, поваров, всю хозяйственную братию; вместе с уцелевшими солдатами набралось сорок два человека. Красные обнаружили их вовремя. Ракеты одна за другой полетели в небо, пулеметы для острастки дали по нескольку выстрелов — этого оказалось достаточно.

Ночь была разбита. Ортнер спал недолго и плохо. Разбудили известием от полковника: в 10.00 дот обработают пикирующие бомбардировщики, скорее всего «юнкерсы».

Роты уже прибыли. Майор с первого взгляда определил опытных солдат. Но даже к офицерам не стал присматриваться: ни к чему, все равно через несколько часов вместо них появятся другие. Он ходил хмурый, искоса поглядывал на холм. Склоны были усеяны трупами, над ними кружило воронье, и когда ветер начинал дуть с той стороны, воздух наполнялся сладким смрадом.

«Юнкерсы» появились с опозданием. Три машины. На высоте тысячи метров они сделали круг, затем спустились до шестисот метров, сделали еще круг — и лишь тогда головная машина перевернулась через крыло и пошла в пике. Красные встретили ее огнем из всех пулеметов, но бомбы легли хорошо, а уже мчалась вниз вторая машина, и третья выходила на цель: «юнкерсы» завертели знаменитое колесо.

Рота уже шла в атаку. Уцелевшие пушки выехали на огневую позицию и стояли, готовые включиться в дело, как только авиация закончит партию. Еще заход, еще... Ортнер поймал себя на странном чувстве: конечно же, он болел за своих, он страстно желал, чтоб под одной из бомб дот раскололся, и тогда закончился бы наконец этот кошмар, но одновременно он следил за боем и с ревностью: он не хотел, чтобы для «юнкерсов» все обошлось безболезненно. Это, бесспорно, повысило бы цену дота. Черт побери, бормотал он, вчера эти красные били куда точнее, мне ли не помнить!..

И майор накликал-таки беду. «Юнкерсы» успели отбомбиться, но на последнем заходе у головной машины вспыхнул мотор.

Трагедия закончилась в несколько секунд. Ни один из летчиков выпрыгнуть не успел, да и не смог бы — земля была рядом. Так-то, господа, иронически пробормотал майор, дождался, пока стало ясно, что атака провалилась, и приказал дать сигнал к отходу.

Сегодня он был недоволен собой. То ли устал, то ли в нем что-то надломилось, то ли сомнение поселилось в душе, стало расползаться, и теперь этот процесс невозможно было остановить, только он стал угадывать в себе растерянность, которая вскоре сменилась ощущением беспомощности. Но ведь он и до этого понятия не имел, что делать дальше, как выкрутиться, однако это не отражалось на его внутреннем состоянии, а тем более на его поступках. Я становлюсь впечатлительным, разозлился на себя Ортнер и приказал ротным: «Делать траншеи в полный профиль: копать, копать и копать!» — и, чтобы наверняка и быстро вылечить свою душу, ушел спать в палатку.

Проснулся сам. Рядом с палаткой громким шепотом пререкались трое. Харти он сразу признал. Второй голос был знаком тоже. Это новый адъютант, понял Ортнер, и вдвоем они не пропускают ко мне какого-то дельного человека. Ортнер еще прислушался и уверенно определил, что это человек свой: каждая реплика его была заряжена некой приятно-барственной интонацией. Что мимо Харти не прорвешься, это Ортнер знал точно, но и новый адъютант молодчина: деликатен, но тверд. Уже выбираясь из палатки, майор зачем-то попытался вспомнить лицо прежнего адъютанта, который достался ему от гауптмана Питча. Из этого ничего не вышло. Куда он делся? И когда?.. Наверное, пустой был человек, никакой, раз так бесследно проскользнул мимо из ниоткуда в никуда, решил Иоахим Ортнер и напрочь выкинул вопрос из головы.

Перед ним стоял капитан люфтваффе, улыбчивый верзила лет двадцати двух с внешностью чемпиона по гольфу своего монархического клуба.

— Милый гауптман, вы играете в гольф?

— Еще как! И не только в гольф. Я играю во все, черт меня побери! — воскликнул капитан и радостно захохотал. — А что, мессир, это и есть ваше поле для гольфа? — Он широким жестом обвел долину. — На мой взгляд, лунок многовато, а? — И он захохотал снова, ужасно довольный своей шуткой.

Общих знакомых у них не нашлось, тем не менее они провели четверть часа в приятной болтовне, пока не добрались до дела. А заключалось оно в следующем. В семи километрах отсюда в этой же долине был аэродром, на котором сейчас базировалось несколько самолетов-разведчиков, ожидавших приказа о переброске ближе к линии фронта, и две эскадрильи двухместных монопланов, маленьких машин, какие обычно используются для небольших грузовых перевозок, для связи, неопасной рекогносцировки и т. п. Командиру группы монопланов и было приказано поддержать 1027-й батальон. Конечно же, больше одного-двух звеньев никто выделять не собирался, да и то на один вылет.

Что смогут эти букашки, если «фокке-вульфы» и «юнкерсы» не смогли?

Иоахим Ортнер придумал сразу. Бомбить не придется. У этого дота, видать, такое перекрытие, что бомбами его грызть и грызть. Вопрос: — Сколько бочек нефти может поднять одна ваша керосинка? — Четыре, мессир. — Прибедняетесь, милый гауптман? — Четыре, мессир. Ведь самолет должен летать, порхать, парить, а не ползти наподобие утюга, не так ли? — Хорошо, пусть будет по-вашему, гауптман. Сколько же бочек нефти понадобится, чтобы устроить на этом холме небольшую Этну? — Двадцать. — Почему двадцать, а не тридцать или сорок? — А потому, мессир, что пять самолетов сделают один вылет. И других цифр от нас не ждите. — Ну и стервецы ж вы, ребята... — Ха-ха!..

Точного времени не назначали; как летчики обернутся, так и хорошо. В шестом часу они сообщили: вылетаем. Пушки вывернулись из овражка все разом — теперь у каждой был свой выезд — и начали ослепляющий огонь по пулеметам. Монопланы появились неожиданно даже для Иоахима Ортнера. Они зашли со стороны солнца и скользили по пологой наклонной на дот, словно и впрямь по солнечным лучам. Красные спохватились поздно. Монопланы проносились в нескольких метрах над вершиной холма, бочки шлепали тяжело и глухо, сыпались зажигательные бомбы. Стрекотали моторы. И без бинокля было видно, как расползается, расплывается, пухнет огненный пирог на вершине. Еще миг — и он взметнется смертоносными языками, и траурный шлейф поднимется в предвечернее тихое небо — химерический памятник, зловещий мемо-

риал. Как просто все решилось, даже примитивно. Сразу бы это придумать — сколько сил, сколько нервов он бы себе сберег...

И в это мгновение Ортнер увидел, как словно из-под земли неподалеку от дота появилась фигурка человека. Она метнулась в одну сторону, в другую. Отовсюду наползал огонь. Не нравится! — злорадно подумал майор, а человек отчаянными прыжками бросился напрямик через пламя — на вершину дота — сорвал флаг и исчез, закрытый взметнувшимся сразу отовсюду жирным чадным пламенем.

Иоахим Ортнер засмеялся. О господи, думал он, какая варварская страна. Они ценят что угодно: красивые слова, анекдоты из прошлого, цветные геральдические тряпки, но только не саму жизнь, прекрасную и сладостную жизнь. Они живут мифами, а не реальной жизнью! Они не знают, что бог умер, вспомнил он слова любимого философа, и что пришел сверхчеловек, которому принадлежит все.

Между тем роты поднялись только до половины холма: дальше не пускало пламя. Его плотная стена разъединила противников на несколько минут, но даже издали было видно, что фронт пламени неровен. Еще немного, и оно начнет опадать, потом останутся отдельные очаги в рытвинах и воронках.

— Передайте командирам рот, пусть не жалеют кожу, — сказал майор через плечо адъютанту. — Даже отсюда видны окна — пусть в них просачиваются.

Ему показалось, что пламя держится очень долго. Наконец оно стало сдавать. Зашевелились солдаты. Цепь придвигалась, немцы еще не поднимались так высоко, никогда за эти два дня не были так близко к цели. В угасающем костре ничто живое не могло уцелеть, и все-таки Ортнер гнал от себя мысль об успехе, гнал подступающее к сердцу торжество — боялся сглазить удачу. Вот когда подорвут бронеколпаки...

Вдруг на противоположной стороне холма, невидимой с КП, захлопали негромкие взрывы. «Неужели свершилось?!» — мысль едва только начала формироваться при первом из этих звуков, но уже второй остановил ее своей фактурой, непохожестью на то, что ожидалось, а остальные затоптали, погребли эту мысль вовсе. Минное поле? Уже зная, что это неправда, что это не так, попытался обмануть себя майор, но

привычное ухо квалифицировало точно: ручные гранаты.

Почему ручные гранаты — этим он уже не успел озадачиться. Из-за холма накатила новая волна звуков: длинные — значит, бьют наверняка, в упор — до полного истощения магазинов — автоматные очереди. И среди них, выплывая на поверхность четкой ровной строчкой, стук крупнокалиберного пулемета.

Но с этой стороны было тихо, и солдаты медленно, шаг за шагом надвигались на дот. Боже, дай им мужества, дай им выдержки! — молил Иоахим Ортнер, который, впрочем, в существовании божьем уверен был не вполне. Боже, будь милосерден к немецким матерям! — молил он, полагая, что такой поворот будет более близок высшей силе.

Молитва не помогла. Ожил пулемет в правом (если считать от КП) бронеколпаке. Залечь солдаты не могли — земля была слишком горячей. Гранаты бросать не решились: это было бы самоубийством — пулемет был рядом. Они побежали вниз.

К Ортнеру подошел полковник. Когда он успел приехать? И что за манера: незаметно подкрадываться и появляться вдруг — конечно же, в самый неподходящий момент...

— Мой дорогой Ортнер, — сказал полковник с какой-то жалкой улыбкой. Впрочем, пестрый наборный мундштук, который полковник сейчас нервно вертел, вполне соответствовал именно такой интонации.

— Мой дорогой Ортнер, — сказал полковник, — поверьте, я прекрасно понимаю, что сейчас творится у вас на душе. Эти ужасные дни... Эти потери... я даже слова не могу подобрать, чтобы оценить их верно. Все ужасно. Все. Но прошу вас, дорогой Ортнер, не отчаивайтесь. Не теряйте головы. Нервы еще пригодятся.

— Позвольте сказать, господин оберст, — живо отозвался Иоахим Ортнер, — я успел заметить, что это не Монте-Карло.

— Не надо, дорогой Ортнер, — полковник ухитрился выдержать тон, однако мундштук едва не хрустнул в побелевшем кулаке. — Не надо язвить. Я понимаю, как вам сейчас нелегко, как вас угнетает ваша ответственность и ваша неудача...

— Позвольте заметить, господин оберст, что мы несем этот груз вместе.

— А разве я отрицаю?

Полковник попытался скрыть, как он раздосадован таким поворотом, как его раздражает тон собеседника, но из этого ничего не вышло: не та школа. Впрочем, он боролся с собою недолго, примирился с поражением — и еще раз уступил. Взял Ортнера под здоровую правую руку и повел по траншее.

— Дорогой Ортнер. Считаю необходимым внести ясность... Не более двух часов назад совершенно случайно я узнал, что командир нашего корпуса... э-э, как бы сказать... приходится вам...

Майор едва сдержал вздох торжества. Он гордо выпрямился.

— Оберст, я такой же солдат, как и все остальные. Полагаю, что если даже мой дядя...

— Конечно же, конечно, дорогой Ортнер! — заспешил полковник. — Это не меняет дела. И не снимает, так сказать... Мы все равны перед нашим фюрером! Но мне хотелось, чтоб вы знали, что просто, по-человечески... — Он совсем запутался, дипломатия была явно не по плечу господину полковнику. И тогда он пошел напрямик: — Короче, я очень сожалею, что позавчера мой случайный выбор пал на вас, Ортнер. Так вышло, черт побери, и вот теперь я не знаю, как вам — виноват! — как нам выбраться из этого дерьма. Правда, есть последний шанс. Сверху, как говорится, виднее. Почему бы вам не навестить дядю?

— А мой батальон?

— Здесь ничего не случится, надеюсь. Во всяком случае, хуже не будет. Да и поездка недолгая. Шоссе великолепное и сейчас свободно насквозь, мой «хорьх» дает полтораста километров, шофер надежен. До полуночи успеете обернуться.

Наконец появилась какая-то ясность. Высадив полковника в знакомом селе, майор остался наедине со своими думами. Он не пытался представить, как повернется предстоящий разговор; от него не требовалось дипломатического дара, даже лести; только почтительность и послушание. Но что дядя может предпринять? Перевести его в другую часть? — щекотливое дело, репутацию не убережешь. Перевести в другое место весь полк? — значит, и рана и нервы — все зря?..

Он спохватился. Не оглядываться, не загадывать и ни о чем не жалеть. Это еще никого не доводило до

добра. Однако недавний пессимизм уже вошел в него снова и растекался, как чернила.

Такая неустойчивость не была характерна для Иоахима Ортнера. Просто он устал. Устал от серии ударов, которую пришлось выдержать, и от страха перед ударом, от которого не устоит на ногах. Всю жизнь его приучали «держать удар», всю жизнь ему внушали ненависть к поражениям. Если ты упал — не беда, говорили ему. Были бы силы и мужество подняться и снова броситься в драку и взять реванш. Пропустил удар — не беда, если только от этого ты стал злее и упрямей. Ты должен ненавидеть падения, ненавидеть удары, которые наносят тебе, ты должен ненавидеть свои поражения, говорили ему, но ведь он не был куклой, он имел определенный характер и наследственность, и заповедь ненависти к поражениям трансформировалась у него в своеобразную форму, когда человек, чтобы не упасть, чтобы не перенести боль, напрягаясь из последних сил, подставляет под удар другого. Но ведь однажды случается так, что не успеваешь увернуться или поставить под удар другого. И чувствуешь на себе, на своих костях и мясе эту безжалостную всесокрушающую силу. Неужели настал этот час?..

— Что бог ни делает, все к лучшему, — сказал дядя. — И это не утешение, Иоахим. Это истина. Так же как истинно, что чем труднее взбираться на дерево, тем слаще его плоды.

— Даже если от них оскомина?

— Но ведь ты не будешь рвать зеленых плодов, мой мальчик. Жаль, конечно, что ты не взял дот сразу. Но какая слава была бы с такой победы? Никакой. Рядовой эпизод. А вот если ты простоишь возле него еще дней десять...

— Дядя!..

— Да-да, не меньше. Уж если мы застряли здесь, то должны провозиться долго, чтобы все ждали этой победы. Чтобы, когда это случится, она прозвучала громко и принесла славу германскому оружию... У тебя есть какой-нибудь план?

— Самое простое — подкоп.

— Десяти дней хватит?

— Вполне.

— Прекрасно, Иоахим. Давай сейчас вместе подумаем, что тебе для этого может понадобиться.

Специалистов по подземным работам обещали прислать только через сутки, но уже и эта ночь не прошла впустую. Майор выдвинул два взвода на новую позицию — между холмом и старицей. Здесь склон был самым крутым, в одном месте даже обрывистым — земля осела во время высокого паводка. Солдаты начали окапываться еще затемно. Сначала рыли траншею и блиндаж; его делали просторным — отсюда и предполагали бить штольню к доту.

Потом настало утро, а за ним и день — бесконечно длинный, бесконечно скучный. Если бы Ортнер собирался и дальше воевать с этой частью, он нашел бы для себя немало дел, но этот батальон был для него лишь полустанком, тратить силы и мозговую энергию на солдат и младших офицеров, с которыми воевать придется кому-то другому, он не желал.

Первую половину дня он отсыпался, затем прошел по траншее. Воздух был сухой и жаркий, трещали цикады, вокруг было столько разрытой земли, что малейшее дуновение ветерка поднимало едкую пылевую завесу. Делать было совершенно нечего. Ортнер еще потомился немного, и от скуки, должно быть, ему пришла мысль переговорить с красными. Вначале идея показалась ему дикой, он тут же ее отбросил, но вскоре она возвратилась к нему снова и уже не отпускала. Ортнер подумал: а почему бы нет? — и поскольку переводчика в батальоне не нашлось, взял свой великолепный словарь, который накануне войны сестра разыскала у парижских букинистов, оставил адъютанту парабеллум и, помахав над бруствером белым флажком из салфетки, выбрался наверх и пошел через поле к доту.

Он не боялся. Он был уверен, что имеет дело с противником, который не станет стрелять в парламентера. Правда, в не меньшей степени он был убежден, что эти переговоры ни к чему. Цель была одна: увидеть командира красных. Для чего? Иоахим Ортнер этого сам не знал; просто ему этого очень хотелось.

Когда он стал подниматься по склону, у него закружилась голова. Это от потери крови, успокоил он себя, да и запах здесь дурной. По правде говоря, запах был ужасающий, но возле вершины стало полегче.

От красных на переговоры вышел молодой парень. Ростом они были равны, но в теле красного ощущалась незаурядная сила. У него была перевязана голова, из-

под тесной гимнастерки тоже проглядывали бинты, на зеленых петлицах криво сидели по два треугольника. Чужая гимнастерка, понял Ортнер, и он так дорожит своим сержантским званием, что даже на минуту не пожелал с ним расстаться. Но как он держится! Будь я проклят, если среди красных он не самый старший.

Разговаривать им было непросто. Сержант неважно понимал по-немецки, майор не знал по-русски и двух слов; словарь переходил из рук в руки, но выручала, как и всегда в подобных случаях, мимика. — Я где-то тебя видел, сержант, — начал Ортнер. — Будь я проклят, если мне не знакомо твое лицо... — А я тебя давно признал, майор, — усмехнулся Тимофей. — Вспомни: первый день войны, граница, с тобой еще каких-то двое гавриков было... — Ну как же! Ну как же! — обрадовался Ортнер. — Это я сейчас Петра огорчу, сплоховал парень, а ведь в упор стрелял... — Не моя, значит, была пуля, — объяснил Тимофей... — Не твоя, — согласился Ортнер. — А почему ты позавчера выпустил меня?.. — Ну... воевать можно разными способами, — сказал Тимофей... — Понимаю, — закивал Ортнер, — это я понимаю... скажи, а у вас всегда стоит такой дух?.. — Только в это время, — сказал Тимофей, — в полдень, когда ветра нет; а так все сносит... но мы не жалуемся... — Понимаю, — сказал Ортнер, — мух много... — Ну, мухи — не пули, — рассудил Тимофей... — Я ведь к тебе по делу, сержант, — переключился Ортнер. — Вы молодцы, дрались колоссально. Настоящие солдаты. Но согласись, сержант, что вам до сих пор и везло, а это не может продолжаться бесконечно... — Вот что, майор, — перебил его Тимофей, — ты уж выкладывай покороче, с чем пришел, да и разбежимся... — Понимаю, — сказал Ортнер. — Предлагаю вам сдаться... — А мы думали — это ты сдаваться пришел, — усмехнулся Тимофей... — Ирония сейчас неуместна, сержант, — не унимался Ортнер. — Вы блестяще отбили атаки, считаете себя господами положения — и это диктует ваш тон. Но ведь у вас перспективы нет! Ваша армия разбита, фронт почти в двухстах километрах отсюда и с каждым днем откатывается дальше... — Ладно врать, — усмехнулся Тимофей, — придумай что-нибудь почище... — Понимаю, что тебе трудно мне верить, — старался быть любезным майор, — но сегодня утром наши войска вступили в Ригу,

а Литва уже наша целиком, и Минск взят, и танковая армия идет на Киев. А ведь сегодня только двадцать седьмое число, шестой день войны. Если ты знаешь географию, сержант, при такой скорости через две недели мы будем в Москве... — Ладно тебе, фашист, надоел, — сказал Тимофей... — Послушай, — заторопился Ортнер, — слово дворянина и офицера: я гарантирую жизнь и тебе, и твоему гарнизону... — Ладно, — сказал Тимофей, — привет. У тебя есть пятнадцать минут, майор, чтобы добраться до своих окопов. Спеши, а то ведь в другой раз не промахнусь, — засмеялся он, кивнув на подвязанную черным платком руку майора.

Они взяли под козырек и разошлись — маленькие фигурки на огромном, белом от солнца, побитом снарядной оспой склоне холма.

19

Тимофей не поверил ни единому слову майора; смысл разговора передал ребятам коротко: «Смесь провокации с дезинформацией». Это было им знакомо и понятно.

Их удивляло одно: где Красная Армия? Ее непобедимость была для них аксиомой, а собственный успех как бы подтверждал эту истину. Ведь каждый судит по себе, и если впятером они сумели дать крепкую трепку фашистам, то можно себе представить, что б они здесь навертели, будь их пятьсот — пять тысяч — пятьсот тысяч... Прямиком до Берлина бы дошли! — и никакая сила не смогла бы их остановить.

Вот они и удивлялись — что произошло.

Сложный был вопрос. И чтобы не возникло кривотолков, Тимофей в первый же спокойный день провел открытое комсомольское собрание. Повестка исчерпывалась единственным пунктом: о текущем моменте.

— Я считаю, — сказал Тимофей, — что тут возможны два варианта. Первое: наши впускают врага в заранее подготовленную ловушку, чтобы потом встречными клиньями затянуть мешок, окружить ударную группировку. («В таком случае наш дот ломает весь замысел генерального штаба», — подал реплику с места Страшных, на что докладчик строго и убедительно ответил: «Разговорчики!») Второе: временный успех

врага на этом участке стал возможен благодаря внезапности коварного нападения и огромному превосходству в силах, чему каждый из нас был свидетелем именно на этом участке. Но долго это продолжаться не может. Красная Армия ответит ударом на удар и выметет врага со своей территории.

Тимофей считал более вероятным второй вариант.

— А еще я хочу сказать, — подчеркнул он в завершение своего доклада, — что лично у меня большие надежды на пролетариат Германии и покоренных ею стран. Я считаю, они просто обязаны подняться против коричневой чумы. Из солидарности с нами.

Жизнь в доте упорядочилась. Последние следы партизанщины были ликвидированы, когда Тимофей объявил, что входит в силу устав гарнизонной и караульной службы. Только Чапа не понял, что это означает, и вечером получил взыскание за отсутствие чистого подворотничка.

А потом и Сане Медведеву стало получше. У него обгорели лицо и руки; грудь тоже обожгло, но несерьезно. Лечили его по народному, предложенному Чапой рецепту: ожоги залили зеленкой и отправили загорать, мол, солнце и не такие хворобы врачевало. Рядом с входным люком в глубокой воронке ему разровняли место, постелили одеяло, и он лежал там лицом к солнцу, поворачивая руки то одной стороной, то другой и спускаясь в дот только по тревоге или к столу. Он не жаловался на боли, но по ночам, забываясь ненадолго в дремоте, начинал метаться и стонать. На четвертый день толстая кора на лице и руках стала лопаться. Саню заливал гной, и он наотрез отказался спускаться в жилой отсек, потому что запах от ран шел тяжелый, а он все равно не мог спать. Это продолжалось двое суток. На третьи он заснул прямо на солнце. Ребята думали, что это от изнеможения, но, когда он проснулся под вечер, оказалось, что почти все язвы затянуло, и с того дня дело пошло на поправку.

Четверо боеспособных — это было не густо. Дежурили по двое; люки, ведущие к пулеметам, держали открытыми — немцы окопались рядом, в любую минуту могли броситься на штурм. И хотя дни тянулись в тишине и покое, монотонные, усыпляющие, красноармейцев это ожидание не нервировало. Пограничники — они привыкли к дозорной службе, они могли ждать столько,

сколько бы потребовалось, и вполне вероятно, что, продлись это хоть целый год, не было бы минуты, когда враг застал бы их врасплох.

Дот и осаждающий его батальон — эта система устоялась, утряслась и на стороннего наблюдателя, быть может, произвела бы впечатление и естественности и стабильности. Но в том-то и дело, что ни естественной, ни тем более стабильной эта система быть не могла. Потому что — и Тимофей не забывал об этом ни на минуту — дот держал врага за горло, перекрывал важнейшую магистраль; другая дорога была несравненно хуже — однорядная, вся в выбоинах, с горбатым булыжником. А уж какой она гак выписывала по горам — о том и говорить не стоит. Но вот уж который день знойная тишина плыла над долиной, не нарушаемая ни единым выстрелом. Казалось, дот и осаждающая часть одни только и остались во всем мире. Ситуация была настолько неестественной и дикой, что даже в стойком сердце Тимофея поселилась смутная тревога, ожидание какой-то новой несообразности. Он не выдумывал страхов хотя бы потому, что был уверен в непродолжительности и этой тишины, и присутствия здесь немцев, но в его подсознании шла своя работа — и вот однажды приснился Тимофею сон.

Приснилась ему эта долина. Пейзаж весь выдержан в точности: и горы вокруг, и река излучиной, и шоссе блестит. И холм на месте, как положено. Вроде бы тот же, да не совсем. Вместо обожженного камня, вместо обнаженной, испепеленной земли — прекрасный луг с высокой жемчужной травой, со щедрыми июньскими цветами. И там, где надлежит быть доту, стоит рубленая изба-пятистенка, вся в резьбе по наличникам да перильцам. А он, Тимофей, сидит на высоком крылечке, форма на нем новенькая, отутюженная, держит для форсу папиросу «Казбек», хотя сроду не курил, и смотрит, как идет к нему через луг немецкий майор с белым флагом из салфетки. До него еще далеко, а зеркальные его сапоги словно под самым ухом скрипят.

Подходит майор, честь отдает. Как воюется, господин пограничник!.. Да ничего вроде, майор, не жалуемся... Понимаю. Может, в чем нехватку испытываете, недостачу, так сказать?.. Да вроде бы по всем пунктам порядок... Понимаю. А все ж позвольте сделать вам небольшой презент, господин пограничник. Сейчас мои

люди подойдут, так уж вы по ним, голубчик, не стреляйте.

Исчез майор — бегут через луг двое солдат немецких, носилки тащат, а на них ящик картонный с большими печатными буквами по-иностранному. Поставили носилки возле крыльца — и нет их. Спустился Тимофей, распечатал ящик, а в нем консервы всякие. Тут уж и братва из горницы высыпала: и Герка, и Чапа, и Саня Медведев, и красноармеец Страшных. Стали вокруг, баночками жонглируют — рады.

А уж перед крыльцом опять немецкий майор торчит, белый флаг из салфетки при нем, как положено, с пятки на носок покачивается, а зеркальные сапожки под ним рып-рып. Как презент, господин сержант?.. Употребительная штучка, майор, только вот компоту мало. Уважают мои ребята консервированный компот из полтавской вишни. Ну и мясца свежего не повредило бы... Понимаю, господин сержант, будет сделано. А еще бы лучше реестрик получить: чего вам желательно наперед и в каком количестве... Ладно. Реестрик сообразим...

И уж семенит на холм цепочка солдат с носилками, а сбоку от крыльца стоит крепыш фельдфебель в скрипучих ремнях и со струнами в горле, тот самый, что на собственной гранате кончился, пальцем отбивает каждые носилки, звякает горлом: фир!.. фюнф!.. зекс!..

А вот и майор опять. Сапожками скрипит, салфеточку крахмальную выразительно поглаживает. А что, господин сержант, не устроить ли нам шахматный турнир на пяти досках?.. Насчет пяти ты шалишь, майор. Кто ж будет тем часом службу нести?.. Понимаю... А сыграть, отчего ж, сыграть можно. Но не просто так, а на интерес... Понимаю...

И вот уж они сидят за шахматным столиком посреди шоссе. Уже осень. Зябко. Асфальт от времени потрескался, а из трещин трава лезет, и кусты растут, и даже осинка потянулась. По одну сторону шоссе залегли с пулеметами Герка, Чапа, Саня Медведев и красноармеец Страшных, а по другую сторону шоссе — тоже с пулеметами — фашисты. Тимофей сидит на стуле свободно, даже небрежно, смотрит, как нервничает майор, стиснул голову руками, сапожками под столом скрипит — думает. Вот наконец решился, переставил фигуры, говорит: рокировка. А Тимофей ему: хоть я

по-иностранному и не понимаю... — берет свою пешку, и — раз-раз-раз-раз — прыгая через одну по диагонали, бьет шашечным манером несколько фигур майора... — и в дамки!.. Но это же не по правилам, обижается майор... И в дамки, упрямо говорит Тимофей.

...Реальность опровергла этот сон, не дав ему даже завершиться. Герка разбудил:

— Товарищ командир, они ж под нас роют.

Что там у немцев произошло, сказать трудно. Очевидно, какая-то заминка случилась, потому что до этой ночи всю выработанную землю они вывозили, а тут рискнули сбросить ее в старицу, благо, вода была в нескольких метрах. Сделали они это в начале ночи, надеясь, что к рассвету муть осядет. Но с высоты рыжее облако на фоне темной чистой воды было видно достаточно ясно. На диверсию отправились следующей же ночью Тимофей и Ромка. Три фугасных снаряда они заложили у внутренней стенки блиндажа, от которого немцы копали свой ход. Над снарядами подвесили за кольцо противотанковую гранату, перекинув шнурок через специальную, изготовленную заранее из арматуры рогатку. Отползли на безопасное расстояние и дернули шнурок. Взрыв показался им неправдоподобно громким — они уже успели поотвыкнуть от пальбы.

А следующей ночью красноармейцы услышали долгожданную канонаду. Ее приносило изредка и очень глухо. Под утро она исчезла, но вскоре стала слышна гораздо явственней и ближе. Потом замирала еще дважды — и вдруг пропала совсем. Ее не было всю вторую половину дня и всю ночь, зато в батальоне было непривычное движение, блуждали огоньки, брязгало железо. А на рассвете немцы снялись и отступили к горам. Выйти на шоссе они так и не рискнули, шли обочинами, текли овражками. Тимофею очень хотелось сыпануть им на хвост, но приходилось считаться с тем, что осколочных снарядов у них осталось всего восемь штук, только на черный день. Живите, решил он, все равно вам далеко не уйти. Немцы перешли реку вброд и стали окапываться на том берегу, у входа в ущелье. Они спешили, но прошло еще несколько часов, прежде чем в доте услышали далекий рев моторов, а потом на востоке, перевалив горку, на шоссе появились советские танки: тридцатьчетверка и два Т-26. Командир головной машины оглядывал долину в бинокль. Снача-

ла его внимание привлекли брошенные немцами окопы и лишь затем — усеянный трупами холм и красный флаг над дотом. Вот уж чего, должно быть, он здесь никак не ожидал. Он заглянул внутрь танка, и тотчас же рядом с ним появился второй танкист, теперь они оба глядели на дот и на красноармейцев, которые сидели на куполе и кричали «ура!».

— Здорово, хлопцы! — закричали танкисты.

— О-го-го-го! — торжествующе неслось с холма.

— Крепко накостыляли, дышло им в печень!

— Кати, кати! Посмотрим, какой ты сейчас будешь хороший!

— А что, он близко?

— Сразу за рекой зарылся.

— Выковыряем!

— Счастливого пути!

— Счастливо оставаться!

Танки продвинулись почти до берега. Немецкая батарея встретила их огнем и заставила отступить. Они отошли почти на километр и рассредоточились, поджидая пехоту. Она появилась нескоро. Сначала это была небольшая группа бойцов. Пограничники обнаружили их случайно, так далеко они шли: они появились из-за дальних холмов и продвигались вдоль берега реки. Потом на дороге появился сразу целый взвод, а немного в стороне — подразделение автоматчиков: фланговое прикрытие; затем появились две роты. Когда они поравнялись с холмом, от них отделилась группа, человек около двадцати, и направилась к доту. Тимофей выстроил свой гарнизон и, когда старший группы, капитан, подошел к ним, доложил честь по чести, четко и коротко, как и положено по уставу. Капитан принял его рапорт с непроницаемым лицом. Опустив от фуражки руку, он сухо приказал:

— Сдайте оружие.

Это неприятно поразило Тимофея, но пререкаться он не стал. Сдал свой «вальтер» и автомат, то же сделали остальные. Прибывшие с капитаном красноармейцы окружили их и повели вниз под конвоем. Возле дороги капитан подошел к переносной радиостанции, и, когда он заговорил в микрофон, Тимофей с изумлением услышал немецкую речь:

— Господин майор, все в порядке. Можете приезжать.

Майор Иоахим Ортнер появился через несколько минут. Иронически взглянул на Тимофея и пошел к доту. Спускался он медленно. В нем появилась какая-то рассеянность, которая улетучилась, когда он опять увидел перед собой пленных красноармейцев. Его интересовал, впрочем, один Тимофей.

— Дот прекрасен, — сказал майор. — Будьте любезны, капитан, переведите, что сражались они выше всяких похвал.

Капитан перевел. Он видел, какое смятение терзает Ортнера, догадывался, что тот ищет утверждения в демонстративном благородстве, ждет ответной похвалы, признания превосходства хотя бы от этих солдат. Но психология не вызвала у капитана сочувствия. Будь его воля, он бы ограничил общение с красноармейцами одной автоматной очередью.

Иоахим Ортнер помедлил, взял Тимофея за борт куртки.

— Между прочим, в таком мундире, только генеральском, воевал мой дед.

Капитан опять перевел; опять его слова не нашли отзвука. Но только сейчас понял это Ортнер — когда Тимофей выдержал его взгляд спокойно и без напряжения, будто ничего не произошло... Ортнер еще раз взглянул на капитана, на красноармейцев, пробормотал: «Ну и черт с вами», — забрался в бронетранспортер и укатил.

20

Концлагерь был небольшой. Он был высоко в горах, на полонине; от западных и северных ветров заслоняли хребты, так что за месяц на фиалковом небе ни разу не образовалось даже небольшого облачка.

Четыре овечьи кошары стояли здесь давно, быть может, с прошлого века. Их вычистили за день, расчленили тесными трехэтажными нарами — и они превратились в бараки. В тот же день лагерь был обнесен колючей проволокой в один кол, невысоко и негусто: проволоки было мало, каждый метр на учете; но уже к середине июля ограда была двухрядной, на трехметровых столбах, и даже вышку с пулеметом успели поставить. Вряд ли комендант опасался появления в

столь глубокой дыре инспекции, а тем более начальства, но стремление выглядеть «не хуже других» было понятно.

Лагерь предназначался для заготовки ценной древесины. Леса подступали отовсюду, однако граница их проходила метров на триста ниже, а по дороге выходило в десять раз больше. Вечернее возвращение в лагерь было испытанием на выносливость.

На первый взгляд побег отсюда не представлял трудности, тем более что у охраны не было служебных собак. Но гитлеровцы с первого же дня ввели — как они сами ее называли — «прогрессивную систему», которая практически исключала побеги. Система складывалась из трех ступеней: «покой», «взаимовыручка» и «единство с народом». В основе лежала простейшая арифметика: за каждого беглеца расстреливались десять узников — кто подвернется под руку. Этим насаждался страх перед чьей-то активностью. И поощрялась подлость: доносчики выступали в личине благородных радетелей за жизнь своих товарищей; ведь предупрежденный побег автоматически сохранял жизнь точно определенному числу людей.

Эта ступень называлась «покой».

Если побег все-таки состоялся, репрессии не применялись сразу, пленные получали шанс избежать расстрелов, изловив беглецов собственными силами. В этом и заключалась «взаимовыручка». Узники отряжали в погоню самых доверенных, проворных и сообразительных. Гитлеровцы содействовали им транспортом и огневой поддержкой — по необходимости.

Наконец поощрялось и местное население («единство с народом»). За пойманного или убитого беглеца комендатура платила двадцать марок, за двоих — уже пятьдесят, за троих — целых сто марок!.. Еще не состояние, но, во всяком случае, весьма существенная сумма даже для крепкого хозяина.

Тимофей оказался в одном бараке с Чапой, их нары были рядом. Остальных видели издали — на построении и по дороге от лесосеки, но поговорить удалось лишь спустя несколько дней, когда изучили писаные и неписаные законы этого мирка и точно знали, насколько их можно без особого риска преступить. Медведев не беспокоил: сержант рядом — значит, он хоть сто лет будет ждать команды, слова лишнего не

уронит, шага в сторону не сделает. Зато Ромка в любую минуту мог сорваться с тормозов, дать ход своему донкихотству. И на Герку плохая надежда: с его инициативностью разве сладишь!..

Впрочем, обошлось.

Они были пограничниками — приучены терпению; приучены сколь угодно долго изучать противника; этим они и занимались без малого четыре недели.

В лагере контингент был постоянный, из взятых в плен в самые первые дни войны. Единственная свежая группа влилась в середине июля. Они были из-под Смоленска, где шло ожесточенное сражение. Выходит, гитлеровцы врали, что со дня на день возьмут Москву, до этого было еще далеко. Но и так их успехи ошеломляли. Пленные красноармейцы, как о всем известном факте, к которому сами они уже успели привыкнуть, рассказывали о захваченных Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии, Молдавии, о боях на дальних подступах к Ленинграду и Киеву. Это не укладывалось в сознании, но чем больше Тимофей думал об этом, чем подробней расспрашивал, тем вернее убеждался — так оно и есть.

— Скорого освобождения ждать не приходится, — сказал он товарищам. — Значит, здесь отсиживаться нет резону. Будем двигать к своим.

Удобного случая они не ловили — когда еще такой представится, и представится ли вообще! — просто в заранее определенный момент поодиночке просочились через оцепление, собрались в условленном месте и припустили что было духу через лес.

Тимофей прикинул: их хватятся самое позднее через полчаса; еще столько же времени загубят на организацию погони. За час мы уйдем далеко, рассуждал он, до шоссе доберемся, но вот достанет ли времени, чтобы транспорт какой захватить — вопрос...

Это зависело от удачи.

Красноармейцам не повезло.

На повороте шоссе они нашли удобное место для засады и подрубили подходящую ель, необыкновенно пушистую; сбрось ее на дорогу — и преграда покажется непреодолимой; на деле ее вполне могли сдвинуть два человека. Оставалось дожидаться одинокой машины.

И тут появились преследователи.

Еще недавно это были такие же красноармейцы, свой брат, с теми же солдатскими шутками, с той же мудростью жизни. Но плен изуродовал их души. Вступать в переговоры с ними было бессмысленно: раз они пошли на это дело, чем они лучше гитлеровцев? — быть может, даже хуже...

Но это была лишь часть погони, с минуты на минуту могли появиться остальные. К счастью, на шоссе показался бронированный вездеход. В нем не могло быть много врагов. Ель упала точно. Красноармейцы залегли в кюветах по обе стороны шоссе, и когда немцы выбрались из машины, расправились с ними.

Красноармейцев попытались задержать на первом же контрольном посту, но они были готовы к этому и не жалели патронов. И потом, пока вырвались из Карпат, они уничтожили еще три поста, и к рассвету следующего дня переоделись на всякий случай во все немецкое. На мосту через речку не было часовых — такой это был глубокий тыл. Но в доте обязательно кто-то должен быть, решил Тимофей: приметное место, для поста лучше не сыщешь. Они остановили вездеход у подножия холма, поднялись, ничуть не таясь, прямо к доту — и в упор перестреляли охрану. Потом загнали вездеход в тыл холма, к старице, и решили дождаться ночи.

Это был спокойный день. Они отдохнули вполне, только Чапа жаловался, что «спать було дуже погано: гостинец под боком, хвашистские машины як скажени ревуть». Они не собирались здесь задерживаться: взорвут дот и дальше на восток. Но одного они не учли — своей памяти. И когда прошла усталость и наступили минуты благодушия, и радость узнавания сделала все праздничным: и графическую четкость гор, и шоссе, и редкие машины, которые так красиво катили по нему, тогда они снова вспомнили, что красивенькие машины — это враг, а у них в руках — проверенное оружие...

Нет, они не собирались снова вступать здесь в бой, об этом пока и мысли не было. Это было прошлым, пронизанным сожалением о невозвратимости его. Оно тревожило, создавало неуют и неудовлетворенность и досаду на себя... Все же дальше этих смутных чувств не пошло бы, если б ситуация осталась прежней — нейтральной к ним. Но она вдруг изменилась.

Сначала этого не заметил никто. Но как бывалый шофер, даже специально не прислушиваясь, улавливает малейшую перемену в привычном гуле двигателя, так и они почувствовали несоответствие. И сразу поняли причину: еще недавно шумное шоссе опустело. Словно кто-то далеко в горах остановил движение. Безжизненное, белое на солнце шоссе как сверкающий меч рассекало долину.

Стало удивительно тихо.

Но не принесла покоя эта тишина.

От ущелья докатился приглушенный расстоянием рев моторов. Вот уже на мосту появился танковый дозор, вот и второй за ним, а следом и голова колонны втягивается в долину. Как в июне, как в тот самый первый день — темная скрежещущая масса: по серебристой ленте — лента стали.

Как тогда...

Все как тогда. Только тогда в доте было вдоволь и боеприпасов, и еды, и со дня на день должны были подойти свои — ударить с востока и погнать фашистов по этому шикарному шоссе на запад, аж до самого Берлина. И разве тогда кто-нибудь из пяти думал о подвиге? о смерти? Ударили больше от обиды, от бессильной ярости; больше для самоутверждения, и уж совсем не рассчитывая чего-то серьезного добиться, что-то большое совершить. Ударили, уверенные, что сами в любую минуту от ответного удара увернутся, выйдут из игры... Они ухлопали здесь врагов дай бог сколько — целое кладбище в долине появилось. А чего добились? И что изменится оттого, что вот сейчас, здесь, сегодня они пятеро убьют сколько-то фашистов? Что изменится там, на востоке, где в бесконечном далеке, в пятистах километрах отсюда, наступают фашисты? Наступают на юге и на севере...

Ничего не изменилось. И не изменится. Напрасны были их ратные труды, и героизм, и мука. Что б они ни делали — снова и снова будут выползать с запада эти стальные колонны.

— Я никого не неволю, — сказал Тимофей. — Время есть. Кто хочет — еще можно уйти.

Чапа облегченно перевел дух:

— Так шо, товарыш командир, наш запас звесный: восем осколковых, три ящика хвугасов, три ящика броневбойных. Те-те-те! — збрехав, товарыш командир.

Один ящик розтрощеный, там токечки три броневбойных снарядов, а вкупе — тринадцать.

— Их же немного, — сказал Саня. — Разрешите, товарищ командир, я сразу все подам наверх, чтобы помогать здесь.

— Разрешаю... Помнишь, Чапа, куда наводить? Сто метров за водостоком.

— Отож. Щасливе местечко. — Он вдруг снял наушники и повернулся к товарищам. — Стривайте, хлопцы! А знамя?..

Льется на долину тихое предвечерье. Мир и покой.

— Знамя будет.

Тимофей спустился в жилой отсек, нашел чистый комплект постельного белья, достал простыню и разорвал пополам. Все равно великовато... Ладно. Взял из пучка несколько прутьев арматуры и поднялся в каземат.

— Чапа, цыганскую иглу и дратву.

— Завсегда тутечки, товарыш командир.

Ромка едва дождался, пока Чапа наложит свой последний старательный стежок, вынул из-за голенища финку и легко, словно не в первый раз ему это приходилось делать, полоснул ею по левой руке выше запястья. Крупные капли тяжело упали на белую материю и лежали на ней, как ртуть. Казалось, они так и останутся лежать, не впитываясь, так и засохнут комком. Но затем по нитям поползло красное — и красноармейцы вздохнули облегченно.

— И все ты лизеш поперед батьки! — улыбнулся Чапа, поцеловал Ромку и подошел к командиру.

Флаг получился. Он был хорош.

Устанавливать его пошел Чапа.

— Не мав я у житти такой чести, щоб прапора мени довирылы, — сказал он. И с ним не спорил никто.

У них оставалось еще минуты три. Тимофей стоял возле амбразуры с закрытыми глазами, слушал Чапины шаги на куполе, тянул в себя воздух всей грудью и думал, какое это счастье — умереть за свою родную землю и как ему повезло, что он сам выбрал этот момент и сам выбрал это место, когда он здоров и счастлив, и рядом его друзья, и кажется ему, что стоит он на высокой-высокой вершине, выше некуда, и солнце обнимает его своим теплом...

Он открыл глаза и увидел колонию.

Что оии могут доказать мне? Ровиым счетом ничего. А нам пятерым что оии могут доказать? Ничего. Пусть оии наступают где-то — здесь им больше не пройти. Пока я жив, пока хоть один из иас жив, пока хоть одна виитовка стреляет — здесь они шагу вперед не сделают.

Пусть перед ними отступает весь мир — мы будем стоять. Даже одни в целом свете. Самые последние.

Лязгиул затвор пушки. Чапа доложил о готовности.

Тимофей увидел, что вдоль колоины мчится длинная открытая легковая машина, полная людей. Не иначе — командоваиие.

— Чапа, можешь накрыть легковушку?

— А мне одинаково.

— Давай. Только упреждение возьми точно.

Он ждал. Рано... раио... еще рано... Ну!

И тут сверкнул гром.

21

Подполковник Иоахим Ортнер, кавалер ордена Железного креста, был вызван с центрального фронта по специальиому запросу министерства пропагаиды. Встречу со съемочиой группой кинохроники назначили почему-то в Ужгороде, оттуда до места был не близкий путь, но подполковиик не спорил: прилетел в Ужгород и всем видом своим давал понять, что все хорошо, что характер у иего покладистый, и взгляды широкие, и улыбка киногеиичиая. Когда его сиимали, после каждой фразы он делал паузу и улыбался...

Через горы оии ехали долго. Все устали и не скрывали этого, только подполковник держался. Но, когда его деищик Харти сказал кииошиикам, мол, теперь скоро: от силы километра три — и они в долиие, режиссер заметил, что с подполковником творится неладное. Ортиер дышал тяжело, глаза были полузакрыты, на висках выступил пот. Режиссер встревожился. Сиять Ортиера иа холме ои должеи был энергичным и бравым.

— Вам плохо, подполковиик? — спросил ои.

— Нет, иет, иичего... сейчас пройдет... — Лицо

Ортнера стянула судорога, он делал очевидные усилия, чтобы зубы не стучали. — Харти! Плед.

— У меня есть коньяк, — решился режиссер.

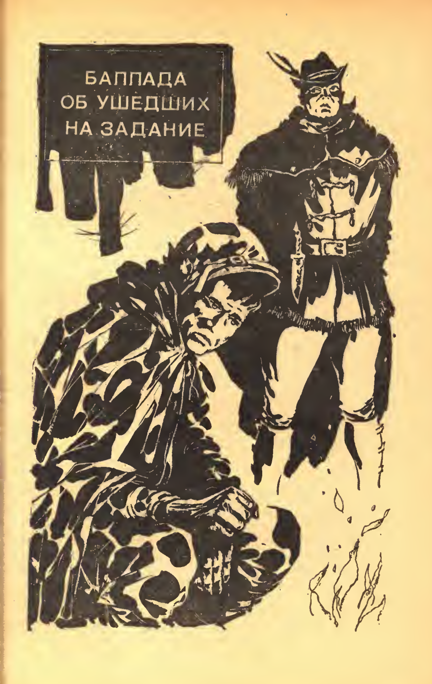
— Благодарю... не беспокойтесь... — Ортнер съежился под пледом. — Вы верите в кабалистику? В магические цифры?

— Как сказать...

— Понимаю. — Ортнер долго молчал, наконец решился. — Я в третий раз въезжаю в эту долину... Второй прошел незаметно: я прибыл с моим батальоном и ничего не почувствовал... А вот в первый раз было худо... так же холодно, как сейчас...

Голос Ортнера пропал, потому что они догнали танковую дивизию, которая двигалась в ту же сторону, и теперь уши забивал лязг, гром и скрежет. А ущелье уже раздавалось вширь. Вдруг кончились горы — и они влетели в долину. Почти не слышный, угаданный только по короткой тряске под ними пролетел мост через речку, а навстречу надвигался холм. Режиссер уже понял все без пояснений, колотил по спине оператора, влипшего лицом в камеру, и орал, пытаясь перекричать танки: «Курт! Это потрясающе! Это будут гениальные кадры. Держи проезд как можно дольше. Крупным планом: пушки, траки, гренадеры. И потом сразу панорамируй на холм...»

Они мчались вдоль танков, холм летел на них, сухой, обугленный к вершине, и дот сейчас был виден отчетливо, но только один Иоахим Ортнер понял, что маленькая, легкая тень над ним — это флаг. Он понял, что это означает, кто это может быть, и отчаяние придало ему сил. Он преодолел раздавившую его тяжесть, сбросил с плеч плед, вскочил и хотел закричать: «Нет! нет! нет!..» — и вдруг увидел, как из мрака амбразуры сверкнул орудийный выстрел. Иоахим Ортнер так хорошо знал эту вспышку, столько раз видел ее... Он закричал «а-а-а-а!» пронзительно и длинно. Каким-то неведомым чувством он понял, что целились в него, и выстрелили в него, и не промахнулись. Он кричал от предсмертной тоски, истекая куда-то в пространство этим криком, и, когда наконец настоящее пламя обволокло его и настоящая сталь пронеслась сквозь его податливое тело, он уже не чувствовал и не слышал этого. Он уже был мертв.


БАЛЛАДА
ОБ УШЕДШИХ
НА ЗАДАНИЕ





Но сначала о том, как они умирали. Их убивали пули. Их убивали пули и осколки гранат, из засады и при внезапной встрече, когда враги — вот они, рядом, в десяти шагах, когда уже ни спрятаться, ни отступить, и видишь цвет их глаз, и пегую щетину на подбородке, и во взгляде оторопь, и растерянность, и отчаяние, — а автоматы грызут и грызут в упор — в живот, в лицо — а вокруг тишина! а вокруг тишина! — только белые от пламени рыльца грызут и грызут в упор, и белые мотыльки огня оплавляют взорванное пулями сукно и гаснут, гаснут...

Их убивали пули, и тогда считалось — повезло парню, потому что недолго мучился, потому что редко кто из них так умирал. Потому что были у них иная жизнь, и судьба иная, и иные счеты со смертью. Потому что никто не видел их могил, и дождь не смывает сурик с их безымянных дощатых обелисков.

Потому что они были разведчики.

Да, сначала о том, как они умирали.

Ведь может случиться, что однажды придет и твой

час. Судьба явится тебе в лице командира дивизионной разведроты. Двадцатилетний старший лейтенант с испепеленными глазами, он будет медленно идти вдоль вашего серого строя, угадывая, кем восполнить образовавшийся после разведки боем дефицит. Заглянет и тебе в лицо, только выберет других. Но когда им, перешедшим в новое качество, он прикажет: «Разведчики, два шага вперед», — ты тоже сделаешь эти два шага. И вся прошлая жизнь уйдет далеко-далеко. У тебя останется только сегодняшний день и твое задание, и ты узнаешь, как шаги часовых отдаются прямо в сердце, и хрип рукопашной, и лай собак, которые идут по твоему следу. И однажды ты скажешь, что сможешь задержать их минут на десять, уж десять минут — это наверняка, и у тебя не станут оспаривать твое право, уйдут, чтобы выполнить задание, а ты пересчитаешь патроны и отложишь один, и заставишь себя не думать о том, что возможна осечка...

И настанет твой самый длинный день.

1

Масюра был раскрыт на второй месяц пребывания в разведшколе. Раскрыл его Язычник, преподаватель немецкого, который, впрочем, языку не обучал — это делали другие; он же подключался время от времени: «ставил» курсантам произношение. Язычником прозвали его курсанты еще довоенных выпусков за увлечение боготворчеством варваров. Сейчас об этом уже никто не помнил, но кличка держалась крепко, приобретя новую, этимологическую основу: язык — язычник. Это было понятно и приятно своей простотой.

Язычник был весь какой-то дряблый и нескладный, хотя таким он был не всегда. Прежде это был статный и довольно полный человек; однажды он пережил тяжелое потрясение и сдал в одночасье. С тех пор глаза его погасли, кожа на лице висела тонкими безжизненными складками, и даже в фигуре что-то сломалось, так что самый лучший костюм выглядел на нем ужасно.

После второго занятия с Масюрой он попросил начальника школы принять его. Кабинет генерала был узкий и неуютный. Двухтумбовый письменный стол, восемь стульев в серых парусиновых чехлах, ровнехонько

построенных вдоль левой стены (кресел в рабочих помещениях генерал терпеть не мог), — вот и все. Два сейфа в правой стене, над ними — портрет Сталина. Всю стену над стульями занимала огромная карта Германии, по которой специализировалась разведшкола.

Еще год назад в этом кабинете висела и карта Советского Союза — сбоку от генерала, рядом с письменным столом, очень удобно: чуть повернулся — и все отлично видишь. Но однажды в Комитете он увидел у своего бывшего курсанта — и тут же выцыганил ее — отпечатанную в Лейпциге карту, невероятно компактную: она вся умещалась на письменном столе, там и лежала теперь под листом плексигласа. Это был полиграфический шедевр, более подробной могла быть только двухверстка. Правда, разглядеть на ней что-либо можно было лишь через сильную лупу, но и в этом была своя прелесть. Лупа всегда лежала на столе, генерал купил ее по случаю в комиссионке на Арбате. Лупа была массивна, щедро закована в медь, с удобной медной же ручкой; стекло покоилось в оправе бесцветное, как вода в блюдце. Генерал редко брал ее в руки.

После ремонта генерал не велел вешать прежнюю карту на место, и первое время ему очень ее не хватало. Она была непритязательна и уютна; она была привычна; три года генерал отмечал на ней синими и красными угловыми скобочками все перипетии войны, утраченные и взятые населенные пункты. Теперь он к этому занятию охладел, может быть потому, что ему было жаль новой карты.

— Мне бы не хотелось, товарищ генерал, поднимать напрасную тревогу...

Они были знакомы много лет, причем знали друг друга довольно близко, так что Язычника не смущали ни чин собеседника, ни обстановка. Просто он все еще оставался глубоко штатским человеком, и потому, даже стараясь выразить какую-либо мысль коротко, должен был сделать хоть небольшой разгон.

— ...и я вовсе не стремлюсь узнать лишнее, хоть одним глазом заглянуть в вашу кухню. Помилуй бог! Мало ли что у вас на уме, что вы там готовите. Но если я вижу несоответствие, я должен предупредить, не так ли?

Добродушно улыбаясь, генерал кивнул.

— Я по поводу курсанта Масюры...

Он опять сделал паузу; и вдруг генерал понял, что видит перед собой преобразившегося человека. Да ведь ему еще нет и пятидесяти, подумал генерал, вспомнив, что вот таким же предстал перед ним когда-то моложавый профессор Кёльнского университета... Когда же это было? В тридцать пятом? Или даже раньше? В те годы профессор любил и умел одеваться, у него были элегантные светлые костюмы, один даже в крупную коричневую клетку, вспомнил генерал, очень броский был костюмчик. Но вот уже несколько лет он, как говорится, не вылезает из одной и той же тройки темно-синего бостона. Генерал пригляделся. Нет, костюм выглядел неплохо, нигде не потерся, не лоснился. Может быть, профессор заказал сразу два одинаковых костюма? Вряд ли. Значит, лицованный. Бостон неплох, довоенная работа, не то что нынешнее гнилье «мейд ин ингланд»...

— Как вам известно, товарищ генерал, на каждого курсанта я получаю карточку с данными о его родном языке, месте рождения и самых значительных географических перемещениях, если таковые были. Все это мне необходимо, чтобы заранее подготовиться к работе с курсантом. Когда «ставишь» человеку определенный диалект, не мешает сразу знать, что окажется лишним, а что пригодится.

— И что же Масюра?

— У меня в карточке написано, что он украинец из-под Дрогобыча. Есть венгерская родия. Учился в Кракове — вот вам и польская приправа.

— А на самом деле?

— Он немец.

Генерал вздохнул, потом вышел из-за стола и начал тяжело ходить по кабинету. Перед Язычником он мог не скрывать своих чувств.

— Второй случай, — сказал он наконец.

— Да. — Язычник улыбнулся. — Им не везет со мной.

— Очень неприятная история.

— Это еще не самый худший вариант. Вот если б он вышел от нас...

— Да-да, — генерал сел на место. — Расскажите подробней.

Он не спросил: «А вы уверены?» — хотя вопрос так и вертелся на языке. Если б Язычник не был уверен, он говорил бы иначе — другим тоном, другими словами.

— Я все понял еще во время первого занятия с ним. Задача моя была ясной: сделать его выученный немецкий естественным. Но не таким немецким, на каком говорят в Германии, а языком фольксдойчей, которые в Германии, может быть, даже и не бывали. Специалист угадает такого фольксдойча с первой же фразы. А со второй назовет его родину: Польшу, или Австрию, или Латвию... Значит, как я понимал, «легенда» Масюры должна была базироваться на его родных местах, но родной язык менялся: украинский на немецкий. Я приготовился к этой работе. А пришлось заниматься совсем другим.

— Он нарочно коверкал язык?

— Вот именно.

— Вам удалось определить, откуда он родом?

— Да. Он мой земляк.

— Из Кёльна?

— В Кёльне я только преподавал, а родился я на севере, в Ульцбурге. Это маленький городишко посреди Штормарна. — Он подошел к карте и легко ткнул пальцем. — Вот здесь.

— Небось болотистые места, сырые? — сказал генерал.

— Я их любил. — Язычник улыбнулся. — Десять лет я мечтаю вернуться туда, побродить по лесу, по берегу Пиннау...

— Скоро мы туда придем, и вы сможете это сделать.

— Я надеюсь. — Язычник сел на место. — Так вот, товарищ генерал, на первом же занятии я понял, что Масюра из этих мест. Но он уже давно там не был, наслоение привычки к славянским языкам у него очень сильное. Кроме того, как вы сами догадались, он язык коверкал нарочно. И наконец, эти ужасные бранденбургские согласные, которых он нахватался, очевидно, пока учился в Берлине!..

Он придвинул к себе листок чистой бумаги, правда спросив предварительно: «Можно?» — мало ли что могло оказаться на этом чистом листе, — и затем несколькими штрихами нарисовал треугольник, а в каждой из его вершин по кружочку.

— Славянская группа отпала сразу и безоговорочно. — Он зачеркнул накрест один из кружочков. — Но бранденбургские согласные, — во втором кружочке

появился вопросительный знак, — требовали специальной проверки. Так же как и мой родной северогерманский говор. — Третий кружок рассекло восклицательным знаком. — Ведь здесь тоже много тонкостей: фрисландские группы, гольштинские, нижнесаксонские... К сегодняшнему занятию я все это освежил в памяти, порылся в книгах. И вот вам мое окончательное заключение: этот так называемый Масюра родом из Штормарна, точнее — из Гамбурга. Горожанин. Я поймал у него типично гамбургский слэнг. А слэнг — это убийственная вещь, товарищ генерал. Ведь сам его не слышишь, а другому он как выстрел в ухо.

2

На следующий день в разведшколу прилетел подполковник Малахов Алексей Иннокентьевич — один из руководителей контрразведки 1-го Украинского фронта. Масюру рекомендовал он, ему и ответ держать. Не перед генералом, конечно; генералу Малахов не был подчинен никак. А вот в Комитете ему еще предстояло объясниться. Он знал, что разговор будет непростой, и звонок из Москвы подтвердил это: с ним говорили сухо, официально. Но то, что он прежде счел бы деловым тоном, теперь было знаком неминуемых перемен.

Впрочем, сейчас Малахов не думал об этом совершенно. Во-первых, потому, что не был честолюбив и карьера его не занимала; во-вторых, он был реалист, ум имел практический, склонный к конкретному расчету; всякие абстрактные эмпиреи были ему чужды. А здесь, в разведшколе, перед ним поставили именно конкретную задачу: «расколоть» Масюру, заставить его заговорить.

Выбор пал на Малахова не случайно: когда-то он работал в Гамбурге. Конечно, если поискать, нашлись бы еще люди, знающие Гамбург, по крайней мере, не хуже, так что срывать человека с фронтовой оперативной работы, быть может, и не стоило; но тех пришлось бы разыскивать, а дело не терпело отлагательств.

— Будь моя воля, Алексей Иннокентич, я б тебе за эту историю самолично шею накостылял, — вот едва ли не первые слова, какими генерал встретил Малахова. Такая у него была манера: с ходу сокращать

расстояние с собеседником, если он был, конечно же, младшим по званию или тем более штатским. С подчиненными, впрочем, генерал себе этого никогда не позволял.

Малахов на это ничего не ответил, не улыбнулся даже; смотрел холодно, как-то отчужденно.

Генерал почувствовал досаду. Но не на себя, — хотя это именно он взял неверный тон, — а на Малахова, который вел себя так, словно вся эта история и ее последствия, которые ему еще придется испытать, лично его не касались. Генерал ждал, что Малахов появится другим, по крайней мере стушевавшимся.

— Тебя познакомили с задачей?

— Так точно, товарищ генерал.

Все же генерал был человек справедливый. Он уже понял свою неправоту, но не извиняться ж ему было! — и не к лицу, да вроде бы и не за что.

— Брось ты эти церемонии, Алексей Иннокентич, — сказал он, не зная, как загладить неловкость. — Не первый же год знаем друг друга... — Он опять помедлил, и опять Малахов выжидающе молчал, и тогда генерал прямо перешел к делу: — Долго пришлось работать в Гамбурге?

Снова оплошность. Как всегда: если сделал ошибку и торопишься ее загладить — жди следующую.

Тут была тонкость: генерал вполне мог задать этот вопрос, а Малахов вполне мог уклониться от ответа, — если та операция оставалась еще закрытой. Или если бы Малахов захотел сделать вид, что она пока закрыта, — и нашел бы такую форму, чтобы унизить собеседника подчеркнуто уклончивым ответом. В такое неопределенное положение себя не стоило ставить, но сказанного не вернешь, и те несколько мгновений, пока Малахов по обыкновению не спешил с ответом, показались генералу тягостными.

— Точно сказать не могу, товарищ генерал. Это ведь были главным образом наезды...

Окно было за спиной генерала; он каждый раз вспоминал об этом, когда ему приходилось писать; кстати, из-за этого он и карандашами почти не пользовался. Зато целый день лица посетителей были в прямом свете, ни один нюанс не мог от него ускользнуть. Вот и сейчас он ясно увидел, как серые глаза Малахова потеряли цепкость, в них появилась отрешенность, слов-

но они заглянули в себя. Считает, понял генерал, и тут же услышал подтверждение:

— Но в общем года полтора набежит. Если ошибся, то не больше чем на месяц.

— Ничего себе наезды!..

Генерал засмеялся добродушно, как бы давая понять, что «меняет пластинку» и предлагает взять иной тон. Однако Малахов будто не заметил этого, а скорее всего — не принял; и тогда генерал вдруг осознал, что затеянный экспромтом психологический поединок проигран им вчистую.

К этой мысли еще предстояло привыкнуть.

Чтобы выиграть время, генерал потянулся к лупе, но не взял ее, забарабанил пальцами по плексигласу. Прерванный жест со стороны, должно быть, выглядел нелепо, но у генерала было убеждение, что люди, которые любят вертеть в руках предметы, не умеют сосредоточиться. Не хватало, чтобы подполковник подумал о нем что-нибудь в этом роде.

— Город хорошо помнишь? — спросил он наконец.

— Так точно, товарищ генерал.

— Где останавливался?

— Первое время в «Северной розе», на набережной Нордер-Эльбе.

— Знаю. Это в Альтоне, как раз напротив мола, где маяк и кончается Кельоранд?

— Так точно, товарищ генерал.

— Дрянь место.

— Поэтому впоследствии я перебрался в Альстердорф. Снял квартиру за умеренную плату. На втором этаже, со всеми удобствами. Правда, телефонный аппарат был один — на первом этаже, в аптеке, но по соглашению я мог им пользоваться в любое время. Хозяин дома был аптекарь, — пояснил Малахов.

— Если мне не изменяет память, Альстердорф — это и не город, и не пригород. Пустыри какие-то, да?

— Так точно. На другом берегу Альстера сразу за домами начинались пустоши. По-моему, очень милые места. Я там часто гулял, хотя осенью предпочитал кладбище в Ольсдорфе. Мне там было интересно.

— Ведь ты историк, — кивнул генерал, который хотел думать, что его отношения с Малаховым смягчаются. Но странное дело: глаза подполковника оставались

прежними; будто говорит один человек, а смотрит другой. — А почему именно осенью?

— Клены. Там и каштановые аллеи великолепны, и липовые, но осенью с кленами не сравнится ничто. Это было близко от дома, немногим больше двух километров, и дорога приятная — по берегу Альстера.

— Я вижу, тебя везде тянуло к воде, Алексей Иннокентич?

— Возле текущей воды легче ждать.

— Ага, — засмеялся генерал. — Она течет, и ты себе воображать начинаешь, мол, что-то происходит, движется. Приближается к цели. Верно?

— Так точно, товарищ генерал.

— И как же ты ухитрился в таком славном местечке — и за умеренную плату?

— Там было шумновато, товарищ генерал.

— Конкретней.

— Ну, во-первых, позади дома был большой завод; не вплотную, конечно, однако из моих окон заводской двор просматривался хорошо... а во-вторых, когда начинался северный ветер, идущие на посадку самолеты пролетали над самой крышей... Потому что за пустырем был Фульсбюттельский аэродром.

Генерал чуть кивал, рассматривая отражение Малахова на плексигласе. Там подполковник казался вырезанным из белого тонкого железа.

— Отлично, Алексей Иннокентич. Не обижайся за этот маленький экзамен. Профилактика. Одно дело — в бумажке написано, что ты знаешь Гамбург; бумажка — она все вытерпит... Хотелось самому убедиться.

— Позвольте вопрос, товарищ генерал?

— Знаю, что спросишь. Мол, зачем тебя с фронта вызвали, если я сам могу ходить по Гамбургу без поводыря. Правильно?

— Так точно.

— Это мистика, дорогой Алексей Иннокентич. Пыль в глаза. Никогда я в Гамбурге не был. И если б не я тебе, а ты мне стал задавать вопросы, ты меня немедля раскусил бы.

— Ах вот как...

— Да. К сожалению, только по книжечкам, по путеводителям, по фототеке кое-что освоил... Сколько дней тебе понадобится на все это дело?

— Три.

— Много, Алексей Иннокентич. Проси два.

— Я не могу с вами торговаться, товарищ генерал. Лишних дней мне не нужно. Я с ним поговорю только один раз. Но произойдет это на третий день.

— Так ведь и я не из любопытства прошу тебя провернуть это поскорее. Посуди сам: он у нас получает домашнее задание освоить родной город... Не Берлин, скажем, не Мюнхен и даже не Бремен, до которого, кстати, от Гамбурга рукой подать. — Генерал ткнул пальцем в карту под плексигласом, но ни он, ни Малахов туда не посмотрели. — Именно Гамбург!.. Что — это я тебя спрашиваю, Алексей Иннокентич, — должен при этом думать опытный разведчик?

Генерал ждал простого, единственного, по его мнению, ответа, но Малахов вроде бы не понял этого и молчал.

— Он решит, что раскрыт контрразведкой, — продолжил генерал, — и при первой же возможности даст стрекача.

Малахов улыбнулся одними губами.

— Надеюсь, товарищ генерал, вы ему не оставите такого шанса.

— Я тоже надеюсь. Но представь, чего это будет стоить!.. Уступи, Алексей Иннокентич.

— Не могу, — сказал Малахов.

— Но войди в мое положение...

— Нет... Я догадываюсь, какие вас ожидают трудности, товарищ генерал; действительно, без блокировки тут нельзя. Как говорится, береженого и бог бережет. Потому что нервы могут подвести кого угодно... Но вообще-то я уверен — ничего не произойдет.

— Полагаешь, он пойдет на риск?

— Для него это вовсе не риск, а единственный разумный выход. Получив приглашение к такой игре, которая идет почти в открытую, он правильно решит, что мы следим за каждым его шагом, что все щели перекрыты и его шанс скрыться практически равен нулю. Следовательно, ему остается надеяться, что все это прихоть случая. Дикое совпадение — и только... Если он действительно тот, за кого мы его принимаем.

Генерал вздохнул.

— Разумно... Хотя для меня это не более чем утешение: меры придется принимать все те же... Ну, будь по-

твоему, Алексей Иннокентич. — Засопев, достал из письменного стола скоросшиватель, бросил на плексиглас. — Это тебе. Личное дело Масюры.

— Узнаю...

— Для тебя приготовлена хорошая комната. Южная. С таким вот окном, — генерал кивнул себе за спину. — Вида на реку нет, но сквер отличный, и под самым окном две березы. Спать, правда, не очень удобно. Диван. Но тащить кровать — значит, привлекать лишнее внимание.

— Ничего. Обойдусь.

— Я так тоже думаю. Все материалы по Гамбургу там. И кинопередвижка установлена. Дать киношника в помощь?

— Спасибо, товарищ генерал. Сам управлюсь.

— Тем лучше. Кстати, подполковник, надеюсь, ты уже дал своим людям задание еще раз прощупать всю легенду Масюры?

— Если не возражаете, пока наши подозрения не доказаны, будем называть это биографией.

— Охо-хо! С тобой непросто работать, Алексей Иннокентич.

— Покажите, с кем работать просто, товарищ генерал.

— Как я понимаю, ты этого не сделал?

— Так точно.

Генерал уперся в Малахова тяжелым взглядом, который, впрочем, подполковник выдержал спокойно; и генерал не стал спешить высказывать все, что он по этому поводу думает.

— Объяснитесь.

Впервые за сегодняшний день он обратился к Малахову на «вы». Очевидно, то был дурной знак.

— Шесть недель назад, перед тем как рекомендовать Масюру в вашу школу, нами было сделано все возможное, чтобы установить его прошлое. Вы знаете, как это трудно на оккупированной территории. Некоторых учреждений не существует вообще, людей разбросало, да так, что следа не отыщешь. Многие свидетели погибли. А из живых слова не вытянешь: боятся. Боятся провокации. Боятся говорить правду и боятся лгать... Каждая справка из сейфов оккупационных властей добывается со смертельным риском, а разве проверишь, сколько в ней правды?..

— Мне все это отлично известно, подполковник. Но трудности — не оправдание.

— На полную перепроверку понадобилась бы неделя. В лучшем случае. А если считать реально, так и в две не уложились бы.

Взгляд генерала вдруг посветлел.

— Подозреваю, Алексей Иннокентич, ты что-то все-таки придумал, — сказал он. — Чего тянешь? Выкладывай.

— Сейчас проверяются уцелевшие гологорцы.

В Гологорском партизанском отряде началась лесная жизнь бывшего учителя Масюры. Осенью сорок третьего года, в самый разгар танковых сражений за Правобережную Украину, за Киевщину и Житомирщину, отряд был окружен в каких-нибудь полутораста километрах от фронта. Операцию проводили части дивизии «Бранденбург-800» при содействии прошедшего переформировку в этих местах пехотного полка. Гологорский отряд был уничтожен весь. Уцелели только пятеро разведчиков, да и то лишь потому, что еще до окружения ушли с заданием в Золочев. Потом они влились в отряд Крайнего, с которым гологорцы поддерживали постоянную связь и даже провели несколько совместных операций.

Масюра был одним из разведчиков. Работал он обычно в немецкой форме. При этом дело не ограничивалось переодеванием. В немецкой форме он преображался весь: он перестраивался психологически, даже взгляд его становился иным. Если к этому добавить смелость и находчивость, легко понять, почему им заинтересовались в самой Москве.

— Это те четверо, что вышли с ним на Крайнего? — переспросил генерал.

— С тех пор прошло почти восемь месяцев, — сказал Малахов. — Их осталось трое.

— Черт возьми, а у тебя здорово варит котелок! — воскликнул генерал. — Не обижайся, Алексей Иннокентич. Может быть, это грубовато... Но ты молодчина! Не обижаешься за котелок?

— Ничего.

— Нет, право же, перетряхнуть эту группу — прекрасная мысль! Я понимаю немцев. Запусти одного человека — не миновать ему нескольких проверок. А группу поди проверь! Это же работа для большого спецот-

дела! Ясно, что никто этим не занимался, ограничились проверкой делом. И что же в результате? — генерал загнул мизинец. — Сначала погорели гологорцы, а наш герой тем временем отсиделся в Золочеве, чтобы, упаси бог, под свою же пулю не угодить. Затем подставил под удар Крайнего, — генерал загнул безымянный палец, — правда, этих бригада имени Довбуша выручила. А где был в это время Масюра?

— Во Львове, — сказал Малахов, разглядывая фотографию в личном деле.

— Правильно. А те четверо?

— Мне это должны сообщить уже сегодня.

— Бригаду имени Довбуша он не успел подставить под удар?

— Не успел. Если только кого-нибудь он вообще подставлял под удар, — сказал Малахов.

— Опять ты за свое, Алексей Иннокентич. — Генерал старательно подавлял досаду в голосе. — Но если все-таки он... На кого надеешься выйти через него?

— Очень хочу... нет — уверен! — выйдем на фон Хальдорфа.

Генерал засмеялся:

— А ведь и я об этом проклятом бароне думал! Район вроде бы в стороне, но манера... стиль... школа... его! — Генерал вышел из-за стола и начал ходить по кабинету. — Даже не верится, такая это была б удача, а? Это ж два года скоро, как он исчез. И вдруг этот Масюра! Вот уж действительно: не было счастья, так несчастье помогло. Тьфу! Даже думать боюсь, чтоб не сглазить... — Он опять уселся перед Малаховым, который за все это время, кажется, так и не поднял головы ни разу — разглядывал фотографию. — Да ты меня и не слушаешь, Алексей Иннокентич...

— Слушаю, товарищ генерал.

— Далось тебе это фото!

— Других нет, конечно?

— Ну, там еще фас и профиль. А больше нет.

— Жаль. Попадаться ему на глаза раньше времени мне нельзя никак. А я б его понаблюдал!.. Человек он очень непростой. — Малахов чуть отодвинул скоросшиватель, глянул на фото как бы искоса. — Хотел бы я знать, о чем думает, перед тем как уснуть. Или проснувшись посреди ночи.

— Да ты романтик, я вижу.

— Не знаю. Давно не думал об этом. Может быть, вы и правы. Если не сломался... Но это делу не помеха, не так ли?

— Надеюсь.

— И суть не в том — романтик или реалист. Просто я хочу выиграть эту партию. Я должен ее выиграть. А для этого должен понять его. Этого Масюру.

Малахов вдруг резко захлопнул скоросшиватель и живо взглянул на генерала. Что-то еще придумал, понял тот.

— Товарищ генерал, есть идея. Правда, предупреждаю сразу: для выполнения трудная исключительно.

— Ты покороче, Алексей Иннокентич, без психологической обработки.

— Хорошо. У вас найдутся курсанты, которые бы специализировались на тайном фотографировании?

— Курс проходят все, но специально только для этого мы людей не готовим.

— Поставлю вопрос иначе: у вас есть люди, особенно преуспевшие в фотоохоте?

— Конечно.

— А что, товарищ генерал, если я попрошу эти трое суток снабжать меня фотограммой, эдаким специфическим фотодневником Масюры? О съемках он не должен подозревать, иначе все теряет смысл. И чтобы каждый из снимков имел точное обозначение времени.

— Ну и ну! — генерал даже крякнул. — Знаешь, Алексей Иннокентич, есть у поляков такая поговорка: что занадто, то не здрово.

— Слабо́, значит?

— Не подначивай, — остановил генерал. — Тут самолюбиям голоса нет. Дело серьезное... Тебе это очень нужно?

— Посудите сами: по этим фотографиям, если повезет, я у него могу выиграть еще до начала нашей встречи... Но если опасность, что ваши ребята его вспугнут, так велика, то лучше уж совсем не надо.

— Нет-нет, — сказал генерал, — это занятная идея. И работа интересная. — Он тяжело хлопнул правой ладонью по столу. — Для такого дела — вдруг и в самом деле на фон Хальдорфа выйдем! — надо сделать.

3

Малахов надеялся, что еще до ужина с первой частью работы будет покончено: он просмотрит гамбургский материал, наметит ловушки, и затем эти книги, карты, альбомы и кинопленки будут возвращены в специально отведенный для таких занятий кабинет, чтобы Масюра, получив контрольное задание, мог с этим же материалом поработать.

Поначалу все складывалось неплохо, и Малахов был доволен тем, как дело движется. Но в какой-то момент он вдруг понял, а скорее всего это был голос интуиции: предчувствие, что он подходит к делу слишком облегченно, даже формально; что эту работу следует делать совсем на ином уровне: глубже и коварней. Тогда он оставил все, лег на диван и попытался понять, откуда в нем эти сомнения и как определить уровень, на котором должна быть проведена работа, поскольку, будучи человеком практического склада, уважал и время свое, и труд, тем более умственный.

Ровно в восемь в дверь постучали. Алексей Иннокентьевич вспомнил, что заперто, крикнул: «Минуточку!», надел китель, застегнул его на все пуговицы и лишь затем, повозившись с незнакомым замком, отпер дверь и посторонился, пропуская девушку в коротеньком фартуке поверх формы. Перманент ей не шел; к тому же волосы были безнадежно погублены перекисью.

— Прошу вас, сержант, — пробормотал Алексей Иннокентьевич, только сейчас ощутивший, как он голоден. Он с удовольствием оглядывал плывущий через комнату поднос. Первое и второе были в металлических судках, закрытых крышками, однако аромат свежего борща с петрушкой и укропом, дух чуть прихватившегося корочкой жареного мяса — их не могли удержать никакие крышки. Но украшением подноса, конечно же, было маленькое берестяное лукошко, полное свежевымытых, тускло блестевших черешен.

— Куда поставить поднос?

— Пожалуйста, поставьте на диван, — заторопился Алексей Иннокентьевич. — Я сам уберу со стола и устроюсь... И где ж вы такую черешню замечательную достали?

— Привезли. — Девушка скользнула к двери. — Приятного аппетита.

Словно никто и не входил.

В коридоре был дневной свет, и лишь теперь Малахов заметил, что сидит в зашторенной комнате при электричестве, хотя в данную минуту никакой нужды в этом не было. Он выключил свет, поднял штору и открыл окно. Ему в лицо повеяла какая-то особенная свежесть, еле уловимо горчившая березами и чуть сыроватая. Значит, был дождь, а я и не услышал, подумал Алексей Иннокентьевич. Сбоку из-под березовых ветвей пробивалось вечернее солнце; оно растекалось по оконному стеклу, но уже не слепило, а только отсвечивало, как ртуть.

Малахов ел не спеша. Он слушал, как шумят листья, как где-то рядом, за углом дома, играют в волейбол через сетку; и хотя он пристроился лицом к окну, смотреть на березы ему быстро наскучило. Я разучился наблюдать природу, подумал он без сожаления. Я очень многое разучился делать за последнее время, думал он. Может быть, я уже совсем нищ и даже не подозреваю об этом?.. Но он-то знал, что это не так, и развеселился. Все складывается хорошо, говорил он себе, прямо-таки отлично. Ну, не вышло с первого захода, ну и что? Бывает! Все будет хорошо! — и он по-мальчишечьи морщил нос и все поглядывал через плечо на большой портрет Масюры — увеличенную фотографию из личного дела, — приколотый кнопками к стене рядом с экраном для кинопроектора. Портрет был очень внушителен, если прикинуть на глаз, приблизительно метр на семьдесят. Где они достают такую фотобумагу, вот что я хотел бы знать, посмеивался Малахов. Впрочем, с их возможностями...

Когда с ужином было покончено и пришел черед черешне, он перебрался с лукошком на подоконник, благо внизу не было дорожек, — плюй себе на газон, сколько душа пожелает. Однако эту позицию пришлось забраковать. Во-первых, здесь могли его заметить со двора, а это было нежелательно. Во-вторых, с этой точки портрет Масюры был невыразителен.

Малахов вернулся к дивану.

Диван был коротковат, но валики откидные, и кожа почти новая, еще не пахнущая ничем, кроме дубильных веществ; и новые пружины в меру жестковаты. Алексей Иннокентьевич вытянулся на нем, поставил лукошко на пол и стал смотреть на портрет.

Это будет непросто, с удовольствием думал он. Партнер хорош. Это будет очень непросто.

Правда, память тут же постаралась все испортить. Ты опять увлекаешься, сказал он себе. Опять ты надеешься встретить что-то необычное, настоящее — противника, победа над которым тебя поднимет на какую-то ступень. О-ха! Сколько раз это было! И опять он окажется наемным ландскнехтом или банальным фанатиком, в общем, одним из серии тех людишек, которые движутся не собственной волей, а куда дернет ниточка невидимого кукольника. Сколько раз ты гнался за синей птицей, а стоило ее поймать, она оказывалась вороной. Вот увидишь, так будет всегда, так что не обольщайся, не вкладывай в это дело сердца — ни к чему такие затраты; потом ведь будешь жалеть...

Масюра смотрел мимо Малахова — чуть выше и в сторону, «на птичку». Правильный нос, правильный рот и подбородок; и глаза обычные, без приметного разреза, не запавшие и не выпуклые, и уши самые заурядные. Ни единой приметной черты, разве что все чуть-чуть мелковато. Не исключено, впрочем, что кто-нибудь находит его даже красивым.

Портрет молчал.

«Прочитать» его, заставить его заговорить было бы задачей исключительной трудности даже для профессионального психолога. Но Малахова это не пугало. Не впервой! Только не нервничать и не спешить, смотреть и думать, и тогда настанет минута, когда портрет заговорит, может быть, даже окажется болтливым, так что и удержу ему не будет.

Не спешить. Смотреть и думать. Все придет в свое время.

Алексей Иннокентьевич немного повернул голову. На той стене, где было окно, висели еще два портрета Масюры, с другого листа личного дела, фас и профиль. Но это были молчальники; с ними возиться — только время губить.

...Когда девушка вернулась за посудой, окно уже было снова зашторено, а на экране только что погасли кадры железнодорожного моста через Зюдер-Эльбе; съемка производилась с поезда, шедшего со стороны Харбурга на остров; слева был отлично виден автомобильный мост; сейчас Малахова интересовал именно

он, поскольку других его изображений среди наличного материала, кажется, не было.

— Я могу у вас попросить, — сказал Алексей Иннокентьевич, — электроплитку, чайник и, конечно, пачку чаю?

Малахов уже примирился с мыслью о предстоящей бессонной ночи. Сколько раз бывало с ним так: приступая к очередной работе, он полагал сделать ее легко и быстро; ведь все знакомо; дело, как говорится, только за техникой. Но стоило начать... появлялись занятные идеи, какие-то параллельные, неожиданные ходы; он начинал вживаться в новый мир, и чем лучше ему удавалось это, тем больше он видел вокруг. Тем неохотнее потом он расставался с этим миром, а это было неизбежно и происходило в момент принятия решения. И Малахов оттягивал всегда такой момент до последней минуты, что свидетельствовало не столько о нерешительности его характера, сколько о том, что он типичный теоретик и для него мир воображенный (который тем не менее был конкретен и достоверен в каждой своей детали; беспредметные абстракции, всякие «если бы да кабы» Малахов, как уже было сказано, терпеть не мог) гораздо богаче и полнокровней реального, потому что в воображенном мире могли существовать одновременно все варианты, не подавляя ни одного нюанса, не заглушая ни единой краски. А в мире реальном надо было выбрать что-то одно, причем не обязательно самое интересное и красивое, а только самое вероятное, самое практически возможное.

Правда, из этого не следует делать вывод, что, увлекаясь анализом, он забывал о цели — победе над реальным конкретным врагом. Нет! Об этом он помнил каждую минуту. Но как раз потому, что перед ним был не просто противник, а именно смертельный враг, Малахов не желал оставлять ему ни единого шанса.

«Добросовестность когда-нибудь тебя погубит, Алексей Иннокентич!» — смеялись товарищи по отделу. Но именно ему всегда доставались самые сложные дела.

Вот и на этот раз повторилась обычная история.

Еще в дороге он составил план действий. Два с половиной часа понадобилось, чтобы просмотреть весь наличный материал, причем Малахов уже знал, что

именно ищет. Второй прогон занял только пятьдесят минут. Малахов наметил четыре узловые точки, где можно было ставить ловушки. Еще час понадобился, чтобы эти ловушки разработать и замаскировать.

Все?

Это было в седьмом часу. Оставалось сообщить генералу: я готов. Материал был бы возвращен в кабинет. Масюра получил бы задание, а ему оставалось бы ждать... и пока Масюра работает, уж сутки-то можно было вполне безболезненно выкроить, чтобы махнуть в Москву. Никаких особых дел в Москве у Малахова не было — ни близких знакомых, ни памятных для него личных мест; и прежде он даже удивился бы такому желанию — столица никогда не вызывала у него теплоты, он ее не чувствовал, не попадал в ее ритм, и потому, быть может, она его быстро утомляла. Но сейчас, во время войны, что-то изменилось в его отношении к Москве. Если прежде она была для Алексея Иннокентьевича просто огромным нескладным городом, то теперь стала больше символом, и, когда он произносил «Москва», что-то теплело в его груди, и он думал — «Родина», и не удивлялся этому, потому что знал: так сейчас ее воспринимают все, каждый русский.

Ничего он не стал докладывать генералу, и вариант поездки в Москву только промелькнул на миг в сознании и тут же растаял без следа, такой он был несвоевременный и нереальный.

Так что же произошло?

Ровным счетом ничего.

Однако сделанная работа не принесла ни удовлетворения, ни чувства освобождения, которое возникало обычно, когда выложишься весь, сделаешь все, что только было в твоих силах, и видишь в конце: получилось...

Этого чувства не было.

Он знал, что сделал все правильно и добросовестно, но стоило ему взглянуть на портрет Масюры — и уверенность пропадала. Голыми руками хочешь взять, издевался он над самим собой, расхаживая из угла в угол. Без мозолей, без головной боли, не изведясь над этой задачкой. Голыми руками!.. А ведь Масюра будет бороться с тобою, драться за свою жизнь! Уж он-то подготовится к этой драке хорошо, а ты надеешься провести его на мякине?..

Вот в чем дело: перед тем как поставить на крайнюю линию Масюру, ты должен выйти на эту линию сам. Считай, что Масюра разгадает твою игру сразу и будет готовиться соответственно. Выдержат твои четыре ловушки его сорокавосьмичасовую контрподготовку?..

Малахов надеялся, что выдержат. А должен был знать это точно. И потому ответил: нет.

Генерал его не беспокоил. Спасибо. Тактичный человек.

Во время передачи последней сводки Совинформбюро незнакомый майор принес телеграмму и несколько свежих фотографий Масюры. Фото были завернуты в газету — такие же огромные, еще теплые от электроглянцевателя. В телеграмме сообщалось, что во Львове в указанное время Масюра находился с тремя партизанами; в Гологорском отряде прежде воевал лишь один из них, Андрей Назаренко. Все гологорцы взяты под стражу. Расследование пока не дало результатов.

— Я завтра составлю ответ, — сказал Алексей Иннокентьевич майору, старательно запер за ним дверь, налил в кружку горячего чаю и расставил на диване, прислонив к спинке, фотографии Масюры. Потом выбрал место, откуда все они были видны одинаково хорошо, уселся на стуле, закинув ногу на ногу, и, прихлебывая чай, стал изучать портреты.

Про чай он забыл почти сразу.

Ну что ж, дела обстоят хуже, чем ты предполагал, подумал он вскоре. Посмотри, сказал он себе, какое у него везде одинаково неподвижное лицо. Ну ладно, когда человек сидит перед фотоаппаратом, это понятно и легко объяснимо. Перед фотографом человек напрягается и поневоле, и сознательно. На фотографии он хочет выглядеть таким, каким нравится самому себе. Или думает, что так производит наилучшее впечатление на других. Он столько раз видел себя в зеркале, верит зеркалу и с готовностью принимает его советы. Он привычно напрягает мышцы своего лица и старается придать ему выражение или задумчивости, или решительности, или меланхолии, или удали. Мало ли кому что по вкусу. И если человек даже в самом деле умен, он редко проходит этот искус с безразличием к результатам. Ведь и умные люди имеют комплексы, сколько угодно комплексов, пожалуй, даже больше, чем дураки. Но не смешно ли это, когда умный человек

хочет выглядеть на фотографии непременно решительной личностью или красавцем?..

Ну хорошо, когда Масюру снимали для личного дела, предположим, он сознательно делал «никакое» лицо, рассуждал Алексей Иннокентьевич. Но когда снимали его сегодня, он об этом и не подозревал. А лицо такое же неподвижное и невыразительное. Ничего на нем не прочтешь — ни мысли, ни эмоций. Или, может быть, это просто совпадение, и фотограф, снимавший, конечно же, не тогда, когда ему хотелось, а только когда удавалось сделать снимок, выбирал неудачные моменты?..

Удивительное лицо.

Ну ничего, думал он, еще двое суток моя коллекция будет увеличиваться. Посмотрим, как долго продержится Масюра.

Однако не только это тревожило Алексея Иннокентьевича. Было еще одно тончайшее, еле уловимое, звеневшее как комар, но комар настырный. От него отмахнешься, думаешь — все; глядь — уж опять зудит над ухом. Точно так кружило вокруг него и не давало покоя странное чувство, что лицо Масюры ему знакомо, что он уже где-то видел это лицо — давно, раньше.

Сейчас Алексей Иннокентьевич уже не мог припомнить, когда это чувство появилось впервые. Осознал он его уже здесь. Осознал — и отбросил за ненадобностью, так все было ясно. Масюру он действительно видел раньше, и не только на фотографии. Он и беседовал с Масюрой несколько раз — в контрразведке фронта, привык к его лицу; в таких случаях представление о времени становится расплывчатым, появляется чувство, будто знал лицо человека чуть ли не всегда...

Это объяснение удовлетворило Алексея Иннокентьевича, но покоя не принесло. Я где-то видел это лицо, продолжал думать он, я где-то его видел...

Может быть, это был просто психический феномен? Ведь сколько случаев описано, например, как человек приезжает в незнакомый город, идет по улице, чувствует, что он когда-то уже был здесь, шел вот так же и все то же самое с ним в точности происходило...

Если мне не изменяет память, думал Алексей Иннокентьевич, ученые объясняют этот феномен несовпадением скоростей электрических сигналов в полушариях мозга. В каком-то сигналы идут быстрее; и, когда

в другом они тоже достигают цели, оказывается, что на финише результат уже известен. Если это действительно так и если это мой случай, тогда все просто. Знать бы наверняка!..

Но Алексей Иннокентьевич искал объяснение попроще. Он верил, что истина всегда проста, подразумевая под простотой математическую ясность. Скажем, закон витка спирали — это просто и ясно. И синусоида, которая описывает каждый день человеческой жизни, и каждый год его, и всю жизнь вообще. А законы механики — что может быть яснее! — например: действие всегда равно противодействию. Прекрасно!..

А может быть, разгадка еще проще? Что, если она в самом лице Масюры: таком обычном, таком заурядном, что мимо пройдешь — и не заметишь, и наверняка за свою жизнь уже десятки раз проходил мимо похожих на него людей?..

Алексей Иннокентьевич был бы рад принять и эту версию, как и любую другую, при условии, что она удовлетворила бы его. Да вот беда: она не находила в нем отзвука. Он прислушивался к себе... Нет, не то! Я все-таки где-то видел именно его — Масюру!..

Тогда он стал вспоминать, не было ли у него такого же ощущения еще на фронте. Было, сказал он себе. Что-то промелькнуло тенью, еле уловимое. Однако сразу не придал этому значения, а вот теперь поди расхлебай. Сколько он учил себя следить за своей реакцией на людей, на события, на информацию; прислушиваться к себе, к интуиции, которая незримыми путями могла вдруг соединить вещи невероятно далекие. Но это следовало ловить в первое же мгновение, пока паутинка не только жива, но и ярка и убедительна. Именно в первое мгновение, потому что в следующее вступал в действие ум; он немедленно начинал анализировать, препарировать, и уже через минуту от паутинки не оставалось ничего, кроме удивления, как могла такая чушь прийти в голову.

Я так и не научился верить себе, думал он. Факты, только факты. «Добросовестность тебя погубит», — еще раз вспомнил он и засмеялся.

Предположим, во время наших бесед в контрразведке это чувство уже сидело во мне. Где я видел его до этого? На аэродроме, когда встречал «дуглас» из немецкого тыла. Еще раньше — на фотографии в доку-

ментах, пришедших из бригады имени Олексы Довбуша... Тебе что-нибудь сказала та фотография?..

Ему даже напрягаться не пришлось. Нет, решительно отрубил он. Если бы появилось такое подозрение — хоть чуть-чуть, хоть на миг, — Масюра никогда не прошел бы мимо тебя в разведшколу. Значит?..

Значит, узнавание, если только оно было, если только это не мистика, произошло только сейчас, сегодня, когда увидел, а точнее говоря, насмотрелся на фотографии Масюры.

Да, тут не исключено самовнушение. Еще бы: его подозревают — и я об этом знаю, я уже привык к этой мысли; ищут доказательство его гамбургских корней — а я ведь жил в Гамбурге, и я уже думаю: не там ли мы встречались?..

Он вдруг вспомнил без всякой видимой связи, как генерал обмолвился в разговоре: «Ведь ты историк». Откуда ему это знать? Очень просто: и твое личное дело тоже запросили, и, может быть, опять — в который уже раз — перебирают по косточке. И когда ты будешь экзаменовать Масюру, это будет и тебе экзамен, и на это нельзя обижаться — такая работа. Ведь если окажется, что Масюра и впрямь оттуда...

Малахов допил холодный чай, заварил прямо в кружке свежего, опять уселся перед расставленными на диване фотографиями.

Добросовестно сделано, в который уже раз подумал он. На широкую пленку, микрозернистую. И телевик у этого мастера хорош, вон как детали прорисовывает!

Между прочим, эти фотографии отличались от первых трех тем, что на них были ясно видны шрамы на лице Масюры. Шрамы не уродовали Масюру, а придавали ему мужественности. Он их получил год назад, еще в Гологорском отряде, в схватке с жандармской засадой. Как потом рассказывал Масюра, впечатление было такое, словно граната разорвалась перед самым лицом. К счастью, в их отряде был хирург, о котором еще до войны ходили легенды. Сколько раз его звали на Большую землю!.. Он не удовлетворился тем, что вынул все осколки. Масюра трижды лежал на его операционном столе, результаты — вот они: на обычных фотографиях из личного дела шрамы еле-еле угадываются. Правда, в стоявшей перед Малаховым се-

рии они были видны неплохо. Словно фотограф нарочно ловил такое освещение, чтобы они выглядели рельефней...

А что, если неподвижность лица Масюры объясняется натяжением кожи на шрамах?

Как просто. Очевидно, так и есть. Но это еще надо проверить. Однако есть вопрос и поинтересней: сможет ли сейчас хирург — хороший хирург, специалист по этим делам, — определить места попадания осколков? Как бы не случилось услышать, что никаких осколков там не было и в помине!..

Малахов засмеялся — экие фантазии иногда в голову приходят! — потянулся так, что хрустнуло в плечах, и вернулся к столу, к гамбургским материалам. В четвертом часу утра была готова еще одна ловушка, стоившая, впрочем, остальных. Она была удивительно проста, но обойти ее мог только человек, предварительно предупрежденный. Или же действительно ни разу не бывавший в Гамбурге. Для этого пришлось из двух кинопленок (но только там, где это позволяли монтажные склейки) вырезать по нескольку метров, одну маленькую книжечку изъять из материалов совсем; предстояло еще избавиться от двух фотографий в большом юбилейном буклете (на обложке потребуется сделать инвентаризационную запись о недостаче, заверенную подписью и печатью, чтоб комар носа не подточил!) и залить тушью цветную иллюстрацию в ганзейском альбоме, но элементарная порядочность требовала для этого надругательства визу генерала.

Малахов погасил свет, открыл штору и окно и долго сидел на подоконнике, глядя, как светает. Потом он почувствовал, что его как будто отпустило, но осталось ощущение внутренней пустоты. Долг был исполнен, и можно было с чистой совестью ложиться спать. Конечно, поспать сейчас было бы славно, думал Малахов, сидя уже спиной к окну, лицом к дивану, где все еще стояли рядком фотографии. В сумеречном свете их было трудно разглядеть. Малахов опять закрыл окно, опустил штору, включил свет, посидел перед портретом Масюры...

Крепкий орешек!

Он поглядел на часы. Генералу доложусь в девять; это будет как раз: не рано и не поздно. Значит, есть полные четыре часа для работы...

И он сделал еще одну ловушку.

4

Масюра вошел в кабинет энергично, каждое движение соответствовало уставу.

— Разрешите?

— Прошу вас.

— Курсант Масюра прибыл для... — Он не договорил и несколько мгновений стоял молча, с перехваченным дыханием, с остановившимся на Малахове взглядом, в ярком свете июньского солнечного утра, когда все на виду, каждая предательски дрогнувшая мышца, а пульс, кажется, проломит виски и разорвет вены на стянутом воротником, будто петлей, горле.

Он смотрел на Малахова — и не мог выдавить из себя ни слова. Наконец как-то совсем по-граждански, плечом он прикрыл дверь, привалился к ней на миг, явно получив от этого облегчение, и сказал:

— Здравствуйте, товарищ подполковник.

— Не ждали?

— Не ждал...

— Проходите, товарищ Масюра. Садитесь вот сюда. Разговор предстоит долгий.

Алексей Иннокентьевич говорил еле-еле, необычно вяло и вязко, словно глину месил. Но это не было игрой, хотя он немало времени потратил, обдумывая режиссуру самой первой минуты и первых пяти минут встречи с Масюрой. У него было заготовлено несколько вариантов, но сейчас он был сам не свой, им овладела апатия, все варианты вылетели у него из головы, он и не пытался их вспомнить, знал — бесполезно. Однако только его и заботило: продержаться эти минуты, потратить их на пустяки, не пытаться сейчас ловить Масюру, пока самого не отпустит.

— Вы успели хорошо подготовиться?

— Так точно, товарищ подполковник.

— Судя по записи в журнале, вчера вы показали неплохое знание Гамбурга. Однако допустили несколько мелких ошибок. — Малахов открыл журнал, нашел нужную запись; читая, водил пальцами вдоль строк — почерк был не самый разборчивый. — Да, ошибки в общем не существенные, но вы же знаете, товарищ Масюра, в нашей работе мелочей нет, каждая может стоить жизни вам или вашему товарищу... не дай бог, из-за «мелочи» и операцию загубить недолго...

Общие фразы удобны тем, что их не надо придумывать и задумываться над ними не надо; они сами слетают с языка, льются, льются, словно заклинание или наговор гипнотизера.

Накануне Масюру «гонял по Гамбургу» преподаватель разведшколы, специалист по Северной Германии. Он не знал об операции, беседа носила будничный характер. Когда Алексей Иннокентьевич сравнивал фотографии Масюры перед беседой и после нее, он не мог удержаться от улыбки: после беседы лицо Масюры будто вширь раздалось; словно это лицо стягивали внутри какие-то крючки, а теперь их все разом отстегнули... И эту ночь Масюра спал хорошо — не сравнить с предыдущими; и на сегодняшнюю повторную беседу пришел уверенный и спокойный. Но вдруг увидел перед собой не вчерашнего преподавателя, а Малахова, — и сломался. За несколько мгновений, что он стоял возле двери, его лицо почернело и провалилось, это происходило буквально на глазах, как говорится, зрелище не для слабонервных. Однако по лицу Малахова он не смог бы об этом догадаться. Алексей Иннокентьевич побеждал не впервые, он изучил эти мгновения, знал, как это бывает, столько раз видел, как люди осознают свой крах и что с ними после этого происходит... Он знал: прямо сейчас можно начинать обычный допрос, риска почти не было. Вернее, небольшой риск все же был: человек мог еще немного посопротивляться по инерции, не столько сознательно, сколько из упрямства, и чтобы сломать это, нужны были неожиданные и обязательно настоящие, полнокровные факты, что называется вынь да положь. А таких фактов против Масюры у Алексея Иннокентьевича пока не было ни одного. Пока. Но через час после этой беседы будут. А потом и хирургу можно будет его лицо показать. И уж если и это не прижмет к стене — дождаться вестей из партизанской бригады имени Довбуша.

С допросом успеем, подумал он, и сказал:

— Ну что ж, товарищ Масюра, давайте так начнем. У вас свидание в западной части города, предположим, в Лурупе. Даже уточним: в кладбищенской конторе в 17 часов 15 минут вас ждет некто в синем пуловере с красными продольными полосками со свежим номером «Гамбургер цайтунг» в правой руке; или, если хотите, пусть он держит «Райх». На среднем пальце,

для верности, у человека будет алюминиевый перстень.

— Как вы детально объясняете, — попытался улыбнуться Масюра. Его руки лежали на коленях. Сплетенные пальцы то светлели вокруг ногтей, то вдруг темнели, и тогда напряжение передавалось на предплечья, которые — это и через гимнастерку было видать, — коротко, как под током, вздрагивали.

— Привыкайте. Повторяю, товарищ курсант, для нас это не мелочи, для нас это детали. Каждая — самая главная. Привыкайте: отсутствие любой из деталей меняет всю ситуацию.

— Понял, товарищ подполковник.

— Сейчас мы не будем детализировать эту часть упражнения дальше. Но учтите: в настоящем задании деталей будет в несколько раз больше. Например: если этот человек будет читать прейскурант, значит, за ним следят; если он спросит у вас спички, значит, явка, на которую вы идете, провалена или опасна; если он пошутит, что нынче похоронить человека труднее, чем прокормить, — он сможет с вами увидеться ровно через час пятнадцать в пивной напротив левого крыла универмага...

Это была все та же простая хитрость: выгадать время. Но настроиться на серьезную борьбу все не удавалось. Он ведь ждал совсем другого. Он ждал встречи с настоящим противником, он ждал борьбы!.. Ведь Масюре предстояло отстаивать жизнь, свою жизнь!.. А он так бездарно сломался. Сразу. В первую же минуту.

Разочарование было так велико, что Алексей Иннокентьевич даже и не пытался себя утешить.

— Итак, накануне вечером вы выехали из Берлина обычным поездом, через Виттенберге и Людвигслуст, — продолжал он почти автоматически. — Но есть опасение, что на вокзале будет тайная полиция, с которой вам лишний раз не стоит тягаться. И вы сходите с поезда чуть раньше, в Бергедорфе. Утро. Скажем, без десяти восемь. И на явках вы не имеете права появляться до встречи на кладбище. Ясно?

— Так точно.

— А теперь в путь. Посмотрим, где вы будете болтаться эти девять часов двадцать пять минут.

— Не очень складный вы поезд придумали, товарищ подполковник, — пробурчал Масюра. — Вполне

можно было бы выехать из Берлина утренним. И выспался бы в постели, не сидя, и приехал бы к сроку.

— Вы обсуждаете приказ?

— Виноват, товарищ подполковник.

— Вам дали билет именно на этот поезд. Значит, так надо. Значит, так вы в большей безопасности, может быть, даже под охраной.

— Понимаю. В кино я могу заходить?

— Куда угодно: в кино, в кафе, в пивные, в рестораны. Но я советую обходить места, где возможны облавы. Документы у вас прекрасные, только мало ли что почудится полиции. Вас задержат, кто придет на условленную встречу?..

Масюра принял условия игры, и какое-то время Алексей Иннокентьевич даже думал, что заставил его бороться. Однако скоро убедился, что это не так. Масюра попадал во все ловушки. Он даже не пытался разгадать их. Он был послушен — и только. Он уже смирился. Сейчас от него хотели этой нелепой игры — и он вел свою партию, не пытаясь вспомнить, какие детали были в здешних материалах, а какие нет.

Малахов с трудом подавил в себе раздражение, хотя объективно понять его было легко: только в эти минуты стало окончательно ясно, что Масюра — немецкий контрразведчик. Их беседа все больше утрачивала начальный тон, и вскоре, когда ловушки сработали все, потеряла смысл и для Малахова. Он перестал задавать вопросы, Масюра по инерции говорил еще несколько минут, потом и он замолчал, и так они сидели в полном молчании довольно долго. Масюра смотрел в окно, Алексей Иннокентьевич — на свои длинные худые пальцы.

— Уф! — выдохнул наконец Малахов. — Пусть будет по-вашему. Оставим эту бессмысленную игру. Тем более что свою функцию она выполнила. Вас интересует, где вы попались?

— Нет.

— Я думал, что вы будете упорней.

— Какой смысл? Едва я увидел вас, я сразу понял, что игра проиграна.

— Перед вчерашней беседой вы волновались больше.

— Да. Я понял метод проверки и хорошо к нему

подготовился. Но вчера это оказалось ни к чему. Я успокоился. Решил — просто совпадение.

Он видел меня когда-то, когда и я его видел, и сейчас он узнал меня, и считает, что я его узнал тоже, понял Малахов.

— Вы узнали меня сразу? — спросил он.

— Да. Еще на аэродроме. Когда я увидел, как вы подходите к нам, я чуть не сомлел. Я был уверен, что вас застрелили, — он криво усмехнулся, — «при попытке к бегству».

Все. Вспомнил! Одна эта фраза — и Малахов словно воочию увидел, как его волокут за вывернутые руки сперва вверх по пяти лестничным маршам, потом по коридору. По коридору было не так ужасно, потому что переломанные ноги уже не бились о ступени, просто скользили по линолеуму, которого он касался то щекой, то лбом, а эти двое волокли его рывками и спорили, чья очередь идти сегодня к какой-то девке, а еще один бежал следом и кричал, кто будет вытирать кровь после каждой свиньи, он не нанимался, ему денег за это не платят, за это дерьмо... А потом эти двое втащили его в комнату и запрокинули лицо, схватив за волосы, и рефлектор бил прямо в упор. Этот? — услышал он, скосил глаза и увидел молодого стройного оберштурмфюрера СС, блондина с правильными чертами, ну ни единой неправильности, чтобы взять ее на заметку. Нет, не он, сказал оберштурмфюрер и отвернулся. Это он, Хайнц, сказал кто-то невидимый из-за рефлектора, и Малахов узнал по голосу следователя. Это он, Хайнц, ну погляди хорошенько. Если хочешь — глянь на фото. Здесь он еще до обработки... И опять они друг против друга, глаза в глаза, рефлектор сыплет песок за веки. Нет, не он, рубит оберштурмфюрер.

Малахов потрогал широкий шрам за ухом.

— Вы все еще оберштурмфюрер?

— Нет. Уже гауптштурмфюрер. В сорок втором получил повышение.

— Тогда вы были блондином, Хайнц...

— Кессель. Моя фамилия Кессель, неужели вы еще до этого не докопались?

— Пока нет.

— А перекраситься несложно, господин подполковник.

— Куда неприятней пластическая операция.

— Ну, немного потерпеть не беда. Зато результаты были превосходны. Я две недели жил среди людей, знавших настоящего Масюру, и никто во мне не нашел ничего странного.

— А все родственники Масюры действительно уничтожены?

— Это не моя вина, господин подполковник. Мне подготовили легенду, я только натянул ее на себя. А родственников Масюры вывезли в Треблинку по приказу свыше. Это не моя вина.

— Их сожгли?

— Да. За этим специально проследили. Война, господин подполковник. Мне готовили безукоризненную легенду.

— Гибель Гологорского отряда — ваша работа?

— Нет. Я повел свою группу в лес сразу после этого разгрома. Мы точно знали, что не уцелел ни один человек. Нас не мог уличить никто.

— Кстати, ваша группа, гауптштурмфюрер, арестована...

— Догадываюсь.

— Послушайте, Кессель, но ведь вам пришлось убивать немцев, даже двоих офицеров вы убили собственноручно — это нами проверено...

— Но ни одного русского!

— До этого мы еще дойдем, гауптштурмфюрер. Вам никогда не жгла руки кровь соотечественников?

— Это были пешки, которые не считают в крупной игре, господин подполковник. Когда я уходил в лес, я имел задание попасть в советскую дальнюю разведку. Все делалось только ради этого. И я почти добился своего.

Оставалось выяснить последнее.

— Где сейчас разведшкола фон Хальдорфа?

— Не знаю.

— Советую отвечать. По всему стилю вашей работы я узнаю его руку, гауптштурмфюрер.

— Он мой шеф, и я не собирался отрицать этого.

— И вы не знаете, где находится ваш шеф? Что за ерунда! Еще попробуйте меня убедить, что вы не поддерживали с ним постоянной связи.

— И этого я не отрицаю. Но в октябре прошлого года они перебазировались из-под Львова куда-то южнее. Когда предоставлялась возможность, я выходил на ра-

диосвязь. В последний раз это было в вербное воскресенье.

— Хорошо вас учили, — усмехнулся Малахов.

— Вы же сами говорите, что узнаете его руку, господин подполковник. Прошу вас верить мне, господин подполковник. Если б я знал место, я бы сказал. Сейчас я бы сказал вам это. Но если вы знаете фон Хальдорфа, вы должны мне поверить. У нас его звали старой лисой, потому что он всегда путает следы и никогда дважды подряд не ночует в одном месте... Не хочу вас обижать, господин подполковник, но более хитрого разведчика, чем фон Хальдорф, я в жизни своей не встречал.

5

На фронт Алексей Иннокентьевич возвращался поездом. Схитрил, надеялся выспаться дорогой, надеялся чередованием пейзажей разбить камерность, которая незаметно овладела его душой, так что теперь даже на природе Малахову казалось, что он окружен незримыми стенами, что он внутри какого-то прозрачного ящика и до него не доходят ни движение, ни запахи, ни звуки, только немые красочные картинки окружают его — застывшие, матово-стеклянные, словно спроецированные эпидиаскопом. Но ничего не получилось. Стены и крыша вагона были накалены солнцем; они излучали столько тепла, что казалось, от них исходит розоватый отблеск. Зной оболванивал. Перегоны были короткими. Поезд останавливался чуть ли не у каждой будки. Тотчас из вагонов высыпал народ, в большинстве, конечно, военный, и все наперегонки бросались за кипятком или к длинным ларям, где втридорога можно было купить огурцы, лук, редиску и даже яйца.

Алексей Иннокентьевич тоже с нетерпением ждал остановок, на каждой выходил, но лишь для того, чтобы прогуляться вдоль вагона или посидеть в траве на откосе, если поезд стоял в месте пустынном и не очень захламленном. В этих прогулках цели не было. Не было стремления отдохнуть. Не было любования природой. Просто он места себе не находил, угнетаемый чувством, будто должен что-то вспомнить; но Алексей Иннокентьевич знал, что это ему только кажется.

Под вечер повеяло сыростью. Малахов наконец-то рискнул обосноваться в своем купе, лишь теперь разглядев, что соседями у него были два лейтенанта-артиллериста, совсем зеленые мальчишечки, лет по восемнадцать, прямо из училища, и какой-то гражданский в синих галифе и полувоенном френче, сейчас висевшем возле окна, судя по его замашкам, типичный «толкач» и к тому же прощелыга. Он был одних лет с Малаховым, общителен (профессиональная болезнь) и лжив не только в каждой фразе, но и в мыслях. В каких переделках он не побывал на войне!.. Малахов чуть послушал краем уха — и постарался отключиться, на все вопросы, с которыми к нему обращались, отвечал односложно «да», «нет», так что скоро его оставили в покое, чему Алексей Иннокентьевич был рад чрезвычайно: раскусив соседей, поставив каждого на определенную полочку в своей классификации, он больше не думал о них, потому что они ему были действительно не интересны.

Лежа на полке с закрытыми глазами, заложив руки за голову, он опять попытался понять, что же его гнетет, и опять это ему не удалось. Нет, не с того конца я к себе подступаюсь, решил Алексей Иннокентьевич. Надо быть последовательным. Сначала разбить стеклянный ящик, в котором я очутился. Чтобы наблюдать вокруг не какие-то матовые картинки, а живую жизнь. И слиться с нею. Как-то так случилось, что я выпал из настоящей жизни. Я сижу в кабинетах, отдаю приказы, выполняю приказы... Но что-то я утратил. Какие-то связи, какую-то жилу... Я иду в толпе, в гуще людей, но по сути я одинок. Сейчас я один это знаю. Я чувствую, как утрачиваю интерес к людям. Я стал понимать их только умом, а сердце молчит. И ведь они тоже скоро это заметят. Вот когда мне придется по-настоящему тяжело!..

В нем накопилось много чего-то, что он и выразить не мог — постороннего, неестественного для него, несвойственного ему. Бумаги высушили его душу? Или он уже не выдерживает постоянного напряжения?.. Он чувствовал: нужна передышка. Совсем небольшая. Просыпаться рано и идти по траве, по пояс в тумане, смотреть, как из-за елок поднимается солнце. И целый день видеть только небо и лес, и реку, и цветы — больше ничего!.. больше ничего...

Бывало ли с ним такое прежде?

Конечно.

От депрессии не застрахован никто. В той же Германии однажды его прижало крепко. Это случилось сразу после рождества. Он жил в паршивой гостинице в Альтоне, и все было ничего, но вдруг как-то утром ему не захотелось вылезать из постели; точнее сказать, ни подниматься, ни даже глаз открывать. Он лежал, слушая зимний дождь, представляя воочию, как ползут по оконному стеклу капли, промывая в слое копоти блестящие канавки; как возникают и скрываются за дымкой на противоположном берегу грязно-серой, будто залитой асфальтом Унтер-Эльбе журавлиные стада остроносых портовых кранов. И хотя на первый взгляд не было объективных тому причин, он отчего-то подумал, что вот оно — накатило; и подумал тогда же, что некоторые ломают это выпивкой, напиваются до беспамятства, чтобы разом переломить это в себе. Должно быть, прекрасный рецепт, размышлял он, по-прежнему не открывая глаз, какая-то истина в этом рецепте безусловно есть, раз им так широко пользуются. Но ведь не для всех он годится — и самое главное — не везде...

Конечно, можно было бы себя переломить, и он знал точно, что при необходимости сумеет сделать это. Но нельзя же вечно себя насиловать. Бесследно это не проходит. Уже следующая волна ударит тяжелее, а третья подряд может и сломать. Куда мудрее (если позволяют обстоятельства) дать ей прокатиться над тобою, переждать, чтобы затем подняться обновленным, с неистраченным запасом душевных сил.

В тот раз обстоятельства ему позволяли. Он попробовал отсидеться в номере, точнее, как уже было сказано, отлежаться. Он не выходил из номера совсем, даже в ресторан не спускался; еду ему приносили прямо сюда и оставляли в первой комнате, которая только называлась так, а вообще это было одно помещение, только разделенное высокой, почти до потолка, деревянной ширмой, застекленной в верхней половине матовыми стеклами. Еще в первый день он закрыл окно тяжелыми шторами, да так и не открывал его ни разу. Иногда читал при лампе, но увлечься не мог и почти не воспринимал прочитанное. Ждал, когда пронесет, когда кончится наконец это странное состояние между сном и явью.

Его хватило на пять дней. Потом что-то взбунтовалось в нем. Он еще не был способен думать, но привычка к действию, а вернее — потребность воздействовать на ход событий заставила его одеться, вызвать такси и уехать к морю. Он остановился в пансионе на самом берегу. Он был единственным постояльцем. Весь этот вечер он просидел внизу в общей гостиной, в компании двух котов и собаки и глядел на огонь в камине, и слушал, как где-то за гулкими стенами скрипят на ветру сосны. Днем он ходил по берегу замерзшего моря, по хрупкой кромке, потом забрел в дюны, удивляясь, как здесь чисто и вымыто, и что нигде не видать ни одного человеческого следа. Вечер он опять провел перед камином, и все время у него было такое чувство, словно он что-то должен вспомнить, это было рядом с ним, но не давалось пока. Он уснул сразу и глубоко, будто провалился, впервые за эту неделю. И внезапно поймал себя на том, что продумывает новый ход в операции. Только тогда он понял, что уже не спит, а затем, что депрессию пронесло и он опять с полной отдачей может делать то, чем был занят последние полгода: ждать, ждать, ждать...

Да, такое случалось и прежде, думал Малахов, глядя в потолок вагона. Но прежде у него была поддержка. Он знал: как бы далеко, как бы надолго ни занесла его судьба, есть на белом свете три человека (в его воображении слабых и беззащитных), которые будут ждать его всегда, верить в него всегда; до конца, до последней минуты будут надеяться на его мужское доброе всемогущество. И никогда не предадут. Даже в мыслях.

Жена и дочери.

Это было счастьем — возвращаться к себе в дом, это было несравнимо ни с чем. И как бы ни было велико удовлетворение от успешно проведенных операций, это было не более чем удовлетворение; в какой-то степени облегчение: вот, мол, как было трудно, порой даже очень, иногда и совсем невмоготу, но он все-таки сделал свое дело, выполнил свой долг... Счастья это не принесло ни разу. Так же как и ордена, о которых он чаще всего узнавал из шифровок, в самом конце текста. А вот стоило вспомнить своих девочек — и он был счастлив.

Все-таки я не настоящий контрразведчик, думал он

подчас. И никогда не стану настоящим. Таким, чтобы жить этим делом, видеть в нем не только необходимость и смысл... и пользу для Родины, но чтоб оно было в моем естестве, в крови, чтоб я не мог без этого. Нет. Я случайно оказался на этом пути — завертело, затянуло без всякой моей к тому охоты, и, когда я уйду с него, испытаю только облегчение. Ну и радость, конечно: ведь можно будет вернуться к началу, к делу, которому собирался посвятить всю жизнь...

Он прислушался к себе — и не почувствовал в груди отзвука этой мысли. Устал? Еще бы! А что, если оно уже умерло в нем? С чем же он останется?.. И тут же подумал: поздно жалеть; это уже невозвратимо, как бы ни сложилось дальше, это уже недостижимо для него, он уже не дотянется до этого никогда, потому что машина, в которую его затянуло, отпустит его лишь после того, как опустошит совсем, высосет до последней клеточки; а тогда уже никакой досуг не спасет, не оживит отработанного материала... Но жалеть было и бессмысленно, и поздно. Назад ходу не было. Да он и не пошел бы — в такую нелегкую для Родины годину.

А ведь поначалу все складывалось иначе. Он всегда знал, чего хочет, куда идет; что будет делать завтра, и через год, и даже через пять лет. Он любил порядок. Любил планировать — и исполнять свои планы. Он был хозяином своей судьбы. Кончил школу с отличием, затем — институт; в срок защитил кандидатскую о пранскусстве северо-западных славян; готовил фундаментальную монографию на эту же тему — труд, который с нетерпением ожидался специалистами во многих европейских странах. В 1936 году в составе советской делегации Малахов попал в Испанию на съезд работников культуры. Кабинетный ученый, прозванный друзьями Схоластом, — и он отзывался на это прозвище, — с изумлением наблюдал новый для него мир, о котором он, конечно же, знал из газет и кинохроник, но тогда это существовало вообще, безотносительно к нему лично. Как реалист он понимал, что не в его силах что-то изменить, а в теорию «малого добра» не верил. Он даже и тогда оставался при своем рассуждении, что, если «каждый будет знать свое место и делать свое дело хорошо, мир выстроится удобно и справедливо», когда знаменитый австрийский писатель (они шли вдоль линии прошлогодних окопов, где по склизкому гли-

нистому брустверу, а где срезали по изрытой воронками бурой целине; мокрые после недавнего дождя плиты песчаника блестели на солнце, над ними уже курился парок; курилась паром вся штопаная и в подпалинах солдатская шинель знаменитого писателя и тяжелое драповое пальто самого Малахова; опушку рощи впереди и перекресток разбитых грунтовых дорог лениво обстреливала франкистская стопятимиллиметровка; снаряды падали далеко и редко, их даже не было слышно, когда они прилетали, а тяжелый гул разрывов не мешал разговору) сказал ему:

— Для меня очевидно, камерадо Малахов, что гражданская война — это ловушка. Как все прежние, так и эта. Избыток мозгов тяготит общество. Перепроизводство интеллектуалов вызывает в обществе неопределенность, неудовлетворенность; накладывает некую туманную дымку, вуаль, погружающую все в полутона. А здоровый животный кретинизм обывателя требует яркости, ясности и силы. Регламента. Четких ролей. Железных рамок «от» и «до». Вот и выходит, что мы, интеллектуалы, портим всю игру. Путаем карты. Мы никого не можем накормить и утешить; мы даже такой простой вещи не можем, которая, кажется, вытекает из самой нашей сути: определенно ответить хотя бы на один вопрос. И тогда они резонно спрашивают: а нужны ли вообще эти очкарики? Не лучше ли избавиться от них, устроить варфоломеевское кровопускание — и нет проблем... Увы! идея великолепна, но ее воплощению мешает препятствие, придуманное теми же интеллектуалами: мировое общественное мнение, с которым почему-то принято считаться. И вот вытягивают на свет замусоленную, но тем не менее беспроигрышную карту: они начинают с женщин и детей. Как во все времена — с женщин и детей, уверенные, что мы сами полезем в эту бойню, чтобы вступиться, заслонить, защитить — словно мы и впрямь способны кого-то защитить!.. Я все это вижу, камерадо Малахов, всю эту грязную и циничную кухню, но я оставляю свою роскошную квартиру на Кайзерплац, свою виллу на Женевском озере, свои рукописи и автомобили, и, конечно же, семью — ведь и у меня есть дети! — и отправляюсь рядовым волонтером, чтобы однажды погибнуть от итальянского пулемета или немецкой мины на этой каменистой, мертвой, чужой мне земле... И вам не избежать

этой судьбы. Вот если б вы были трус и подонок, вам бы удалось отвертеться. Но вы не трус и не подонок — вот в чем ваша трагедия. Поверьте, камерадо, я бы с удовольствием полистал вашу будущую монографию, но — желаете пари! любое! ставлю сто против одного, — эту книгу вы никогда не закончите. Не успеете! Эта ловушка и для вас!..

Алексей Иннокентьевич спорил с австрийцем, как ему кажется и сейчас, довольно успешно. Эмоциональному субъективизму он противопоставил всесокрушающую мощь и логику марксистской диалектики. Однако жизнь продемонстрировала собственную логику.

Уже той же осенью, в ноябре, со специальным заданием он обосновался в Германии.

Перед Германией ему дали возможность побывать дома. Он и потом появлялся, но чем дальше, тем продолжительней становились интервалы — не по его вине. Семьянин по натуре, сначала он переживал это болезненно; с годами что-то в нем переменилось и ныло, лишь когда уставал.

Но он всегда знал: сколько бы лет ни прошло, они будут ждать его, по вечерам собираться в гостиной вокруг стола, над которым парит огромный шелковый абажур с кистями и расписными осенними листьями, будут говорить о нем, а если и не говорить, то думать, потому что в нем — вся их жизнь. И это было для него важным — сознавать, что где-то есть только ему принадлежащее, которое никогда не изменит и примет его всякого — только бы это был он.

Он не знал, как с этим обстоит у других разведчиков. За все время работать ему пришлось всего с четырьмя, да еще связные приходили; сблизиться ни с кем не удалось. Впрочем, он и не стремился: ему казалось, что это люди из какого-то иного теста, настроенные на иную волну; он боялся встретить непонимание. У них все иначе, говорил себе Алексей Иннокентьевич, для них это естественно, они этим живут, иной жизни не мыслят и не хотят. А я занял чужое место, живу чужой жизнью, неестественной для меня. Потому-то и слиться не могу со своей ролью. Потому-то никогда и не стану *настоящим* разведчиком...

В июне сорок первого Малахов был далеко от Минска, где жила его семья, и даже от Родины далеко.

Но он не сомневался, что о семье позаботятся, и, когда наконец-то добрался до Москвы, ожидал, что если и не застанет семью здесь, то по крайней мере узнает, куда ее эвакуировали.

Но оказалось, что жена и дети в Минске...

Вины здесь не было ничьей. Уже двадцать третьего июня сотрудники Алексея Иннокентьевича принялись хлопотать об их эвакуации, и все сложилось бы иначе, если бы жена Малахова не отказалась сниматься с места наотрез. Она не хотела верить, что враг может дойти до Минска. «Я буду ждать Лешу здесь, — упрямо повторяла она. — Когда он вернется, он придет только сюда. Здесь каждая мелочь — это часть нас, нашей жизни; он любит нас в этих вещах. И даже воздух этих комнат ему дорог особенно. Я сохраню все это для Леши...»

Однако самая главная причина была в младшей дочери Малахова. У нее от рождения были парализованы ноги. Мать считала виновной себя: что-нибудь съела не то или выпила лишнюю рюмку вина во время беременности, или перенервничала... Двенадцать лет ее сердце не знало покоя, она терзала себя, ну и Алексею Иннокентьевичу иногда приходилось нелегко; не говоря уже о старшей дочери, которой досталось меньше любви и внимания. Но у той был отцовский характер, мягкий и покладистый, она была добра и отличалась готовностью найти оправдание кому угодно, только не себе. Сама она этого не осознавала, как не могла оценить и своей роли в семье, и лишь Алексей Иннокентьевич (поскольку в силу обстоятельств наблюдал их как бы со стороны) понимал, что на ее самопожертвовании, переходящем в самоотрицание, держится мир и покой в семье, и вообще вся семья на ней держится, скрепленная ее любовью и добротой.

Из-за младшей-то дочери жена Малахова и не хотела трогаться с места. Когда же ее все-таки удалось уговорить, в последнюю минуту выхлопотав половину купе в формирующемся поезде, немцы разбомбили вокзал, а «эмка», посланная за семьей, так и не объявилась вообще...

С тех пор прошло три года. Несмотря на свое особое положение, Малахов не смог узнать о семье хоть что-нибудь. Он часто думал о дочерях, какие они сейчас, чем живут. Ему было интересно, на кого они стали по-

хожи, повзрослев, и он думал: хорошо бы на мать, потому что их мать была его первой любовью, и он всегда был убежден, что в ней есть нечто особенное, называемое в просторечье «изюминкой», а это, как известно, важнее любой красоты. Но вообще-то он не думал о высоких материях, мысли были больше пустяковые, например, с какими оценками старшая закончила среднюю школу и не раздумала ли она поступать в Московский энергетический институт, — был у них когда-то разговор, года за полтора до войны. И еще он думал о щеглах, которых любила младшенькая. Вольеры висели с обеих сторон ее кровати, так что она сама подливала им воду и сыпала зерно...

Три года он не знал о них ничего. Три года жил одними и теми же воспоминаниями, эксплуатировал их нещадно, так что теперь трудно было бы отделить реальное прошлое от домыслов. Он догадывался об этом; понимал, что любит некие эфемерные, созданные его фантазией образы, что встреча с реальной семьей будет трудна: предстоит узнавание и привыкание; предстоит как бы заново полюбить этих новых для него людей. Это ничего, шептал он, были бы здоровы, а любви во мне накопилось столько!..

Три года встреча с семьей была неизвестно как далека и вдруг приблизилась: как раз в эти дни наступление наших армий на Белоруссию вылилось в фазу, обычно сопровождаемую эпитетами «решительное» и «победное». Со дня на день ожидали взятие Минска. Вот и томился Алексей Иннокентьевич, и места себе не находил: для него решалось так много, но все происходило помимо, не зависело ни от желаний его, ни от усилий; опять — в который уже раз в его жизни! — ему оставалось только одно: ждать.

...Его разбудил пронзительный крик паровоза под самым окном. Алексей Иннокентьевич повернулся на другой бок и увидел в рассеянном сером свете раннего утра, что это маневровая «кукушка». Она все еще была тут, напротив окна, еле двигалась по соседней колее, а следом, то и дело наползая на нее, вминая мягко лязгающие буфера, напирали короткие платформы с танками «КВ». Алексей Иннокентьевич начал было считать танки — это произошло непроизвольно, по вы-

работавшейся с годами привычке, но тут же бросил: во-первых, ни к чему это было, а во-вторых, платформы ползли слишком медленно, каждый счет затягивался, его приходилось удерживать в памяти, это было утомительно и вызывало раздражение своей бессмысленностью.

Приметных зданий вблизи не было видно; однако, судя по числу путей и семафоров, это была узловая станция, причем крупная. Что это? Бахмач? или Нежин?.. Малахов даже наружу выглянул, но так и не разобрал. С таким же успехом это мог быть и Фастов, и даже Казатин. Ну, это было б вовсе фантастикой, урезонил себя Алексей Иннокентьевич, рассудив, что уж Киев-то он бы никак не проспал, да и чего ради их вдруг погнали бы вперед с такой почти довоенной скоростью?.. Война нивелирует не только характеры и судьбы, заключил он, убедившись, что так и не сможет узнать места, даже станции становятся все на одно лицо.

Как бы там ни было, фронт, еще вчера казавшийся бесконечно далеким, иным, полуреальным миром, который, конечно же, существует где-то, но к тебе лично не имеет никакого отношения, был уже близко. И не танки, не свежеотстроенные пакгаузы со следами пожара и снарядных проломов в массивах прадедовской кирпичной кладки, не крупнокалиберные зенитки, хоронившиеся по ту сторону путей в пыльном просвечивающем сквере, возвещали о нем. Воздух был оттуда.

Ну что ж, сказал себе Алексей Иннокентьевич, вчера поскулил от души, нынче самое время за работу браться; небось Хальдорф-то заждался меня...

Это показалось ему смешным. Он представил себе некую фигуру в мундире штандартенфюрера СС, томящуюся от безделья в ожидании, пока наконец-то объявится он, подполковник Малахов. Но затем эту же мысль он повернул под иным углом: а ведь ждет, и давно ждет; не меня лично, уж этого он знать не может никак, но кого-то в этой роли ждет непременно; у него опыт богатейший, и крупная игра — где только не наследил! — значит, должен учитывать и контригру. Ждет!..

Азарта все же не было. Ничего, появится, утешил себя Алексей Иннокентьевич, куда денусь...

На войне противников не выбирают. Приказ и случай — вот посредники. Возможно, Хальдорфом пришлось бы заниматься кому-то другому, но «под рукой» оказался Малахов. И нацелили его.

Он явился в Комитет по вызову прямо из разведшколы. Был готов к неприятностям, только сложилось иначе: его поздравили с успешным разоблачением гауптштурмфюрера Хайнца Кесселя и долго, детально расспрашивали о работе управления контрразведки Смерш 1-го Украинского фронта, в котором Малахов служил уже четырнадцать месяцев, с апреля 1943 года. Этот разговор был приятен, потому что Смершу удалось нейтрализовать работу не только гехаймфельдполицай (тайной полевой полиции) и разведотделов 1Ц всех противостоящих немецких армий, но и абверовских команд, что было куда труднее: эти и классом повыше, и масштаб у них иной. Правда, с одним противником у Смерша пока что был негативный счет. Принадлежащую РСХА (главному управлению имперской безопасности министерства внутренних дел) разведшколу штандартенфюрера СС Уго фон Хальдорфа нейтрализовать не удалось. Платили за это тяжело, да и цену, говоря по чести, пока не всю знали. Например, только признание Масюры — Кесселя раскрыло механизм, погубивший и Гологорский отряд, и подпольную сеть во всем районе; объяснило и причину «фатальных» неудач, которые преследовали отряд Крайнего. У Крайнего операции проваливались одна за другой, разведка налетала на засады; наконец полиции удалось перекрыть пути, по которым отряд получал продовольствие, начался голод, и к весне люди дошли до такого отчаяния, что в первых числах марта пошли на штурм Коржева. Прежде подобную идею отвергли бы как безумную — сильный гарнизон стоял в Коржеве, — а теперь пошли и разгромили, и все лишь потому, что в городе формировался продуктовый обоз...

А сколько за Хальдорфом водилось еще не раскрытых дел, этого, пожалуй, кроме самого штандартенфюрера, никто не знал.

Год назад ситуация была проще. И перспективней. Смогли установить, где расположена разведшкола. Затем внедрили в нее своего человека. Это был парень обстоятельный, флегматик, из белорусов; такой шага неосторожного не сделает, не сгорит на пустяке. Его

не прижимали сроками, он и не спешил: присматривался, изучал людей. Первые два сообщения поступили вовремя, третьего не дождались. Это еще не означало провала. Ведь могли измениться обстоятельства, скажем, перекрыт канал связи. На такой случай — и только на этот единственный — существовала резервная связь через глубоко законспирированную явочную квартиру. Для всех остальных операций, даже в самых крайних вариантах, она была неприкосновенна. Это вовсе не означает, что в явках не было недостатка, и контрразведка вполне могла позволить себе такую роскошь. Напротив! Именно в этом городе каждая явка создавалась необыкновенно трудно, а существовала недолго, если сравнивать со среднестатистическими цифрами. И все-таки ее держали законсервированной — так была важна операция, которую она подпирала.

На связь пошел опытный разведчик. Ему повезло с транспортом: он прибыл в город почти на сутки раньше намеченного срока, но не явился на явку сразу, а решил понаблюдать за нею, хотя это и не предусматривалось инструкцией. Около полудня в квартиру вошел мужчина с тяжелой дорожной сумкой. На нем было цивильное платье, висевшее нескладно — явно с чужого плеча; да и по выправке он был кадровый военный. В квартире неизвестный задержался недолго. На этот раз сумка была значительно легче, однако попрежнему не закрывалась — что-то не вмещалось в ней. Разведчик пошел следом. Почти догнав неизвестного, он разглядел, почему не закрывалась сумка: там стояли немецкие термосы, из таких кормили весь вермахт. А еще через два квартала человек с термосами вошел в проходную казармы...

Искать дополнительные подтверждения, что на явочной квартире враги держат засаду, было рискованно, да и вряд ли имело смысл. Предоставленный самому себе, разведчик все же установил, что на прежнем месте разведшколы Хальдорфа уже нет. Куда она передислоцировалась — не знали до сих пор.

И вот теперь Малахов возвращался к себе в Смерш со специальным заданием: обнаружить и уничтожить «заведение» фон Хальдорфа. Его освобождали от всей текучки; дела, которые он вел, надлежало передать другим сотрудникам; наконец его наделили полномочиями, какими не всякий генерал мог бы похвастать, но

в этом Малахов не обольщался: жизненный опыт ему подсказывал, что в девяти случаях против одного даже на войне решают знакомства, умение обаять собеседника и, уж конечно, счастливый дар попадать к нужному человеку в минуту его удачи. А на всякую бумажку, даже самую «железную» и неотразимую с виду, найдутся десятки параграфов и уважительных причин, чтобы почти по закону эту бумажку проигнорировать.

Формула «обнаружить и уничтожить» означала, что задание не чисто разведывательное, а разведывательно-диверсионное, с акцентом на вторую часть.

— Недавно мы получили копию интересного документа, — сказал Малахову работник Комитета. — Из него следует, что Хальдорф имеет план эвакуации. Мы знаем точный адрес, куда переедет разведшкола: это в Германии, достать там Хальдорфа, как вы сами понимаете, будет несравненно сложней. Хотелось бы, чтоб этот адрес нам уже не понадобился... Нам известен и срок эвакуации: первый день наступления армий вашего фронта. То есть он может не ждать, как сложатся дела, чья возьмет, и немедля уносить ноги. Повторяю: в первый же день нашего наступления. Времени у вас в обрез. Придется форсировать события.

Он не имел права назвать Малахову дату наступления. А то и сам не знал — это скорее всего. Но какие-то сроки, близкие к действительным, здесь должны быть известны, подумал Малахов. И комитетский полковник, словно прочитав его мысли, кончил:

— Хорошо бы в недели две, ну в три уложиться...

— Это нереально, — сорвалось у Малахова; он тут же спохватился и постарался сгладить впечатление. — Вот если бы знать, где школа, хотя бы приблизительно, тогда другое дело...

— Если б нам был известен почтовый адрес барона фон Хальдорфа, — холодно, раздельно произнося каждое слово, сказал работник Комитета, — операция была бы поручена не контрразведчику Малахову, а специалистам-боевикам. Диверсантам. И дали бы им на все не три недели, а три дня.

Ну, это ты загнул насчет трех-то дней, подумал Алексей Иннокентьевич, но вслух сказал уставное:

— Виноват, товарищ полковник.

— Надеюсь, это не форма... надеюсь, вы действительно осознали свою неправоту. — Полковник все еще глядел в сторону, однако он уже остыл. — Сам понимаю, что срок — во! Так ведь не с потолка его берем... Ну ладно, если уж совсем откровенно... Месяц у вас есть, подполковник. Но это предел!

— Спасибо.

— И еще... Требовать от вас этого мы не можем — вот уж что действительно было бы нереально! — и все же: если дотянетесь до агентуры фон Хальдорфа...

— Понимаю...

— Ведь столько заноз он в нашем теле оставил. Сейчас их не чувствуем, а потом не один десяток лет гнить будут...

Месяц — это, конечно, жалкий срок, думал Алексей Иннокентьевич, глядя на проплывающие мимо неухоженные поля. Но если поглядеть с другой стороны — это ведь тридцать дней! семьсот двадцать часов!..

Он попробовал произнести мысленно: «Аж семьсот двадцать...», но пафоса не получилось. Цифра была какая-то жалкая, неубедительная. Вот если б за тысячу — еще куда ни шло... А может, на часы не стоило переводить? Сразу чем-то скоротечным повеяло; вот и прикидывать стал, сколько часов уже потерял на эту дорогу и еще потеряет; другое дело самолет — уже был бы на месте, уже бы что-то затевал...

Ну это ничего, успокоил он себя, нет худа без добра. Ведь еще неизвестно, будет ли там, на месте, такая богатая возможность полежать да спокойненько подумать.

Он лег на спину, заложил руки за голову и слушал, как стучат колеса, как хрустят огурцами и обсуждают достоинства американских скорострельных пушек проснувшиеся соседи-лейтенанты; как где-то близко, через купе, опять затянул под аккордеон молодой голос: «Матросы шли в последний бой, а мо-ло-до-о-го!..» Манера исполнения была шаблонная, и любовался он собою без всякой меры и оснований: голос у парня был слабенький, к тому же и высоковат, а он старался петь непременно низко — баритоном, да еще и с хрипотцой; вот и садился у него голос. Зато аккордеон был замечательный. Конечно же, трофейный; и уж, наверное, не какая-то фабричная работа, а настоящий мастер делал, да еще и на заказ — такой глубокий и чистый звук...

А играли на нем, как на трехрядке, все больше на басах, примитивно до невозможности. И все-таки в этом сочетании было что-то трогательное.

6

Пять групп разведчиков ушли через линию фронта в немецкий тыл. Снова, в который уже раз, Малахов был осужден на ожидание.

Самые трудные — первые часы, когда в организме еще живет инерция действия, когда он все еще вырабатывает предельное количество энергии, а приложить ее уже не к чему. Избыток ее гнетет, раздувает воображение, и чего только не привидится человеку, пока в нем все не перегорит и уже просто сил не останется хоть о чем-нибудь думать. Правда, есть люди, которые умеют огромным напряжением воли еще в истоке остановить этот процесс. Наверное, и Малахов сумел бы, но он не пробовал ни разу, предпочитая просто лечь спать, в крайнем случае приняв снотворное. Просыпался он обычно умиротворенным.

На этот раз обошлось без снотворного.

Всю ночь Малахов провел в своем кабинете, ожидая сообщений о результатах перехода разведгруппами линии фронта. Даже если бы группа была одна, он не стал бы провожать ее до переднего края. Он знал такую манеру за некоторыми из коллег. Они говорили, что считают своим долгом, — и не только служебным, но и человеческим, — быть до последней минуты рядом с разведчиками. Несколько ободряющих слов, шутка, соленый анекдот и между делом два-три вопроса, чтобы проверить, не забыто ли что-нибудь; глядишь, люди и отвлекутся, и, когда настанет минута перемахнуть через бруствер в темноту, в них будет меньше напряженности, которую лишь потом осознаешь, когда вдруг сводит судорогой плечи или прикипевшую к автомату ладонь; и в глазах не останется той стеклянной пустоты, когда он смотрит на тебя, а ничего не видит, потому что мысли черт те где бродят, он и сам в это время не знает, где именно...

Малахов не принимал этой теории, во-первых, потому, что считал ее надуманной. Вся она — жалкая попытка оправдаться, обмануть других и самого себя.

Человек нервничает, переживает за исход операции, не знает, куда себя деть, вот и суетится до последней минуты возле разведчиков. У него возникает ощущение причастности, словно и он идет с ними, и ему уже легче. А о том он не думает, что для этих парней присутствие высокого начальства осложняет жизнь, может быть, больше, чем минные поля и ловушки. О том он не думает, что обретает собственное спокойствие за чужой счет, за счет этих ребят, которым нервы еще ого как пригодятся.

Во-вторых, сам недолюбливая мелочную опеку, Малахов и других старался не стеснять. Он научился подыскивать исполнителей своих замыслов; он их контролировал, конечно, но не вмешивался в их действия без нужды, и убедился, что этот вариант наилучший.

Пять групп переходили линию фронта в пяти местах. Пять групп — это пять ожиданий. Малахов и рад был бы объединить их в одно — не мог. Причем напряжение (он знал это по опыту) к концу не уменьшится, а напротив, возрастет во много крат, так что, когда останется неизвестным лишь один результат, самый последний, ожидание превратится в сущую пытку.

После двух ночи пришло первое сообщение: перешли благополучно. Но уже второе было безрадостным. Группа натолкнулась на боевое охранение, о котором и не подозревали, немцы поддержали своих из пулеметов и минометов. Потеряв половину личного состава, группа отступила к своим окопам, унося раненых и убитых товарищей. Командир скончался по дороге в медсанбат.

— Дайте подумать...

Не кладя телефонной трубки, Алексей Иннокентьевич прикинул, стоит ли подключать разведку соседей дивизии или даже армейскую... И решил — нет. Сутки — слишком невелик срок, чтобы хорошо подготовиться к такой операции.

— У вас найдется равноценная замена старшему лейтенанту? — спросил Алексей Иннокентьевич и даже поморщился, так его покоробила беспомощность собственного вопроса. Откуда «равноценная»? — ведь лучших выбирал...

— Так точно, товарищ семнадцатый, — торопливо отозвался далекий голос командира дивизионного разведотдела. Слишком торопливо, подумал Алексей Ин-

нокентьевич, а тут нужно не рвение, а элементарная объективность.

— Хорошо. Немедленно приступайте к формированию группы. Утром буду у вас. Лично проверю все. И если опять не обеспечите ей переход линии фронта...

Он с отвращением произнес все слова, которые подобают случаю, и так швырнул трубку на рычажки, что они заныли. Он злился на себя, потому что терпеть не мог читать морали, а еще больше — на незадачливого начразведотдела, который своею халатностью вынудил Малахова к этому. Но с такими иначе нельзя, иначе они не понимают, попытался оправдаться перед самим собой Малахов, однако это не принесло облегчения, и настроение несколько улучшилось лишь после того, как поступили сообщения, что остальные три группы перешли линию фронта благополучно.

Он еще успел поспать несколько часов, и сон был спокойный, глубокий; его ожидала конкретная работа, тут не до нервов. Потом весь день он трудился, да так напряженно, что о первых четырех группах почти и не вспомнил ни разу. Потом наступила ночь, и пятая группа ушла в темноту, и, когда стало ясно, что эта попытка удалась, Малахов тут же, в разведотделе дивизии, лег на дощатый топчан и уже не слышал, как звонили телефоны, как его накрыли шинелью и под голову подсунули свернутый, пропахший соляркой ватник. Проснулся около полудня — в духоте, мокрый от пота, с тяжелой головой. В хате было тихо. Телефоны были вынесены в другую комнату: там они молчали; кто-то разговаривал вполголоса... Алексей Иннокентьевич размял и помассировал руки, потом болезненно-неподвижную поясницу; потом умылся, выпил чаю и, всем на свете недовольный, уехал к себе в Смерш.

И время для него остановилось.

Не зная, куда себя деть, как спастись от назойливых мыслей об ушедших разведгруппах, Малахов маялся, искал себе хоть какую-то работу. Изучил городок, в котором стоял штаб фронта; при этом среди руин сгоревшей библиотеки разыскал несколько книг; они истлели только по краям. Первой Алексей Иннокентьевич проглотил «Айвенго», потом «Анну Каренину», том второй, потом «Частную жизнь герцогини Мальборо»; но когда он все с тем же энтузиазмом углубился в «Приключения маленького зуава», ему стало грустно

от мысли, на каком голодном пайке все эти годы он держал свою душу. Но результат этого открытия был несколько неожиданным даже для самого Малахова: он аккуратно сложил книги на подоконник, достал из баула трофейный парабеллум, тщательно его вычистил и пошел к реке упражняться.

7

План Малахова был простой.

Он не знал даже приблизительно, где находится разведцентр штандартенфюрера Уго фон Хальдорфа. Разрозненные сведения обещали мало: «южнее Львова», «в какой-то долине — горы там не видны, хотя чувствуется, что они близко», «это крепость или вроде того, а кругом пусто»... Но даже этим сведениям вера была невелика, их сообщили пойманные агенты Хальдорфа, причем только один из них заканчивал курс в новом месте, и то он клялся, что привезли его туда в закрытой машине и вывезли тем же способом, так что о дороге он не имел представления. На Хальдорфа это было похоже.

Три уцелевших напарника Масюры — Кесселя (гологорцы) имели связь лишь со львовским СД и о нынешнем убежище штандартенфюрера знали только понаслышке.

Но кое-что Малахову все-таки было известно.

Во-первых, если приказ категорически предписывает Хальдорфу эвакуировать разведшколу в первый же день русского наступления на этом фронте, значит, он расположился неподалеку от линии фронта. Значит, искать его надо где-то в полосе ста — ста пятидесяти километров от линии фронта, не дальше.

Во-вторых, анализ действий партизанских и подпольных групп в этом районе дал неожиданную картину. Оказывается, партизаны, еще прошлым летом представлявшие здесь изрядную силу, затем отошли на юг и запад — в Карпаты, а три отряда перебрались даже в Полесье. Причем ни один из отрядов не ушел по своей воле. Они спасались. Некоторые не успели, например, Гологорский отряд.

И теперь здесь не было никого.

С подпольем сложилось еще тяжелее. Осенью и зи-

мой оно понесло огромные потери и, по сути, перестало существовать. Уцелевшие в местечках и селах явки были наперечет, однако и они вызывали сомнение: окружавшая их пустыня была убедительней.

Точно определить границы этой пустыни Малахов не мог, так же как не собирался приписывать ее создание исключительно провокаторам и контрразведчикам Хальдорфа. Здесь и помимо них было немало полицейских подразделений, в том числе бандеровских, и все это многократно пересекалось жуткой паутиной. И все же после скрупулезного анализа Малахову удалось определить границы зоны, внутри которой находилась разведшкола. Потом он проанализировал карту и наметил двадцать восемь точек, подлежащих проверке.

Все это заняло немногим более суток.

Одновременно формировались и готовились к поиску группы разведчиков.

Малахов сразу решил, что разведкой фронта он не воспользуется, по крайней мере на первом этапе. Ему требовалось столько людей, что, попроси в одном месте, никто не даст; или нахватают по дивизионным разведкам, оформят на скорую руку и представят как своих; а в дивизиях тоже ведь не дураки сидят, лучших не отдадут.

Не обратился он и к армейским разведкам. Армии пока не получали приказа о подготовке к наступлению, во всяком случае, техника и резервы шли на север — в Белоруссию. Но по всему было видать: вот-вот и здесь начнется, — так что армейские разведки были загружены донельзя. Конечно, получив приказ, они его выполнят, но как? — с неохотой, опять же вторыми составами, мол, и за то скажите спасибо...

А для дивизии выполнить задание в масштабе фронта было лестно. Важность задания подтверждалась и глубиной поиска: свыше двухсот километров. Причем посылали не за «языком», не для уточнения, действительно ли противник прошлой ночью передвинул тяжелый гаубичный дивизион за цвинтарь. Найти разведцентр! Правда, поиск на такую глубину был непривычен для дивизионных разведок, но Малахова это не смущало. Он не сомневался, что в дивизиях есть кадры, не уступающие по боевым качествам лихим фронтовым аристократам, которые целыми днями лузгают «насиння» на лавочках возле ворот, — через одного в смуш-

ковых кубанках и каждый в модных брезентовых сапогах, шитых на заказ, и в галифе из лучшего английского сукна с немыслимыми стрелками. Этих не удивишь и не разогреешь ничем. А от дивизионных от гордости дым пойдет. Тщеславие — величайшая сила, усмехался Алексей Иннокентьевич. У него ни на минуту не возникало сомнения, что дивизии дадут ему лучших людей.

И вот в пяти дивизиях было создано пять групп, и каждая из них получила свой «коридор», а в нем несколько точек, которые следовало проверить. О том, что соседи выполняют идентичное задание, никто из них не знал. На всякий случай.

Группы имели право выйти в эфир только один раз: в случае обнаружения разведцентра или в конце маршрута, если все номера оказывались пустыми. Хальдорф не должен был даже подозревать, что рыбак уже завел невод.

Последний день июня был последним сроком. Четыре радиограммы приняли еще накануне; пятой все еще не было. Алексей Иннокентьевич сначала названивал в школу, где в уцелевшем от бомб и пожара крыле разместилась радиостанция, но под вечер не выдержал и пришел. Радиограммы все не было. Алексей Иннокентьевич отправился по этажам. На первом был физкультурный зал (на выгоревших обоях задней стены полосатый светлый след от шведской стенки — отодрали, скорее всего на растопку); на остальных этажах были только классные комнаты, ни одного предметного кабинета, но парт тоже ни одной; все зима съела. Коридоры упирались в фанерные перегородки. Через дырки от сучков был виден город, лучше всего, конечно, из коридора четвертого этажа; оттуда была хорошая видимость километров на пятнадцать, но это днем, а сейчас из-за заката все расстояние между школой и далеким небом было задернуто голубой кисеей.

Алексей Иннокентьевич спустился к радистам.

Ничего.

Малахов понимал, что это означает. Радиограммы уже не будет, ее некому посылать, думал он, и хотя ему жалко было ребят, которых он и не видел даже (если не считать их командира, старшего лейтенанта, рыхлого альбиноса с насмешливыми глазами; у него была привычка через слово вставлять «ферштейн», причем он произносил это с ужасным прононсом, словно

у него был насморк или полипы, так что получалось «верштейн»), но радость была сильнее. Конечно, было бы вовсе замечательно, сообщи они сами: «Это здесь». Пусть бы сообщили — и ушли, и возвратились благополучно... Но сейчас даже их молчание было вестью о Хальдорфе. Молчат — значит, он там, на одной из намеченных точек. Молчат — значит, Хальдорф их обнаружил и взял — и тем выдал себя. И если они погибли, а это не только возможно — даже вероятно, они выполнили свою миссию, и жертва их будет не напрасна... Я не знаю, что я буду делать, если они все-таки выйдут в эфир и дадут радиограмму, думал Алексей Иннокентьевич, расхаживая по обрубку коридора. Я просто не знаю, что буду делать...

Малахов не уходил с радиостанции до полуночи. Потом подождал еще час. Потом решил здесь же и ночевать, благо места было много, и внизу, возле физкультурного зала, в кладовке лежала стопой куча спортивных матов. Как их до сих пор не растащили — одному богу известно. Малахов принес два самых мягких в кабинет начальника радиостанции, постелил их на полу, предупредил дежурного, чтобы чуть что разбудили, и спокойно проспал до утра.

Завтракал он у разведчиков. Резервная группа была подобрана именно для этого дела, именно для такого случая еще несколько дней назад. Многих Малахов знал лично, провел с ними не одну операцию. На них он мог положиться.

Операция вступала во вторую фазу.

Работа предстояла опасная: пройти по маршруту исчезнувшей группы, выходя в эфир после проверки каждой контрольной точки. Этим они открывали себя. Если у немцев имеется приличная пеленгующая аппаратура, риск становился даже весьма серьезным. Но выбора не было. На маршруте шесть подозрительных мест — шесть контрольных точек. На какую нацелить штурмовые бомбардировщики? Куда выбрасывать воздушно-десантный батальон?..

К десяти утра прибыл заказанный Малаховым грузовик — полуторка с полотняным верхом. Полотно выгорело почти до белизны и пришло в катастрофическую ветхость. Кое-где его посекли пули и осколки, но большинство дыр были куда менее героического происхождения. Когда-то полотно пытались латать, его и ка-

муфлировать пытались, даже совсем недавно, однако скоро бросили это дело, правда, непонятно почему.

Разведчики собрались быстро. Малахов изумился, увидав, какой арсенал они забирают с собою. Все же он удержался от реплики. Мое дело ставить задачу, а как ее решить — им виднее, рассудил он.

В дивизию добрались только после полудня. Всех растрясло, устали, почти не разговаривали. Малахов сказал: отдыхайте, сейчас организую горячий обед. Командир группы не стал дожидаться, разыскал коллегу — командира дивизионной разведроты — и они отправились на НП наблюдать вражеский передок. Возвратились в сумерках. Командиром разведроты оказался капитан плотного сложения, какое не часто бывает у молодых людей; этому было немного за двадцать, хотя рассеянный вечерний свет и война щедро набавляли ему годы. Он подошел к Малахову и отдал честь четко и вполне по уставу, но в каждом движении была свобода и уверенность в себе; может быть, точнее будет сказать — уважение к себе. Малахову такое всегда нравилось в людях, если только за этим не угадывалась примитивная самовлюбленность.

— Товарищ подполковник, разрешите обратиться?

— Прошу вас.

— Разрешите присоединиться к уходящей группе. С несколькими своими людьми.

— Зачем?

— Мои ребята не вернулись. Та группа. Я должен их выручить.

Малахов уже разглядел капитана. Действительно — очень молод, чуть старше двадцати. Что-то еле уловимое восточное: то ли в скулах, то ли широковато лицо. Малахов усмехнулся: во всех нас нет-нет да и пробьется татарская кровь. Такова Русь!

— Откуда родом?

— Сибиряк. Забайкальские мы. Из нерчинских.

— Знаменитые места. Зовут как?

— Сад. Владимир Сад.

— Почему не пошли неделю назад со своей группой?

— Да в госпитале я валялся, товарищ подполковник. Шкарябнуло по черепушке самую малость, а комдив велел: в койку. С ним не поспоришь, с нашим комдивом.

Капитан вдруг стал изображать простачка, получалось это у него плохо, и Малахову не понравилось. Вначале он держался куда лучше, с раздражением подумал Алексей Иннокентьевич.

— Понятно, — сказал он, стараясь подавить в себе это чувство, чтобы не показаться чрезмерно резким. — Понятно... Так вот, капитан Сад, рискну вам напомнить, что мы находимся на войне, где благородство хоть и похвально, однако не всегда уместно. Поясняю: если я откликнусь на ваш благородный порыв и позволю вам эту попытку, это помешает моей группе выполнить задание огромной важности...

Малахов продолжал говорить, а самому было неловко за свои пусть даже абсолютно правильные слова. — Да что это со мной? — изумленно думал он. — И я ли это говорю? И чем провинился этот мальчишка, что я вдруг стал читать ему мораль?..

Капитан слушал бесстрастно. Он подождал, пока Малахов выговорится, и тогда сказал, вернувшись к своему первоначальному тону:

— Вас понял, товарищ подполковник. Вы правы, конечно. Только... только я знаю, что ребята ждут меня. Они знают, что я приду и выручу их.

Малахов отрицательно покачал головой.

— Я все сказал, капитан.

Через несколько часов группа благополучно пересекла линию фронта и углубилась во вражеский тыл.

8

Это произошло в ночь с первого на второе июля. А через сутки разведчики вышли на связь — все протекало по плану. Следующего сеанса радиосвязи Малахов не стал ждать, потому что наконец-то наши армии, срезавшие «белорусский балкон», ворвались в Минск. Малахов выхлопотал сорокавосьмичасовой отпуск, нашел оказию (совсем новенький «дуглас», в котором летел молодой авиационный генерал с офицерами штаба: его корпус вроде бы собирались передать 8-й воздушной армии, и теперь он возвращался после рекогносцировки) и уже четвертого июля был

в родном городе. Большой дом на Советской, где с весны тридцать восьмого жила семья Алексея Иннокентьевича, фашисты взорвали фугасом. Люди только начинали возвращаться в город и вообще мало кто уцелел, но Малахов знал, как искать, и нашел соседей по парадному. Они ютились теперь во времянке сразу за вокзалом, это было совсем в другой стороне. Немцы выселили их еще в сорок втором. Прежний дом на Советской был огромен, и всегда казалось, что все живут сами по себе, и самое близкое знакомство дальше просьбы о куске стирального мыла или коробки спичек, чтобы лишний раз не бежать в лавку, не шло. Но война все перевернула и обострила память. Люди боялись выходить на улицу и откровенно разговаривать с малознакомыми людьми, но что-то сплотило всех, каждый стал словно частичкой одного огромного организма, и что бы ни произошло с кем-нибудь из них, какими-то неведомыми путями почти сразу становилось известно всем.

Соседка долго, с интересом разглядывала Малахова.

— Никак не упомню вас, товарищ командир... Да и Глаферью (она так и произнесла имя жены Малахова — через «е») в нашей парадной мало кто знал. Гордая была дама, упокой господь ее душу. Бывалоча идет мимо — голоса не подаст, вот так только головою мотнет. Понимала из себя много, уж вы не обижайтесь, товарищ командир... А то правда: люди говорили — она на пианине умела выступать?

Малахов слушал ее — и вроде бы не мог сосредоточиться. Чтобы соединить все эти слова и понять их. Они летели в него, как шарики, но то ли силы в них было мало, то ли какая-то преграда стояла на пути — не долетали... кружили возле — пустотелые, лишенные смысла — нет! нет! это о ком-то другом, не о его семье...

Мысли его разбредались, но он все-таки понимал, что соседка сейчас нарочито груба и вульгарна: хочет спутать его чувства, негодованием скомкать боль — и тем смягчить удар.

...Жену и младшую дочь фашисты зверски убили прямо в квартире. Старшую вместе с тысячами других минчан расстреляли за Уручьем, во рву, в каких-то десяти-пятнадцати километрах от места, где они каждое лето снимали дачу...

В Малахове что-то остановилось.

Сначала не было мыслей никаких. Он возвращался чадными, засыпанными битым кирпичом улицами, терпеливо пережидал, когда дорогу перекрывала ревущая моторами, окутанная клубами пыли и газов колонна тридцатьчетверок или «студебеккеров»; отдавал честь; отвечал на какие-то вопросы... Потом вдруг сказал себе, что ведь знал, где-то глубоко-глубоко оно в нем сидело, это знание... пожалуй, не столько знание — страх... Но он не признавался себе, все годы гнал от себя чувство, потому что даже сомнение становилось изменой...

Ну кому они мешали, мои девочки? Ведь и места на земле занимали совсем чуть-чуть. Такие тихие, придавленные своими комплексами и бедами, истинными и мнимыми. За что их уничтожили? За что?..

— Вы контужены, товарищ подполковник? Вас проводить? Где вы остановились? — ворвался в сознание Малахова предупредительный, но твердый голос, и он вдруг увидел, что прямо перед ним стоит майор-артиллерист с красной повязкой на рукаве, а чуть в стороне и патруль — стрелковое отделение.

— Вы меня слышите, товарищ подполковник?

— Да, майор, благодарю вас... Все в порядке...

Говорил Малахов через силу.

— Разрешите ваши документы.

Малахов протянул.

Майор изучил их внимательно и со знанием дела. Его лицо смягчилось:

— Может быть, все-таки мы вас проводим?

Малахов отрицательно качнул головой, майор отдал честь и повел патруль дальше, но еще дважды оборачивался.

Нельзя себя так распускать... возьми себя в руки... ты ведь можешь, ты должен суметь! — приказал себе Малахов, но сразу это не получилось, и он все стоял и говорил себе: Ну!.. Ну!.. Похоже, ты сломался, Алексей Иннокентич, похоже так... и побрел к вокзалу.

В штаб фронта он возвратился постаревший, тянул ноги, стал еще более нелюдим. Целые дни сидел в своем кабинете за письменным столом; никуда не звонил, ничем не интересовался; никто не знал, что он ел эти дни и ел ли вообще. Каждый вечер ему приносили радиограмму поисковой группы, он кивал, говорил свое обыч-

ное «благодарю вас» и клал радиограмму под пресс-папье.

На четвертые сутки (это было уже 10 июля) Малахов нарушил затворничество и поднялся на этаж выше, в оперативный отдел, к своим офицерам, которые занимались этой операцией.

— Как вы находите работу группы? — спросил он.

— Ну что ж, — сказали ему, — ребята стараются, вон что сами придумали... Уж если Хальдорф точно в этом районе — они его откопают.

— Карту, — сказал Малахов.

Перед ним положили двухверстку.

Маршрут группы пересекал фронт 1-й венгерской армии, все три пояса обороны, затем ее тылы; затем натыкался на крестик — первый контрольный пункт. Все контрольные пункты были пройдены четко и почти в срок, и ничего в них обнаружено не было. Тогда командир, продолжая поиск, повел группу назад челноком, влево-вправо; на карте это получалось, как гармошка, которую нанизали на прежний маршрут. Профессиональная работа.

Офицеры так и сказали Малахову. Он усмехнулся. В провалившихся серых глазах на миг словно свет зажегся — и погас.

— Это не они идут, — сказал Малахов. — Это Хальдорф нас водит.

Офицеры молчали.

Ты знал, на что посылал эту группу, сказал себе Малахов. Идти на Хальдорфа, поддерживая постоянную радиосвязь, это все равно, что балансировать над пропастью на проволоке. Но ты пошел на это в надежде узнать точный адрес. А все, выходит, напрасно. Мало того: своим нехитрым маневром Хальдорф отыграл несколько дней. Правда, теперь ты можешь быть уверен, что разведцентр где-то здесь, в одной из этих точек...

— Прошу вас проанализировать текст радиограмм, — сказал Малахов. — И маршрут тоже... Вместо живого зверя нам подсунули дохлую кошку. Через два часа представите мне соображения, где это могло произойти.

Он круто повернулся и ушел к себе, может быть, даже излишне торопливо, если поглядеть со стороны, но это не было знаком недовольства; просто вдруг возник новый план; он формировался буквально в эти се-

кунды, и Алексей Иннокентьевич боялся, что случайная реплика или разговор отвлекут, выбьют из ритма; нарушат живой процесс, когда мысль обрастает деталями, как дерево листьями.

Самым же существенным в плане для Алексея Иннокентьевича было то, что он решил в третьем поиске принять личное участие. Разрешение на это пробить будет непросто, начальство упрется — и справедливо. Но Малахов не сомневался, что найдет достаточно веские основания и добьется своего. Во-первых, за выполнение задачи он отвечал лично, а схватка с Хальдорфом, судя по всему, вступала в решающую фазу. Во-вторых, здесь уже потеряны две разведгруппы, больше рисковать людьми вслепую нельзя, да и времени не осталось. В-третьих, не исключено, придется на месте принимать ответственные решения — и тут пригодится его личный опыт...

Но перед самим собой он не собирался хитрить. Он не представлял, что когда-нибудь оправится от полученного удара, что еще будет жить в том же душевном настрое, что и прежде. Но чтобы хоть как-то выйти из состояния, в которое повергла его потеря семьи, чтобы жить! — продолжать жить и бороться и выполнять свой долг, он должен был хотя бы на время выбраться из стен кабинетов, из цепкой паутины умозрительной борьбы с невидимым, далеким, почти полумифическим противником и схватиться с ним лицом к лицу. Самому идти, самому искать, самому стрелять. Делать! делать! делать вот этими руками, своими собственными, спокон веку мужскую, святую работу мести. Только это меня может вылечить, понял Алексей Иннокентьевич. Только после этого я как-то смогу дальше жить...

Пойду! — решительно заключил он.

Следует заметить, что на фронте за последние дни произошли перемены, и не все из них благоприятствовали планам Малахова.

После того как в начале лета были разгромлены основные силы группы армий «Центр», Гитлер передал командование ею фельдмаршалу Моделю, сменив прежнего фаворита, безвинно пострадавшего фельдмаршала Буша. Это произошло 28 июня, а уже на следующий день Модель, который продолжал возглавлять и группу армий «Северная Украина», начал переброску в Бело-

руссию мало-мальски свободных войск с участков, находившихся пока в его компетенции. Обработав поступающие из-за линии фронта сведения, операторы заключили, что немцы направили на север шесть дивизий, из них три танковые. Ситуация складывалась благоприятно, армии 1-го Украинского стали готовиться к наступлению.

Затем отличилась разведка фронта. Эти ловкачи достали бесценного «языка» — офицера связи немецкой 17-й танковой дивизии. Его буквально вытащили из-за стола; это было в Сокале, в самом центре, на какой-то пирушке, и протрезвел немец только на следующий день, уже в Новом Селе, где стоял штаб маршала Конева. Офицер оказался словоохотливый. Он рассказал, что в штабе Моделя знают о предстоящем наступлении, даже о приблизительных сроках его, и что командующие армиями уже разработали порядок отвода войск на вторую полосу обороны, едва будет установлено, что наступление началось, чтобы подготовительный артиллерийский удар пришелся по пустым позициям. В общем, немецкая разведка работала на удивление успешно; следовательно, наши контрразведчики только зря хлеб едят. Командующий произнес эту фразу в сердцах, но штабной иерархией она была принята как официальная позиция, даже как руководство к действию. Для контрразведчиков наступили черные дни. Если прежде по первому слову им оказывали любое содействие, все «само падало», то теперь даже причитающееся «по закону» приходилось буквально выбивать, выхаживать по инстанциям, высиживать у дверей высоких кабинетов.

И вот в такую нескладную минуту Малахов затеял третью попытку найти фон Хальдорфа.

Хотя у него были чрезвычайные полномочия, и он не без основания рассчитывал на доброе к себе отношение фронтовых «тузов», от которых зависела поддержка операции, у Малахова создалось впечатление, что он уперся в стену.

Воздушно-десантный батальон, которым он имел право в случае нужды воспользоваться, оказывается, уже несколько дней сражался где-то в районе Белостока. И штурмовики, обещавшие поддержку, перебазировались под Минск. А прилетевшими им на смену эскадрильями командовали незнакомые люди. Мы знать ни-

чего не знаем, говорили они Малахову. Вот пусть начальство спустит приказ — тогда пожалуйста; сделаем что надо в лучшем виде.

Малахов принял это спокойно. Что-то в нем умерло, и это отразилось в его облике, да так, что было заметно всем. Он превратился в живой автомат, который, методично преодолевая препятствие за препятствием, неумолимо идет к цели. Он ходил из штаба в штаб, и хотя в проекте приказа о наступлении все еще не было окончательно установлено, какие авиационные корпуса после нанесения удара на главном, львовском, направлении будут переброшены южнее, на станиславское, которое как раз интересовало Малахова, он все-таки сумел договориться с летчиками о взаимодействии. Потом занялся «выбиванием» десанта. Все это решали генералы, генералов было много; они говорили «голубчик ты наш», и «дружок», и «милый Алексей Иннокентич», и другие ласковые слова; они готовы были наобещать золотые горы, но решать никто не хотел и потому каждый спешил спровадить Малахова к коллеге. Однако дело было ясное и нужное, и в конечном счете разрешилось положительно. И затратить-то пришлось на это всего полтора дня; если реально смотреть на вещи — не так уж и много.

(Кстати, офицеры из оперативного отдела не приняли версии Малахова. Ни в одной радиограмме не был пропущен контрольный знак; и радисты Смерша, поднаторевшие в этом деле, уверенно заявили, что в работе ключом не заметили каких-либо перемен; наконец, разведгруппа действовала грамотно и единственно верно. Что ж, постараюсь на деле доказать, что вы ошибаетесь, сказал Малахов, подумав при этом, как удобно пользоваться даже такой относительной свободой, какую имел он.)

Одиннадцатого июля под вечер Алексей Иннокентьевич возвратился в отдел и почти до восьми разбирал бумаги в своем письменном столе. Поужинав в офицерской столовой, он заспешил к себе на квартиру и положил в портфель чистое полотенце, зубную щетку и бритвенный прибор, хотя решил еще раньше, что в поиске будет действовать в немецкой форме, значит, и предметы туалета у него должны быть подобраны соответственно; но этим он мог разжиться на месте. Потом он сел в свою «эмку», сказал шоферу: «Давай че-

рез Тарнополь, — закрыл глаза и выдохнул еле слышно, словно поставил точку на прошлой жизни: — Все...»

Было еще светло, хотя местами, когда дорога ныряла под темные своды старых тополей, становилось сумеречно. Движение было небольшое. Вот через часполтора здесь не протолкнешься: последние двое суток перед наступлением — самая лихорадка. Красивая земля, думал Алексей Иннокентьевич, глядя на распаханные холмы с дальними перелесками, с лентами огородов, но не жалел, что больше никогда не увидит этого. Он вообще об этом не думал. С той минуты, как он решил, что пойдет с разведкой, его душа жила одним: ожиданием. Она терпеливо аккумулировала в себе ненависть. Встретиться лицом к лицу, и из автомата — от живота — в упор!.. Он так это ясно себе представлял, так живо, что содрогался даже и пальцы непроизвольно сжимал до онемения. О боже, шептал он, дожить бы, дождаться бы; кажется, зубами глотки бы им грыз...

Он забыл на время, что он разведчик-профессионал, что у него совсем другая работа. Он сам поставил диагноз, и сам определил себе лечение, и наслаждался мыслью, что сможет, как все, как другие, как рядовые солдаты. Хоть один раз в жизни!..

За Тарнополем дорога пошла прямо на юг. Здесь движение стало еще меньше. Шофер прибавил газу. Ночь летела им навстречу, сухая, жаркая, черная, и только контрольные посты и длинные вереницы «студебеккеров», которые приходилось время от времени обгонять, напоминали о войне.

Капитан Сад встретил Малахова настороженно, с нескрываемым внутренним сопротивлением: не забыл их первого разговора. Намерение присоединиться к поисковой группе пришлось ему тем более не по душе.

— Это связано с большим риском, товарищ подполковник, — попытался воспротивиться он.

— Знаю.

— Боюсь, что не совсем...

— А вы не боитесь, что мне не понравится ваш тон?

Они сидели друг против друга в просторной чистой горнице. Между ними был небольшой стол, застланный старенькой рядниной, сейчас пустой, если не считать светильника, сделанного из гильзы от сорокапятимиллиметровки, сплющенной по горловине. Светильник стоял чуть в стороне, чтобы не мешал видеть друг друга.

— Почти все опытные ребята ушли с первой группой, — сказал капитан Сад. — Мне придется вести мальчишек. Других не осталось.

Малахов с трудом подавлял в себе досаду. Нет, не таким представлял он этот разговор — разговор перед уходом в разведку, на который зачастую отпущено совсем немного слов, бывает — всего две-три фразы, вроде бы и несущественных, если поглядеть со стороны, но именно в них рождается то безграничное взаимное доверие, которое там, за линией фронта, становится твоей надеждой и силой, дает ответ: будешь ли ты, вернешься ли, выполнишь ли свое задание...

Впрочем, а мог ли быть иным этот разговор? — подумал Алексей Иннокентьевич. Вряд ли. Ну представь себя на месте этого капитана — кого он во мне видит? Очевидно, охотника за острыми ощущениями или внеочередным орденом. Не иначе. А он уже думает о деле, о своем задании, и от мысли, что сидящий перед ним штабной чиновник вдруг в какой-то момент начнет вмешиваться, подавать советы, а то и командовать, — от одного этого ему муторно становится. Он прав, этот капитан Сад, заключил Алексей Иннокентьевич, но ведь и я прав тоже. Жаль, этого он сейчас не поймет... да я и не стал бы объяснять! Он обязан подчиниться, и выполнит приказ — большего от него в данную минуту и не требуется. Но когда мы выйдем на последнюю черту, оно должно уже будет жить в нас — наше взаимное доверие. А для этого первый шаг нужно сделать уже теперь; трудный шаг: нужно пойти на компромисс. Человек должен знать это сам, этого объяснить невозможно в такую минуту. Как жаль, что сегодня — пока что — это придется делать мне одному...

Но надо было сделать это так тонко, чтобы оно сложилось вроде бы само по себе, чтобы молодой, но уже достаточно уверенный, а потому и жесткий командир дивизионной разведроты не решил, что подполковник с надломом, что достаточно чуть упереться, чуть надавить — и уступит.

— Никак не соображу, капитан, на что вы надеетесь: разжалобить меня или напугать?

— Я объяснил, как оно есть... Только и всего.

— Тогда оставьте ваши сантименты насчет мальчишек. Это солдаты. А поскольку их отобрали в разведку,

смею надеяться, это лучшие из солдат. Или я заблуждаюсь?

— Вы правы, — сказал капитан Сад.

— Еще я надеюсь, что из лучших будут выбраны лишь те, с кем мы сможем выполнить задание. — Малахов увидел, что взгляд собеседника стал каким-то рассеянным, даже отрешенным, и спросил, смягчая тоном бесцеремонность вопроса: — О чем вы задумались, капитан?

— О своих ребятах, товарищ подполковник. О тех, кто уже там... — Он встретился взглядом с Малаховым, почувствовал в нем поощрение и добавил: — Понимаете: они ждут меня. Если живы, конечно... Они знают, что я приду и выручу их. Я помню об этом, и оно во мне сверлит и днем, и ночью... Извините, пожалуйста.

— Ничего.

— Значит, вы настаиваете на своем участии, товарищ подполковник?

— Считайте, что дело решенное, капитан.

— Слушаюсь.

— Считайте, что это необходимость... что мне, очевидно, придется выполнять свою локальную задачу.

— Слушаюсь, — повторил капитан Сад; в его взгляде что-то едва уловимо напряглось. «Он не знает слова «локальный», — догадался Алексей Иннокентьевич, но, поскольку не сомневался, что смысл фразы понят капитаном правильно, не стал объяснять, боясь задеть его самолюбие.

— И последнее, капитан. Командир группы — вы. Для меня тоже. При любых обстоятельствах. Ясно?

— Не очень... не вяжется как-то.

— Сейчас увяжется. Будем считать, что «товарищ подполковник» останется в этой горнице, а выйдет отсюда просто Алексей Иннокентьевич. Скажем, переводчик. И никто в ином качестве знать меня не должен.

Малахов вопросительно взглянул на капитана, тот кивнул, качнулось пламя в гильзе, и тотчас под стеной, где стояла широченная, разбухшая перинами железная кровать, засветились на миг и тут же погасли, превратившись в едва заметные точки, четыре большущих медных шара, украшавшие спинки кровати.

Следующий день пролетел незаметно; сборы и мел-

кие хлопоты поглотили его. Оказавшись в положении исполнителя, человека подчиненного, Алексей Иннокентьевич нашел в этом немало удобства. Правда, какое-то время он контролировал капитана — осторожно, чтобы ни он сам, ни остальные не заметили, но вскоре убедился, что тот дело знает, и успокоился совершенно. И тотчас какая-то усталость обволокла его. Не физическая — он чувствовал себя превосходно. Но опять между ним и миром встали незримые стены, опять потускнели краски и уши будто ватой заложило, и он никак не мог попасть в ритм с окружающими, на все реагировал с опозданием, только теперь это уже не волновало его. Он ждал. Он весь погрузился в ожидание, как в спячку. Теперь уж совсем недолго осталось ждать, с улыбкой думал он.

И лишь однажды мысль ожила в нем, правда случилось это мимоходом. Он шел вдоль опушки леса со свернутым мундиром немецкого пехотного офицера под мышкой, и вдруг справа лес будто разрубили — открылась прямая широкая просека, и в дальнем ее конце — очень красивый закат. Алексей Иннокентьевич не остановился, шел и думал: ведь не исключено, что он видит закат последний раз в жизни. Ну вот возьмут да и убьют его через несколько часов, при переходе линии фронта. Обычное дело! Но эта мысль его не опечалила, только рассмешила. Столько лет воюю, думал он, а вот ведь когда впервые довелось испытать такое.

Выступили в ночь. Это была ночь на тринадцатое — срок наступления армий правого крыла и центральной части фронта. Здесь, на юге, наступление должно было начаться неделей позже, но капитан Сад рассудил, что если противник знает срок наступления и собирается оттянуть войска на вторую линию обороны, так он это сделает по всему фронту — и оказался прав. В первой линии остались только заслоны, а во второй в эту ночь царила такая неразбериха, что пройти небольшой группой весь укрепрайон не составило труда. Шли ходко, так что к трем часам утра пересекли железную дорогу Коломыя — Станислав. Но к следующей ветке, которая вела на Делятин, успели только на рассвете. Оставаться перед нею было рискованно — открытое место, а пересечь страшно: видимость исключительная; не дай бог, попадешь на глаза хорошему пулеметчику — в полминуты всех на полотне положит. Но капитан Сад ска-

зал: «Пошли», — и обошлось счастливо, и они уже при солнце пересекли расположение венгерской 2-й танковой дивизии: измученные бессонной ночью и бесплодным ожиданием русского наступления, венгры спали вповалку.

9

— Это он, — сказал капитан Сад.

— Пожалуй, — согласился Малахов. — Но мы должны это знать точно.

Они лежали в призрачной тени ивняка на краю двухметрового песчаного обрыва. Перед ними было озеро, такое же гладкое и белое, как небо, а на том берегу, почти напротив, стоял замок.

Если считать по прямой, до замка оставалось не меньше полутора километров, хотя и казалось, что он вовсе рядом: озеро скрадывало расстояние. Замок стоял посреди долины; он был аккуратненький и светлый, крытый красной черепицей, и даже башня из дикого камня смотрелась весело.

Где-то близко были горы, но сейчас их скрывала сверкающая белая стена раскаленного неба, а сюда докатывалась только слабая волна пологих холмов. Да и те вдруг расступались, словно напоровшись на волнорез. Холмы разлетались в стороны, будто крылья, и неприметно сходили на нет.

— Все ничего, только... голо очень, — сказал капитан Сад, силясь вспомнить, откуда глубокая царапина на кожухе его «цейса»; заклеить бы надо, больно хороший бинокль.

— Думаете, не подступимся?

— Почему же. Только зубов нам наломают — это факт.

— Будет жаль, если мы ошиблись.

— Да. Но я уверен.

— Собственно говоря, для уверенности оснований не густо. Одна антенна. Вполне может оказаться какая-нибудь заурядная фашистская радиостанция. — Малахов, даже не глядя на капитана, почувствовал внутреннее движение в нем, усмешку, что ли. — Я чего-то не вижу, Володя? Если не секрет — подскажите.

— Ландшафт...

— Ландшафт?.. Вы имеете в виду этот прелестный луг?

— Там, где он был прелестным, — свежая порубка. Чтобы обеспечить сектор обстрела.

— Ловко.

Капитан Сад понял, что это похвала его глазу, и пренебрежительно хмыкнул в ответ, хотя в душе был польщен. А вообще-то хвалить было не за что, дело обычное, как говорится: этот хлеб едим. С лета сорок первого года, день за днем, по многу часов подряд он изучал немецкие позиции; сотни их прошли перед ним; и такие «технические детали», как секторы обстрела, он регистрировал уже автоматически, почти без напряжения мысли: просто констатировал очевидный факт — и только.

Кстати, психологию немцев, их привычки, регламент, — не говоря уже о тонкостях и вариациях их фортификационного искусства, — капитан Сад знал, наверное, лучше, чем свое российское, которое было под боком, привычное и незаметное для глаза, как родная улица. Свое было частью его жизни, и потому предполагалось, что уж это он знает тем более. Но свое он не изучал, над своим не думал ночами, не искал в нем закономерности, слабые точки и болевые узлы. Оно ему не нужно было. Свое изучают, чтобы совершенствовать и строить. А капитан Сад изучал, чтобы вернее уничтожать. Такая у него была работа.

Малахову замок очень понравился, хотя в бинокль он был не так пригож. Собственно говоря, это был вовсе никакой не замок, а шляхетская усадьба с многочисленными службами и двухэтажным особняком. «Псевдоклассический ампир», — с удовольствием — не все вытравила из него война! — определил Алексей Иннокентьевич. Но башня была настоящая, из дикого камня, не испорченная зубцами и балкончиками. Ее чистый контур аккумулировал в себе столько истинно замковой величавости и гордыни, что ее с избытком хватало на весь ансамбль. Башня объединяла и облагораживала его.

Службы, флигеля и конюшни разглядеть было непросто даже в бинокль: их почти закрывала высокая стена из того же камня. Стена была, очевидно, декоративная, но тем не менее, даже имея сорокапятку, здесь

пришлось бы повозиться. Службы стояли серые, с замшелыми крышами; только панский дом был подремонтирован недавно.

В замке не было видно ни души. Может быть, он не привлек бы внимания разведчиков, если бы не антенна на башне. Вблизи она наверняка была незаметна, но с этого высокого берега да еще в бинокль смотрелась неплохо. Прекрасная современная антенна, явно не кустарная.

— Как бы там ни было, — сказал Малахов, — срок истекает завтра. Так что этот замок — наш последний шанс.

— Вы говорите «замок»? — капитан Сад удивился. — Вот уж не думал, что они такие. Я всегда, знаете, какими их представлял?..

И капитан Сад, ощущая нехватку слов, попытался передать образ руками, но тут же себя остановил: когда-то его учили, что это неприлично, он все перезабыл давно, однако при Малахове старался держаться «хорошего тона», хотя бы в своем собственном понимании его.

— Мы и до тех еще доберемся, Володя, — сказал Алексей Иннокентьевич.

— Вы их видели в натуре?

Это сорвалось у капитана непроизвольно, без всякой связи с тем, что он до сих пор думал о Малахове. Как бы озарение, перекинувшее мост через пустоту: он ведь ничего не знал о прошлом Алексея Иннокентьевича, а если и задумывался, представления были основаны на собственном жизненном опыте, ну еще и тех немногих людей, которых капитан Сад успел близко узнать. Но слово «замок» дало неожиданный поворот мысли, о Малахове вдруг подумалось иначе, он спросил... и понял, что не должен был задавать такой вопрос, что лучше б ему поменьше знать об Алексее Иннокентьевиче... Тот повернулся к капитану, и по выражению его глаз можно было понять, что он тоже так думает.

— Видел, — чуть помедлив, спокойно ответил Малахов.

И они снова стали наблюдать замок.

— Не нравится мне эта штука, — шептал одними губами капитан Сад, — ох как не нравится... нехорошее место... — и еще всякие слова в том же духе. Та-

кая расплывчатость, неопределенность формулировок не была ему свойственна. Но если бы сейчас даже сам начштаба дивизии потребовал от него конкретности — и то капитан толком вряд ли смог бы объяснить, в чем дело, откуда это настроение. А для себя самого он не стал в этом разбираться. Подумал только, что, будь его воля, обошел бы это место стороной. Почему? А почему так бывает, что идет человек по дороге и вдруг чувствует: надо свернуть. Немедленно! Сию минуту!.. Он еще колеблется какое-то время, не понимает, откуда это чувство и что его так тяготит — и тут его сбивает автомобиль...

Но капитан Сад не имел права свернуть, да и не хотел сворачивать. От старых солдат он слышал о предчувствиях, знал, что так бывает, но ему до сих пор это ощущение было незнакомо, никогда еще не испытано. Он с любопытством прислушивался к себе, но не более того. Ведь он пришел выручить ребят. И у него было задание. Все, что ему оставалось, это наблюдать, как надвигается неотвратимость в образе игрушечного, залитого солнцем замка...

А Малахов думал о лежащем рядом с ним на песке капитане. Таком деловитом и уверенном специалисте войны. В свои двадцать два года капитан Сад знал о войне все, потому что был ее продуктом, ее кровным детищем. Она научила его думать и смотреть. Она научила его жить. Все через призму войны... Сколько их — таких — встречал Малахов, но только сейчас подумал, каково им придется, когда война закончится и все закрутится по иным — чуждым для них, трудным для них — законам...

Тут к ним подполз радист Сашка. Природа, как говорится, не пожалела на него материала. Метр девяносто семь рост, и плечи по мерке, попробуй сумей эдакую глыбу незаметно провести через линию фронта, но с ним любили ходить в поиск: рацию и батареи он всегда таскал сам, без помощи и без подмены, и автомат свой никому не доверял, а если требовалось вынести «языка» — и здесь Сашке равных не было. При этом он не кичился своей силой и нрава был легкого. Не мудрено поэтому, что хотя в разведроте он был недавно, но успел стать ее любимцем, да и в штабе дивизии тоже. А эта счастливая судьба, как известно, в первую очередь калечит характер. Вот и сейчас он позволил себе

вольность, которая никому другому и в голову бы не пришла.

— Товарищ капитан, — зашептал он, — дозвольте окунуться.

Капитан Сад глянул через плечо. По совсем еще детскому Сашкиному лицу пролетали тенями, немыслимо сочетаясь, лукавство, и робость, и надежда, чуть ли не каприз...

— Нет, — спокойно сказал капитан Сад.

— Ну товарищ же капитан! Тут омуток аккуратный. И деревья к самой воде...

— Я сказал.

Занятый собой, своим нехитрым внутренним миром и своими реакциями на такой красочный для него каждодневный калейдоскоп, Сашка не замечал нюансов в поведении окружающих. Он знал, что все его любят, и это трансформировалось в уверенность, что за любую шалость он будет прощен и, следовательно, ему в общем-то все позволено.

— Ведь мочи нет — жарко.

Капитан Сад нехотя перекатился на спину, ощутив на мгновение горячее прикосновение песка, и сел.

— Вот что, Саша, вернемся — в первый же день отчислю в пехоту. Ясно?

Капитан не грозил — за ним это не водилось, и его ровный тон ввел Сашку в заблуждение. Словно котенок, принимающий легкий шлепок за приглашение к игре, он не придал значения смыслу слов, он к ним даже не прислушался. Куда важнее было то, что не прогнали сразу, что разговаривают; наконец — чем черт не шутит! — что вдруг и впрямь удастся выклянчить разрешение хоть на несколько минут заползти в воду...

Но тут их взгляды встретились — и Сашка замер. Что затем произошло — он так и не понял, и позже не смог бы объяснить тоже, только его вдруг охватил ужас. Капитан глядел на него совсем не страшно, даже вроде бы с жалостью, но что-то было и в лице капитана, и в его глазах, а может, оно передавалось как-то иначе, прямо из души в душу, но у Сашки внутри все заледенело, он побелел, стал пятиться, пятиться на четвереньках, уперся в толстую ветвь и совался в нее раз за разом, как муха в стекло, и не мог обернуться, словно не в силах отклеить взгляд от лица командира...

А мистики здесь не было никакой. Просто капитан

все еще находился во власти навеянных замком предчувствий; он один пока догадывался, чего вся эта операция будет стоить. Замок стал призмой, через которую он видел все предметы, и потому, пригрозив Сашке отчислением в пехоту, капитан вдруг подумал: если так повезет, что ты вернешься. И тотчас же мысль (это с ним было впервые) воплотилась в образ. Он видел перед собой Сашку свернувшимся в клубок, но тот не спал, он был убит, только сразу невозможно было разобрать, куда в него попало. Этот образ был необыкновенно реален, он вытеснил настоящего Сашку, и хотя реакция у капитана была хорошая — он тут же спохватился и усилием воли попытался разбить навязчивый образ — это ничего не дало.

— Что это с ним такое? — раздался рядом голос Алексея Иннокентьевича.

Капитан отозвался не сразу. Вытер пилоткой мокрое от пота лицо; вздохнул: чего уж там, ладно... потом добавил: насмотрелись вроде бы, пора идти. Да так и не оглянувшись больше на замок, сполз по песку вперед ногами в кусты.

Они спустились в сырую ложбину, прошли по дну ее до первых деревьев, и Малахов поблагодарил судьбу, глядя, как насторожен и чуток капитан Сад, как он автомат держит, в любое мгновение готовый стрелять. С таким не пропадешь, не загубишь все дело из-за ерундовой оплошности.

Разведчики спали в тени старого бука. Распаренные, осунувшиеся от изнурительных переходов: за эту неделю километров триста нашагали. Спали без сапог. Аккуратно разложенные портянки белели на жухлой траве. Вопиющее нарушение маскировки, но капитан Сад вопреки своему обыкновению даже не укорил дневальных.

— Подъем, — сказал он и потер колючий подбородок.

10

Потом они долго шли параллельно озеру. До заката оставалось больше четырех часов. Солнце ослабело, но в ивняке воздух не продувался, и тени не было, и от песка поднимался жар, а рощи попадались редко.

В шестом часу они вышли на глухой проселок, не

обозначенный на карте. Вдоль проселка росли дуплистые тяжелоголовые вербы; по сторонам время от времени открывались проплешины, заросшие редкой колючей травой песчаные холмы; белый песок ослепительно сверкал на солнце.

— «Студенты» — в головной дозор, — сказал капитан Сад. — Остальным рассредоточиться. Интервал пять метров. Замыкающим будешь ты, лейтенант.

Лейтенант Норик Мхиторян, маленький и черный, как жук, кивнул и остановился, пропуская мимо себя разведчиков. Оба «студента» — сержанты Сережа Сошников и Рэм Большов, — напротив, прибавили шагу, и через несколько минут их расплывающиеся, смазанные зыбким воздухом фигуры уже ныряли из солнца в тень, чтобы опять возникнуть на солнце, метрах в ста впереди. Все выполнялось молча, но не из предосторожности, в их работе всегда, впрочем, не лишней, — просто сил уже не оставалось.

Разведчиков было одиннадцать.

За прошедшую неделю Малахов успел к ним привыкнуть, его глаз как бы притерся к ним и уже не замечал в их облике ничего необычного. Но не случалось дня без какого-нибудь казуса, пусть даже пустякового, вроде последней Сашкиной штуки, — и тогда Малахов опять вспоминал, и осознавал, и видел, что это мальчишки. Неотделимые от оружия, небритые, самостоятельные в суждениях и поступках (во всяком случае, они стремились выглядеть такими), демонстративно уверенные в себе и подчеркнуто бывалые, это были все-таки мальчишки. Пусть вчерашние, бывшие, уже перешагнувшие какую-то черту, по существу это не меняло ничего. Война остановила в них какие-то стрелки, какой-то ход, задержала в них определенный возраст, — ни больше и ни меньше, — и это уже было бесповоротно, навсегда, до самого конца их жизни, как бы ни менялись ее обстоятельства и их внешний облик, потому что такими они нужны были войне. Для всех ее мерзостей и величия. Для ее бессмертных подвигов и бесчестья...

Самому великовозрастному из них, старшине Ивану Григорьевичу Ярйне, едва перевалило за тридцать; остальные моложе капитана; большинству не было и двадцати лет.

Увидав их впервые, Малахов растерялся. Важность и сложность задания уже вошли в его существо, были

от него неотделимы; нешаблонность, тщательность и выверенность действия, каждой детали — об этом даже говорить не стоило, это было очевидно, это подразумевалось; тем более о подборе исполнителей. И вот он увидел их: румяных, вальяжных, истомившихся от безделья; и от безделья же, от детскости, которой в каждом из них имелось еще с избытком, пускавшихся в проделки, достойные в лучшем случае большой перемены у старшеклассников. «Пустуны, — качал головой Ярина, — одно слово — пустуны. Ремня на вас хорошего нет». Но по глазам старшины было видно, что он и не думает их порицать; скорее напротив, считает это естественным и правильным, и, может быть, даже необходимым сейчас.

Но это наблюдение было уже вторичным, а в первую минуту где-то внутри Малахова раздался отчаянный крик: так ведь это же мальчишки! — и, видать, оно столь явно отпечаталось на его лице, что и произносить не надо было. — Я предупреждал вас, Алексей Иннокентьевич, — сказал капитан Сад холодно. Он и не подумал оправдываться, смысл реплики был иной: это мои парни, и в обиду их не дам. — Да, конечно... я помню... — почему-то заторопился Малахов. — Но мне и в голову не приходило, что это не фигуральное выражение... что так оно и есть... — Не берите это в голову, — сказал капитан Сад. — Мы только с ними имеем шанс... — он зло поправился: — Только они могут выполнить это задание.

Триста километров, пройденные по тылам врага, помогли Малахову понять их. Но так и не сняли сомнений. Он сблизился с некоторыми из разведчиков; они судили о нем по себе, были к нему снисходительны и даже добры, а он принимал и снисхождение, и доброту, и покровительство, а сам все пытался представить, каковы-то они будут в деле. Но дела до сих пор не случилось, и слава богу. Дело предстоит одно-единственное, в самом конце. Но тогда будет поздно убеждаться, смогут или нет, тогда уже не будет выбора, даже самого малого, с горечью думал Малахов.

Ему пришлось тяжелее всех. Он был растренирован и, если говорить честно, — болен. Нынешней весной, в самом начале, во время боев за Жмеринку его так прижало, что даже в госпиталь попал; думал — радикулит, оказалось отложение солей в области позвоночни-

ка. Смотрел его знаменитый хирург, посмеивался: вам бы на радон, дорогуша, в Мацесту, и каждый день непременно лечебную гимнастику, причем с нарастающими нагрузками, да чтоб не жалели себя, ломали, кричали... это не беда, когда кричат — злее становятся. Алексей Иннокентьевич привык к малоподвижной жизни и комфорту, насколько его можно было позволить во фронтовых условиях, а жестокие пешие переходы, дай бог памяти, в его жизни вообще были только однажды: когда отступали к Пиренеям; и позже, когда он скитался по долине Роны и обходил стороной не только железнодорожные и автобусные станции, но даже фермы, потому что фалангистская контрразведка оцепила все на свете, так как, видите ли, какая-то сука в генеральском мундире поклялась на библии, что Малахов из этой долины не уйдет живым.

Изнурительная гонка, которую устроил капитан Сад, не только не помогла Малахову войти в форму, напротив, он вымотался настолько, что иногда уже утрачивал ощущение тела. Но он не пожаловался ни разу. И никто ни разу не предложил ему помощи: знали — этого нельзя делать, потому что он не принял бы помощь; это было бы знаком недоверия к его силам, а он этого не заслужил.

Он знал, что этот переход последний, но это знание не прибавило сил. Тела не было. Оно то исчезало совсем, то превращалось в измятую болью, некоординированную массу, которая двигалась вперед лишь потому, что в такт каждому шагу, как счет этих шагов, с губ срывалось безмолвное: дойду, дойду...

Но иногда его отпускало, он начинал видеть спину идущего впереди, а затем и все вокруг. И он почему-то воображал, что земля обезлюдела, на ней никого-никого нет, всех как под метелку вымело; только они и остались — одиннадцать человек. И они идут выполнять задание, которое потеряло смысл, потому что никого больше нет, ведь всех как под метелку вымело, и сколько ни старайся, на какие муки ни иди, им задания никогда не выполнить, потому что не дотянуться до него, потому что все это выпало из реальности, все существует лишь в его воспаленном мозгу, мерещится ему: и густой багровый воздух, и небо в багровых вспышках, и багровый огонь, пробегающий сбоку по жестяной траве...

Как тяжело подниматься на Голгофу, думал он, и вдруг его ноздри ловили запах ряски, принесенный со стороны озера нечаянным ветерком, а глаза отдыхали на залитой чабрецом лужайке. Это мой последний день, бормотал он тихо, но от слов оставался только звук; они проходили мимо сердца; они не задевали и проходили насквозь, не оставляя раны. Ничего, думал он, этот день когда-то приходит, раньше или позже, и тебе остается сделать что-то одно... последнее... И я сделаю это хорошо. Это мой долг, вот и все, и другого мне хода нет. И если бы мне даже сказали сейчас, что, кроме нас, на земле никого не осталось, всех как под метелку вымело, я б и тогда дошел бы, дополз на зубах, разыскал бы Хальдорфа. На всякий случай...

По карте до села было совсем недалеко, но километры растягивались, как резиновые. Напоследок проселок вывел их в неожиданно развернувшуюся овальную долину. Долина была пустая, только посредине квадратом чернели остовы четырех обгорелых зданий. Какое время! — никому и в голову не придет, что здесь могла бы быть ферма. Тем более солдату, который с боями прошел всю Украину и уже вдосталь нагляделся и на такие бараки, и на плацы, на подсобки и обгорелые пни по краям, где прежде были вышки, а теперь здесь тишина и только в одном месте земля осталась мертвой, ее словно серебром залили, а так везде уже начало зарастать травой. Через пару лет и следа не останется.

Это место они постарались пройти поскорей, потому что воздух здесь был такой сухой и колючий, что казалось, будто дышишь песком.

Потом так же неожиданно открылось село. Совсем небольшое. Дворов около двадцати: две нестройные шеренги закопченных печей, похожих друг на друга, как близнецы. Видать, работал их один мастер. Единственная уцелевшая хата стояла на противоположном конце села, возле моста через ручей. Очень прочного и широкого моста, это даже издали было видно. Пожалуй, средний танк пройдет, привычно прикинул капитан Сад, хотя сейчас эта информация была ему вовсе ни к чему, и почти не было шансов, что когда-либо пригодится.

«Студенты» уже успели пересечь село и заняли удобные огневые позиции, контролируя двери и окна уцелевшей хаты. Рэм дал знак: здесь кто-то есть. Капитан Сад с минуту глядел оценивающе. Опасности не было,

тем не менее он развернул разведчиков в цепь, и они прочесали обгорелые просвечивающие сады.

Хата имела жилой вид. Капитан обошел ее кругом, заглянул в низкий сарай и лишь затем постучал в дверь. Тотчас отозвался старческий голос:

— Входите, кого бог послал.

В хате было темно, пахло сырым глинобитным полом и травами. Капитан собрался попросить, чтобы открыли ставни, но передумал: глаза быстро привыкли к полумраку. И тогда он разглядел деда. Дед был в длинной белой рубахе, сухонький, но еще крепкий, эдакий желвачок. Он сидел на широкой лавке возле окна, немного сутулился и выставлял вперед правое ухо. За край лавки держался цепко, не спешил вставать. Значит, уже видел нас через щель в ставне, а может и раньше, понял капитан Сад.

Под бедными литографическими образами горела лампадка. По сторонам пышными гирляндами свисали бело-розовые бумажные цветы.

Старуха тоже была здесь. Она лежала в противоположном темном углу на высоких подушках и все время молча ворочалась. Разглядеть ее так и не удалось.

— Добрый день, отец, — сказал капитан Сад, но ответа не дождался и добавил: — Водой бы угостил, что ли.

Дед молча спорхнул с лавки и принес воду в деревянном черпаке. Капитан дал напиться Малахову, потом долго пил сам. Вода имела приятный привкус. Должно быть, источник где-то рядом, минводы, с удовольствием подумал он и сказал стоявшему в дверях старшине:

— Иван Григорьевич, проследите, чтоб у всех ребят во флягах была эта вода. Классная штука. Вот попробуйте.

Он отдал Ярине черпак, повернулся к деду.

— Ты что же, отец, и говорить с нами не хочешь?

— Хе! Поговорить не отвалится, — не скрывая иронии, неожиданно охотно отозвался дед.

— Ты что же, не видишь, что мы свои?

— Вижу. Уж непременно чьи-то да будете.

— Ты не смотри, что ребята пестро одеты, — кивнул капитан Сад в сторону двора. — Это, отец, для дела. А так они тоже наши, советские.

— Машкерад, значит.

— Вот-вот. Ты же небось видал партизан-то?

— Как же, — совсем весело согласился дед, — в прошлом годе заходили, вот от села одни головешки остались. И людёв не обошли увагой, царство им небесное.

Капитан Сад посмотрел на Малахова. Тот вроде бы и не слушал разговора; во всяком случае, включаться не собирался. Присев на покатую крышку громоздкой скрыни, разглядывал фотографии в простенке между окнами. Они были собраны под одним стеклом в рамке из лозины. Неужели он может что-нибудь разглядеть при таком свете, подумал капитан Сад и опять повернулся к деду.

— Понятно... А фрицы близко?

— Это которые? — деловито осведомился дед.

— Фашисты. Германец.

— А-а, германец. — Дед помедлил и вдруг уверенно зачастил: — Не знаю, ездиют кой-когда моторами.

— Часто ездят?

— Не считал.

— А тебя они не трогают?

— Меня никто не трогает. Я человек нужный. За мостком хожу. Видел мосток-то? Всем сподручный, а мне пенсион за хлопоты выходит.

Капитан понял, что иронию деда ничем не прошибешь.

Тут было что-то не чисто, далеко не так просто, каким казалось на первый взгляд. Но понять с налету не удалось, а разбираться времени не было. Капитан подавил злость и лишь слегка отвел душу.

— Неплохо ты устроился, отец, — сказал он.

— Хвала господу, не жалуюсь.

Вслед за Малаховым капитан вышел во двор.

Крыльца у хаты не было, только порожек. Но рядом удобная завалинка. Малахов понимал, что сейчас будет команда продолжать движение, а идти он не сможет. Где-нибудь сразу за мостом свалится в обмороке — стыда не оберешься...

Неторопливо, словно это ему и не к спеху, и не обязательно, а так только, профилактика, он сел на завалинку, стянул оба сапога, стянул портянки... пальцы ног и ступни зарылись в горячую пыль, а он прислонился спиною к шершавой известковой стене, закрыл глаза и даже застонал от наслаждения. Так он сидел какое-

то время, пока не осознал, что капитан все еще стоит рядом.

— Это не партизаны, Володя, — неторопливо и не открывая глаз сказал Алексей Иннокентьевич. — Это Хальдорф.

— Я так и понял.

— Он расчищал место, создавал мертвую зону. Но он не любит оставлять следов... прирожденный провокатор. И вот здесь тоже напустил переодетую банду.

— У меня были такие случаи, — сказал капитан Сад.

— Вы уже много знаете, Володя. Для своих лет очень много. Я даже боюсь сказать, хорошо ли это.

— Мы можем встретить здесь партизан?

— Нет.

— Это точно?

— Абсолютно. Их давно уже здесь нет. Год, как нет.

— Так даже лучше. Не люблю сюрпризов. — Капитан Сад еле слышно засмеялся. — Но дед каков! Бодливый.

— Он мне не понравился, Володя.

— Разве я говорю, что он понравился мне? Он держался так, словно мы с ним из одного сундука довольствие получаем. Но все равно не доверял.

— Прежде он жил не здесь. В большой пятистенке... и без сада. И сундук не здешних мест: наш, российский. Богатый был хозяин. Куркуль...

Алексей Иннокентьевич почувствовал, что ноги уже впитали весь жар, и передвинул их чуть в сторону, в нетронутую пыль. Их опять обожгло, что-то поднималось от ступней по жилам; до самого сердца поднялось.

— Хотел бы я знать следующее, Володя, — сказал он, когда смог наконец опять говорить. — Как дед очутился в этих местах? — раз. Где теперь его сыновья? С кем они? — два... — Он вдруг понял, что просто тянет время, хитрит, чтобы лишнюю минутку вот так посидеть, а со стороны это выглядит мальчишеством, даже пижонством, и сам себя оборвал: — Впрочем, все это схоластика.

— Красиво работаете.

— Пустяки. Если бы я не занялся фотографиями, это пришлось бы сделать вам, Володя. И вы увидели бы то же самое.

— Я б их просто не заметил.

— Предупредите деда, чтоб два дня из дома ни но-

гой. Чтоб печь не топил, ничего не вывешивал во дворе... Короче — надо исключить сигнализацию.

Малахов спохватился: его тон скорее напоминал распоряжение, чем совет, а между тем, как условились, командиром группы был все-таки капитан Сад. Но услышать их не мог никто, и дело было слишком важным; капитан вникал в суть и на форму не обратил внимания. Повезло мне с ним, уже в который раз за эти дни подумал Малахов.

— Конечно, это вам решать, Володя... И вам выбирать степень воздействия на старика, — сказал он. Капитан взглянул удивленно и понимающе усмехнулся, и Малахов понял, что реверанс получился неловкий и нужды в нем не было. — Но он — крепкая штучка. Уверенно держится. Его надо на совесть настращать.

— Думаете — человек Хальдорфа?

— Почти убежден.

— Угу... действительно: смотритель при мостике... должность уж больно чудная.

— Он пошутил, Володя...

Когда капитан Сад вернулся, Малахов сидел все в той же позе. Глаза его были закрыты, правая рука придерживала лежавший рядом на завалинке «шмайссер». Он ждал, что скажет капитан, но капитан стоял молча, и тогда Малахов открыл глаза.

Капитан Сад наклонился к нему.

— Вы уже можете идти?

Значит, вся эта остановка только из-за меня, с болью подумал Малахов. Он жалеет меня и бережет. Быть может, даже в ущерб делу.

Ему стало стыдно, он чуть замешкался с ответом и пропустил еще один удар.

— Осталось совсем немного, Алексей Иннокентич.

Малахов выпрямился.

— Да-да, конечно... Я вас не задержу.

Дорога через мост была хорошо накатана. Норик Мхитарян сказал, что это немецкие армейские телеги: видно по ширине колеи. Больше ничего он был не в силах сказать, потому что сегодня в сторону замка здесь промчался на приличной скорости бронированный вездеход, и если до него на дороге можно было что-нибудь прочесть, то сейчас это было исключено — все запорошила пыль.

За мостом капитан Сад запретил разведчикам выхо-

дить на дорогу. Они тянулись по расчищенной от кустарника обочине, вдоль самых кустов, пока перед ними не открылась большая поляна. Крюк предстояло сделать изрядный, но ведь не станешь же рисковать перед последним шагом, и они обошли поляну так же добросовестно. Однако едва снова выбрались к дороге, как лес опять отступил и они увидели часовню. Часовня стояла на открытом месте. Сразу за нею начинался луг. Он был огромен — до самых холмов на горизонте, и по нему изредка — всего несколько штук — дубы. А в конце луга был замок. Солнце уже выбрало ложбинку между холмами, и тени вытягивались на десятки метров, сливались одна с другой — готовились к своему недолгому торжеству.

— Жаль, — сказал капитан Сад. — А я рассчитывал опереться на часовню. Готовый дот. Только это западня.

Лагерь они устроили в сотне метров от дороги. Это была совсем маленькая полянка, поперек которой лежал сваленный бурей бук. Случилось это не дальше чем год назад: с вывернутого корневища непогода смыла не всю землю, и на дне ямы коричневая глина была почти не тронута травой.

— Сегодня накормим ребят настоящим ужином, — сказал капитан Сад своему лейтенанту. — Первое и второе, как положено. На гарнир сделать рис.

Это была забота старшины, и Норик Мхитарян даже удивился в первую минуту, что капитан с ним об этом заговорил. Но тут же понял, что Ярина будет занят чем-то другим, и закивал утвердительно, даже языком зацокал:

— Хорошо, джан. Рис буду сам варить.

— Правильно. Я на это и рассчитывал... Костер пусть разведут в яме за корневищем. Но только после десяти. К дороге выставь дозор. С пулеметом. И пока светло, Норик, возьми ребят и прочеши кромку леса.

Затем капитан велел Ярине прихватить цивильное, молча, одним кивком поднял с травы «студентов» и пошел через лес к дороге.

Между прочим, у одного из «студентов» — а именно у сержанта Сергея Сошникова — было еще одно прозвище: «технолог», хотя вряд ли даже капитан Сад мог бы вразумительно растолковать, что это слово означает. Когда Сошников появился в роте впервые, капитан Сад, представляя его будущим товарищам, сказал, огляды-

вая долговязую фигуру новичка: вот у нас появился еще один славный воин, между прочим, образованный человек, в институте учился. На кого ты учился в институте? — спросил он у Сошникова, и тот ответил, что на технолога. Все подивились: и чему только на свете не учат! Это не стало причиной какого-то особого отношения к Сошникову, но прозвище уже прилипло к нему, хотя никто еще об этом не догадывался.

Другой «студент», сержант Рэм Большов, учился в университете и успел перед войной закончить первый курс юридического. Он всем это рассказывал, и слово «юрист» не сходило с его языка. Под конец он отбросил дипломатию и уже прямо говорил, что в прежней части его звали только «юристом», и ему это очень нравилось. Не помогло. Может быть, и так, может, где-то тебя и в самом деле кто-нибудь так называл, сказали ему. Но для нас ты Рэм. Чем плохо? Рэм — и этим все сказано.

Рэм Большов, пожалуй, был единственным в разведроте, кто мог объяснить, что означает слово «технолог». Только его никто не просил об этом.

— Сначала осмотрим часовню, — сказал капитан Сад.

Изготовив автоматы к бою, четверо разведчиков охватили часовню полукольцом и осторожно приблизились к ней. Часовня была пуста. Она была очень старая, с высокими прямыми стенами, с маленькими зарешеченными окошками метрах в трех над землей. Штукатурка снаружи пообвалилась, и кирпич успел потемнеть, но не крошился. Люди строили и для тех, кто будет после них.

— И кирпич хорош, и раствор. Как из железа! — Ярина обошел вокруг, гладил кладку, пробовал цемент тесаком. — Вот работа! Мечта, а не работа. Добрый человек ее ладил.

Впрочем, черепичная кровля во многих местах была проломлена. Снаружи это не бросалось в глаза, но находиться внутри без привычки поначалу было даже страшновато: стропила сгнили совсем и держались только на железных болтах и скобах. Небо вливалось через проломы. В его густой синеве еще сохранилось достаточно силы, чтобы искажать перспективу, отчего проломы казались бóльшими, чем были на самом деле.

Все же за часовней кто-то следил. Стены были опрят-

ны, обвалившаяся штукатурка выметена; под большим деревянным распятием горела лампада. Глаза Христа были закрыты, лицо покойно. Он умер, вспомнил капитан. Он сделал свое дело и с чистой совестью умер. Это было понятно.

Капитан Сад попытался вспомнить, какое задание имел Христос. За свой недолгий век он усвоил твердо, что каждый человек имеет свое место в строю — с той или с этой стороны — и свое задание, которое нужно постараться выполнить наилучшим образом. Смерть входила в условие задачи, но была не препятствием, а только одним из обстоятельств. И если дело того требовало, надлежало пройти и через это. Цель, задание — вот что было главным.

Какое же задание имел Христос?..

Для обороны часовня действительно не годилась, убедился в своей правоте капитан. Что и говорить, стены хороши, и дверь обита железом на совесть; от крупнокалиберного пулемета лучше укрытия не придумаешь. Но окошки высоко, а если даже возле них пристроишься, снайпер тебя скушает с первого же выстрела. А если миной шарахнуть, одной хватит, чтобы положить всех, кто вздумает здесь отсидеться.

— Я готов, товарищ капитан.

Ярина стоял перед ним неузнаваемый: типичный хохол из пригорода или маленького местечка. Серые бумажные штаны в светлую полоску — все в трудовых пятнах, с пузырями на коленях. Сбитые полотняные полуботинки с подметками из автопокрышки. Рубашка с национальной вышивкой — тоже не первой свежести. И заячья кацавейка.

— Руки покажите, — сказал капитан Сад. Но и руки были в порядке: ржавчина и машинное масло въелись в мозоли. — Крест? — И крестик был на месте, оловянный, на дешевенькой цепочке.

— Хорошо, — сказал капитан Сад. — Я на вас надеюсь, Иван Григорьевич.

— Ага, — закивал Ярина. — Только проследите, будь ласка, чтобы ужин для меня приберегли. А то ведь срубают, черти косопузые!

— Не задерживайтесь лишнего. Ни к чему. — Капитан Сад повернулся к «студентам». — Вы прикрываете. Тебя, Рэм, предупреждаю особо: если без крайней нужды там зашебаршишь...

Капитан замолчал, перебирая в уме угрозы. Но чем он мог настращать Рэма, который не боялся ничего на свете?

Наконец он нашел это.

— Помни, — сказал капитан Сад. — Этим ты подведешь меня.

11

— Пора, — сказал капитан Сад.

Ярина уже отошел метров на двести. Без бинокля его фигура теперь смотрелась как нечто целое, а детали пропали. Но бинокль отбирал и по очереди выделял все: и узелок из синего выцветшего ситчика, и походку утомленного человека, который прибавил шагу, предвкушая близкий ужин и ночлег; и даже вспышки пыли из-под башмаков. Сейчас пыль поднималась тяжело, пузырем, и тут же оседала, а вот в полдень от малейшего прикосновения она взлетала легким облаком и висела подолгу, так что даже через несколько минут можно было посчитать, сколько сделано шагов: от каждого шага оставалось по желтому шару.

Над травой уже отчетливо заголубело. Поднимается туман, подумал капитан Сад. Это на несколько минут, но ребятам хватит — проскочат.

Оба «студента» уже разулись и намазали сажей лица и руки. Автоматы были закреплены за спиной дополнительной оттяжкой, чтобы не болтались; в специальном брезентовом поясе каждый имел по четыре запасных рожка с патронами, в том же поясе по бокам — «лимонки»; на одном бедре пистолет, на другом нож, тоже притянутые ремнями.

У капитана вдруг окаменело лицо.

— Большов, опять ты за свое?

— Не успел заменить, товарищ капитан, запамятовал. — В глазах Рэма даже намека нет на сожаление. Веселится как мальчишка, проскочивший в кинотеатр без билета. — Ведь на этот променад мы собирались впопыхах. Не до того было, начальник.

Оба говорят о ремнях. На Сошникове они брезентовые, как и полагается; на Рэме — из шикарной скрипучей кожи.

— Как доберетесь до воды, Сережа, окуни сержанта

Большова. Пусть намокнет. Не то своим скрипом он всю округу всполошит.

— Конечно, товарищ капитан. Окунется.

Сошников умеет говорить так, что сразу успокаиваешься.

— Через полчаса «дегтярев» от дороги передвину сюда. Имейте в виду, если что...

Ярина ушел еще на полста метров. Ну, до замка ему идти и идти. Немцы небось десятком биноклей в него уперлись. Чуть в сторону — все равно, что за стеной; ничего не увидят. В самом деле — пора.

Оба разведчика стремительно метнулись к озеру. По высокой траве — перебежками, через лысины — даже ползком, но тоже в темпе.

Выскочили к воде.

Этот берег пологий. Пляж. Однако луг на полметра выше; между ними граница резкая — уступом. Днем это не укрытие, но в такую пору вдоль него можно запросто пробраться к самому замку.

Песок уже прохладный. Вода прозрачная, спокойная, темная. По ней водомерки мечутся. А подальше, как в зеркале, небо отражается — ярко-оранжевое, с черными полосами.

— Чего жмуришься? Полезай в воду.

С Сошниковым не поспоришь. Если бы при народе, Рэм, пожалуй, заартачился из гордости — свое реноме он ставил «превыше пирамид и крепче меди». Но было бы только хуже. Лезть-то все равно бы пришлось. А вдвоем чего же — между ними и останется. Сошников не растрезвонит. С него даже слова брать не надо. Деликатный человек.

Вода была теплая — хоть не вылезай. Но потом Рэма вдруг как-то сразу прохватило. Они бежали вдоль пляжа на четвереньках, хоронясь за уступом, и Рэм, дрожа и клацая зубами, поминал своего любимого капитана, как только умел. Потом слов у него не осталось и все окружающее отгородила незримая непроницаемая стена. Остался только песок перед глазами, перед самым лицом, один песок, такой легкий вначале, а теперь он зло отдирал ногти и забивался под них все глубже и глубже. Рэм уже не видел, что с пальцами, хотя догадывался, что они сбиты и распухают, и колени были уже разодраны и сбиты, и в пояснице тянуло где-то внутри, словно хотело разорвать, и в плечах, и

в шее, и в ногах, но каждая отдельная боль, ярко вспыхнув, тут же и тускнела, расплывалась, растворяясь в общей огромной слепой и тягучей боли.

Они бежали на четвереньках, как два огромных паука. Даже привстать было нельзя: озеро заливал последний оранжевый огонь, стоило появиться на его фоне — тут же могли засечь.

Они бежали на четвереньках, и был момент, когда Рэму хотелось плюнуть на все, все отдать за такое простое счастье: встать, прогнуться, расслабить руки, расслабить спину, чтобы свежая кровь наконец-то прилила к окаменевшей пояснице... Потом он и об этом забыл, потому что боль стала невыносимой, и он закричал — разрывая рот, без единого звука: кричал в себя, как кричат в пропасть; в себя — потому что даже застонать не имел права, такая тишина лежала кругом, над озером и над этим проклятым лугом... А потом и кричать перестал, потому что все чувства в нем притупились. Боль, ненависть, отчаяние — все ушло. Осталось лишь сознание, что надо бежать быстрее, еще быстрей, не отставать от Сошникова, который рвал и рвал вперед, словно он был из железа. Ведь за все время даже не обернулся ни разу...

Если б они спасали свою жизнь, они б не смогли так бежать. Но капитан Сад послал их прикрыть Ярину.

Наконец они достигли лодочного причала. Стена замка была в нескольких метрах. Сошников заметил, что она куда выше, чем казалась издали. Ярина был уже совсем близко от ворот.

Успели.

— Хочешь окунуться? — прошептал Сошников. — Полегчает.

— Перебьюсь.

Рэм сидел с открытыми глазами, но ничего не видел. Перед ним плавали радужные круги, и земля качалась. Но вот стали проявляться очертания предметов.

— А часовых-то не видать, — сказал он.

— Вот и я смотрю. Только без охраны они не могут.

— Что-то гансики схимичили, уж ты мне поверь, — сказал Рэм. — Будешь здесь меня ждать?

— В лодке. Чуть отплыву от берега. Обзор лучше.

— Ну-ну... Васко де Гама!

Ярина закончил наконец переговоры, ему открыли калитку и впустили во двор.

Южная ночь падала на долину, как пикирующий бомбардировщик.

Рэм скользнул через дорожку, неожиданно споткнулся обо что-то и — как ему показалось — с ужасным лязгом и грохотом откатился к стене.

Замер. Автомат уже в руках, уже на боевом взводе. Тихо.

Когда унялся гул в ушах, расслышал где-то рядом затихающий высокий металлический звон. Чуть придвинулся, поискал рукой и поймал толстый железный провод, натянутый невысоко над землею параллельно стене. Что за шутки? Какая-то особая система сигнализации? Если так — о нем уже знают в замке...

Я прикрываю Ивана Григорьевича, напомнил себе Рэм, закрепил автомат за спиной и вскарабкался на стену, хоть это было непросто сделать с его распухшими пальцами.

Во дворе было совсем темно. Луг таял серо-голубым рваным облаком, и озеро еще удерживало последние оранжевые блики, а во дворе было темно, словно сюда слетелись все окрестные тени.

Как бабочка, метался по земле луч фонарика. Двое шли через двор к большому дому. Тот что с фонариком — чуть впереди, а Иван Григорьевич забегал то с одного, то с другого боку, и голос его был сладенький, лебезящий. Ну и артист!

Они поднялись на крыльцо (шесть ступеней — успел подсчитать и заметил себе Рэм) и вошли в дом, оставив дверь открытой. Широкий прямоугольник двери ярко светился изнутри; во дворе сразу посветлело.

Надо бы подойти поближе, решил Рэм, прошел по гребню стены метров тридцать, перебежал арку над воротами (она была шириной в два кирпича и сверху залита цементом, чтобы не очень отличалась от камня стены; настоящий тротуар!), и еще продвинулся метров на сорок. Дальше было опасно: кто его знает, в каком радиусе высвечивает предметы эта дверь.

Рэм распластался на гребне и стал ждать.

По складу натуры Рэм не был склонен к философии. Человек действия, импульсивный и нетерпеливый, он любил новизну, остроту, движение. Если бы каждый следующий день складывался непохоже на предыдущие, если бы каждый заключал в себе новую задачу, Рэм считал бы, что мир устроен почти идеально. Но сейчас

делать ему было нечего, и он поневоле стал размышлять о прихотях судьбы. Вот взять его и Ярину. В эту минуту они связаны не какой-нибудь там веревочкой — жизненной жилой. Перерви ее — и обоим конец. Потому что, если потребуется выручать Ивана Григорьевича, Рэм жизни не пожалеет. Не в охотку — такая нынче у него задача. И тот на Рэма рассчитывает, как на отца родного. А ведь не любит он Рэма, и всегда не любил, и не скрывал этого, в глаза говорил, за что не любит, хотя личного тут не было ни крохи. А вот Рэм на Ивана Григорьевича имел зуб. За дело.

Рэм был некрасив, почти уродлив: мелкие, узко поставленные глазки, сверлящий взгляд, который казался злым, даже если Рэм был в добром расположении духа; нездоровая кожа; срезанный подбородок; короткие губы не закрывали чуть скошенных вперед зубов. Но слава Рэма компенсировала все. Он для того и в разведку пошел, чтобы заработать побольше наград и выслужиться до офицерских погон. На всю дивизию он был знаменит храбростью: показной, шумной, скандальной, но храбростью. С наградами был порядок: две «Славы» и три «За отвагу», даже Рэм полагал, что это неплохо. А вот погоны, как говорится, по-прежнему «не светили». Дальше сержантских лычек дело не шло. Дважды он подавал заявление — просился в школу младшего офицерского состава. Слава богу, голова варит и грамоты не занимать. Но его не брали. Потому что парторг — все тот же Иван Григорьевич — специально сходил в отдел комплектования офицерского состава и объяснил старшему, что не может носить погоны советского офицера человек, который превыше всего ставит свое тщеславие и гордыню, с которого станется ради очередного чина или ордена послать на смерть не только подчиненное ему подразделение, но и отца родного. Иван Григорьевич не скрыл свой поступок от Рэма, сам поставил его в известность, для чего требовалось немало мужества, это признали все. Обошлось. Обошлось потому, что для Рэма это было всего лишь очередным препятствием. А так он и на секунду не усомнился, что в конце концов выйдет по его, и только эта уверенность сделала его снисходительным, а отношения между ним и Яриной — терпимыми. Кстати, о том, насколько прав Иван Григорьевич, Рэм не задумался ни разу. Иначе это был бы уже

не Рэм, а какой-то другой человек. Ему б и в разведке с ее взаимовыручкой не удержаться, если б не капитан Сад. Это Рэм знал. Но почему так случилось, он не задумывался тоже, как не задумывался вообще над поведением других людей — ему это было неинтересно. Но если б его об этом спросили, может быть, он сказал бы, что капитан Сад один его понимает или же знает ему цену, в общем что-нибудь в этом роде. И только одного он не решился бы сказать: что капитан Сад его любит. А между тем это было именно так.

...Уже минут десять прошло, не меньше, с тревогой подумал Рэм. О чем Ярина может столько времени толковать с фрицами? Вот не сойти мне с места, если они его не накормят. Ну по крайности чарку поднесут...

Рэм вдруг испытал такой приступ голода, что даже замутило. Надо что-то делать, решил он. Когда чем-нибудь занят — отвлекает.

Десять минут не пропали зря. Рэм уже знал, что двор не так пуст, как ему показалось в первый момент. То и дело через него проходили; почти никто не пользовался фонариками, выходит, знали двор хорошо. Где-то за углом двое бубнили вроде бы по-белорусски, но разговор был негромкий, и Рэм не мог разобрать слов. С другой стороны, от сарая, слышалась немецкая речь. Но если кто и беспокоил Рэма, так это человек в четвертом окне второго этажа. Он погасил свет и был уже в ночной рубахе. Курил — это и выдало его. Слабый свет то озарял лицо и ткань рубахи, то превращался в едва тлеющую точку. Второй этаж ненамного возвышался над стеной, но все-таки возвышался, и Рэм с некоторым запозданием понял, что, если в любом из ближайших окон зажжется свет, его обнаружат немедленно. Даже этот курец может его заметить, если присмотрится к гребню стены. Звезды не бог весть какая подсветка, но для этого дела больше и не надо.

Огонек сигареты отполз чуть в сторону, пыхнул, и Рэм увидел, что немец повернулся, что-то ищет в комнате. Сюда не смотрит...

Рэм отполз назад метра на полтора; теперь со стороны двора под ним была крыша сарая. Только бы не шифер или черепица...

Рэм осторожно сполз на крышу. Голые ступни ощутили знакомое прикосновение. Бетон? Рэм шагнул сме-

лее. Бетон! Да они здесь, оказывается, деловые ребята. Куда до них линии Маннергейма!

Ярина все не показывался в сияющем просвете двери. Ох, чует мое сердце, сокрушенно подумал Рэм, придется мне заглянуть, что у них за этой дверью. Еще минут десять подожду... ну, десять, пожалуй, маловато, возьмем полчаса; а больше ждать будет никак нельзя... Значит, решено: жду полчаса — и по коням.

Он дополз до края крыши. Рядом была еще одна, а между ними просвет — черная непроглядная щель. Ну, была не была...

Рэм повис на руках и бесшумно спрыгнул на землю.

Новая позиция не выдерживала ни малейшей критики. До двери далеко. Двое славян — вот они; оба в немецких мундирах, сидят на каком-то ящике, покуривают, баланду травят. И отступать отсюда некуда. Если что — зажмут, как крысу.

Рэм передвинул автомат на грудь и, прижимаясь спиной к кирпичной стене, стал красться вдоль сооружения, которое он вначале принял за сарай. Он поискал ощупью окна — их не было. Большего Рэм узнать не успел — навстречу ему приближались шаги. Идут двое. Даже не идут — прогуливаются: подошвы не стучат, только песок под ними неторопливо поскрипывает.

Отступать поздно. Идти вперед? А успеешь ли проскочить? И есть ли там где укрыться? Вдруг окажется, что эта конура стоит вплотную к следующей...

Рэм медленно-медленно опустился вдоль стены, присел на корточки.

Вот немцы уже рядом... прошли...

Выпрямился... И, распластываясь по стене, неслышной тенью скользнул вперед за угол.

Теперь дверь была в десяти-двенадцати шагах от Рэма. Потребуется — можно проскочить одним рывком, никто и сообразить не успеет, что произошло.

Немцы возвращаются...

Рэм передвинул автомат за спину, чтобы металл ненароком не блеснул, стал в теневой угол и даже глаза сощурил (если бы рассказать, сколько народу погубил блеск белков!), но не плотно, ровно столько, чтобы все видеть и не выдать себя.

Голоса немцев приближались.

Рэм стоял прямо; приглядятся — увидят, но с какой печали им всматриваться в этот темный угол?

И Рэм перестал об этом думать и вообще постарался рассеять свои мысли; он их тоже маскировал, чтобы, упаси бог, немцы ничего не почувствовали.

Рэм увидел их уже совсем рядом. Черные мундиры, понял он.

Они остановились возле этого же угла. Один даже прислонился.

Стоило Рэму чуть шевельнуть правым локтем — он бы коснулся эсэсовца.

— Вы не правы, Джон, — сказал эсэсовец, и по голосу Рэм понял, что тот молод. — И доказать это весьма несложно. Я ведь не спорю, что вы, американцы, чертовски богаты. Это очевидность. Но золото пропитало ваши мозги, и вы отучились думать. Идея вашей цивилизации примитивна: заработать деньги, чтобы потом с их помощью заработать еще больше денег. И так без конца... Это замкнутый круг, Джон. Вы ходите по нему, как слепая лошадь, которая вертит жернова. Вся Америка ходит по этому кругу...

— Зарабатывать деньги — идея не очень романтическая. И в этом, штурмбаннфюрер, я согласен с вами. — Американец неплохо шпарил по-немецки, это даже Рэм понял. — Но все-таки она гуманней вашей, нацистской, идеи уничтожения всех неарийцев. В ней хоть какой-то смысл!

— Не говорите мне о гуманности, Джон, это право же смешно. Когда вы примеряете наши акции лично на себя, это я еще могу понять. Хотя — ради бога, не обижайтесь! — это говорит о вашей простоте. Нельзя же так примитивно подходить к сложнейшим проблемам... Но «гуманизм»! — это звучит как шутка. Я не имею в виду лично вас, Джон. К сожалению, вас я знаю пока недостаточно, зато на ваших коллег, ковбоев «Дикого Билла» *, за последние два года я насмотрелся. И в Париже, и в Берне. Вот уж где беспринципные парни! Лишь минуту назад ты с ним поговорил, как, кажется, в жизни своей не говорил еще ни с одним человеком. Души свои друг перед другом до дна раскрыли, так поняли друг друга... Ну, кажется, вся твоя жизнь до сих пор была только ожиданием этой

* «Дикий Билл» — прозвище генерал-майора американской армии Уильяма Донована, возглавлявшего разведку — Управление стратегической службы (УСС).

встречи. Он тебя обнимет — и вдруг чувствуешь, как тебе под ребра засунули нож...

Американец еле слышно смеялся.

— Работа такая, черт побери! Как вы сами только что сказали, Корнелиус, нам за это деньги платят.

— Ну! Так не лицемерьте же! Не называйте это жертвами во имя великой демократии.

— Куда денешься? Эти слова одно из условий игры.

— Ловлю на слове, Джон. Вы сами назвали это «игрой». Между прочим, как я успел заметить, одно из любимых словечек американцев. Стоит сразу после «сколько долларов?» и перед «свободой».

Американец веселился вовсю.

— А чем вам не нравится эта святая троица, Корнелиус?

— Могу сказать: бездуховностью, анемичностью, малокровием... Перед вами нет настоящей идеи, нет достойной цели. Вы как дети: думаете только о той игрушке, которую держите в руках. А уж если вас хватит заметить игрушку в руках другого — так это уже просто достижение! такой широчайший кругозор!.. Цель и средство у вас, американцев, слиты воедино. Вы вернулись к уровню дикарей.

— Ну и демагог же вы, дорогой штурмбаннфюрер!.. Ваше СД уничтожает в лагерях смерти миллионы людей — и это не дикость. А наши невинные игры в доллары...

— Простите, я перебью вас, Джон.

Немец достал из левого кармана платок, чтобы вытереть губы, при этом он все-таки едва коснулся Рэма локтем. Для Рэма это было как удар током, но штурмбаннфюрер в пылу разговора ничего не заметил.

— Уничтожение неарийцев — это необходимость, — продолжал он. — Это единственное средство для достижения нашей цели. Но не цель! Цель — выше! Она кажется слишком высокой и невероятной (а может быть, и пустой, и даже выдуманной) для ваших закосневших в меркантилизме американских мозгов. Наша цель — чтобы каждый немец мог найти себя; понять себя — и выразить. Мы думаем в первую очередь о душе немца. И во вторую — о душе. И в третью — тоже.

— Ужасно интересно!

— Не смейтесь, Джон. Для нас это свято. Мы, нем-

цы, всегда были идеалистами. И сейчас сражаемся за идеал. Только идеал — не меньше! Родина, народ и душа — вот наша троица, Джон. Чувствуете разницу? Мы в одиночку сражаемся со всем миром. И не жалуемся. Мы сами выбрали этот путь. И нам хватит силы для этой борьбы. Потому что великая энергия рождается только для великой цели.

Ах ты, гад, подумал Рэм, жалкий парвеню! Так ты не только Геббельса, но еще и французских философов пытаешься цитировать?..

— От ваших масштабов, Корнелиус, у меня кружится голова, — посмеивался американец. — Заверните-ка что-нибудь попроще.

— Например?

— Ну... в чем заключается ваш личный интерес.

— Опять — «сколько стоит»?

— Я не настаиваю, Корни. — Американец забылся и впервые произнес имя штурмбаннфюрера на свой, американский манер. А до того он смаковал это имя чуть ли не по слогам, как конфетку. — Переведите в вашу эфемерную валюту.

— Попробую. Только вначале один элементарный вопрос, рассчитанный, правда, на чистосердечие. Вы счастливы, Джон?

— Не думал над этим.

— Вот видите!

— Ну если чистосердечно — не очень.

— И хотите знать — почему? Вы не нашли себя, Джон. Может быть, даже не искали. Вы живете механически — только потому, что родились. Убиваете — только чтоб лично вас не убили. Боретесь с нами — потому что вам за это платят. Пошли в разведку — потому что в вашем характере есть склонность к риску, а за риск можно запросить дороже...

— Давайте о вас, Корнелиус, — перебил американец. — Мы ведь о вас говорили.

— Теперь обо мне. — Штурмбаннфюрер даже дух перевел, как показалось Рэму, набирал в грудь побольше воздуху — так его вдохновляло. — Перед вами счастливый человек, Джон. Я это знаю. Я это чувствую. И сомнений в этом у меня нет. Вы верите в призвание?

— Предположим — да.

— Это удел избранных. И я попал в их число. Как говорится, бог на меня посмотрел.

— Неужели вы поэт, Корнелиус?

— И не поэт, и не архитектор, и не полководец. Я разрушитель. Родной брат Герострата. И я один знаю, что храм в Эфесе он сжег не для славы, а только потому, что, как сказано в библии, время камни собирать, и время их разбрасывать. Все, что построено, в свое время должно быть разрушено. Это естественно. Мы, разрушители, необходимы. Мы — топор в руках Истории. Мы как буря валим самые огромные деревья — пусть откроют солнце молодой поросли! У нас есть неведомое другим чувство, когда надо что-то разрушить... Когда Герострат увидел храм Артемиды, ему почудилось, что все это величие уже охвачено огнем, все уходит дымом, и он понял, что это ему боги подсказывают, что это судьба, что так надо, и он был счастлив, когда выполнил свое предначертание... Я знаю это чувство. Наслаждение оттого, что разрушаешь, топчешь, убиваешь. Сколько раз бывало: я вижу какого-то человека и чувствую — он дошел до своей последней черты. Он может быть счастлив и благополучен, может ни о чем не подозревать. Но я-то знаю!.. И я исполняю свой долг.

Рэм вдруг опомнился. Оказывается, в его руке уже давно был нож. Он уже медленно поднимал его...

Спокойно, сказал себе Рэм, и понял, что сейчас это не в его власти. Ты все равно сейчас не можешь его убить, не имеешь права. Этого фашистского выродка... Ярину погубишь, операцию погубишь, капитан тебе не простит... Спрячь нож, приказал себе Рэм, — и не смог.

— Послушайте, Корни, — сказал американец, — а может быть, вы просто палач?

— Нет... Нет, Джон! В вас опять говорит извечная американская утилитарность. А понять ведь так просто. Палач — это профессия. Человек мог разводить капусту, но вдруг узнает, что за надевание на чью-то шею шнурка или стального тросика, оказывается, платят больше. И он вместо огорода начинает специализироваться на казнях. За деньги. Только за деньги. Вот где ваша американская психология. А мне золота не нужно. И славы тоже. Я уничтожаю потому, что этим выражаю себя и утверждаю себя. И в контрразведку я пошел не из-за денег. Я наслаждаюсь, расставляя сети. И расплетая чужие — наслаждаюсь тоже.

Наслаждаюсь, глядя, как птичка летит в западню, как бьется в ней и кричит. Здесь я каждый день имею возможность доказывать, что я умней, и хитрей, и коварней всех этих иудеев и монголоидов. Здесь я на самом переднем крае нашей исторической борьбы. Здесь мне все дозволено! Здесь я всегда прав!.. Надеюсь, теперь вы меня правильно поняли, Джон, и не будете уподобляться тем пошлым лицемерам, от которых только и слышишь: ах, кровь, ах, чистые руки, чистая совесть, ах, бессмертная душа!..

— Какого черта! Это даже забавно, Корни. Если только это не реклама.

— С целью?..

— Набить себе цену, парень!

Оба расхохотались.

В ярком прямоугольнике двери появился еще один офицер.

— Ахтунг! Ахтунг! — произнес он негромко, но повелительно; не обратить внимания на этот голос было нельзя. — Всем рассредоточиться.

Повернулся и ушел в дом.

— Джон, может быть, отойдем в сторону? — сказал штурмбаннфюрер. — Сейчас здесь пройдет русский разведчик.

— Ни к чему. В доме яркий свет, пока его глаза привыкнут к темноте... Нас он не заметит.

— Пожалуй...

— Вы уверены, штурмбаннфюрер, что его стоит отпускать?

— Абсолютно. Совсем ведь мелкая сошка. А возьмешь — вспугнешь остальных. Барон прав — пусть вся рыба войдет в невод.

Теперь оба стояли рядом и смотрели на дверь, и Рэм, которого внутри колотило от ненависти, который изнемогал от желания хоть что-то сделать, хоть как-то отвести душу, поднял руку с ножом и пронес лезвие возле самой шеи фашиста, почти коснулся ее... Рука не дрожала. Чуть нажать на артерию — и одному маньяку конец...

Легче не стало.

Рэм хотел повторить эту игру, но тут в дверях появился Иван Григорьевич и еще какой-то дядька. Они прошли в сторону ворот, обсуждая, как в этом году погорели травы, но вот зерновые, кажется, будут хороши,

если только самую уборочную не накроют тяжелые ливни.

— Теперь и нам пора, — сказал штурмбаннфюрер. — Барон поразвлекся. Вот увидите, Джон, сейчас он будет сговорчивей.

Они скрылись в доме. Дверь захлопнулась. Вдруг Рэм увидал, что небо полно звезд. Время поторопиться к ужину, дорогой товарищ, сказал он себе, и тут услышал совсем близко грубый лай нескольких собак. Их выводили из помещения в самом дальнем углу двора, они грызлись и рвались из постромков.

Кромка крыши сарая на фоне неба была видна достаточно отчетливо. Рэм подпрыгнул, уцепился пальцами, но не очень удачно; поискал ногами по стене, во что бы упереться, не нашел и вдруг сорвался, причем довольно неловко, в прямом и переносном смысле загремел.

Боль дошла до сознания уже потом, а сейчас он воспринимал то, что было вовне: рык пса, рванувшегося в этот простенок, скрежет цепи, на которой его вели (почему цепь? почему не поводок? — сверкнуло на миг и мгновенно забылось), ругательства проводника, стук и скрежет подошв его сапог, упиравшихся в землю в попытках нейтрализовать напор собаки, рвущейся к цели; наконец, свет фонарика... Луч метался в простенке хаотично, без смысла. Проводник вовсе не собирался что-нибудь искать, он только боролся с овчаркой и заставил-таки ее идти дальше, в сторону ворот, за остальной сворой, но Рэму этих мгновений было довольно, чтобы заметить, что его спасло: он упал позади железной бочки, поставленной на попа; и еще он успел увидеть на этой же стене, в нескольких сантиметрах от места, где он беспомощно шарил ногами, щит с шанцевым инструментом на крючьях. Это ведь не щит, это парадная лестница!

Он хотел встать — и только теперь, вырвавшись изпод пресса внешних ощущений, его тело пронзила боль. Рэм охнул и лег на спину.

Не помогло.

Рэм повернулся на бок, на живот, опять на спину, попытался сесть — и не смог. Боль не отпускала его, а напротив, все нарастала, сотрясая тело электрическими вспышками.

Рэм прислушался к телу. Боль начиналась у осно-

вания позвоночника — из копчика. Хорошо, если только ушиб... если раздробил — конец...

Ну уж нет, думал он, извиваясь в поисках хотя бы мало-мальски терпимой позы, даже на мост попытался встать, ну уж нет, дешево я им не дамся. Патронов много, и гранаты — вот они...

Но Сережка... вдруг вспомнил он. Сережка увидит, что Ярина вышел, подождет меня с полчаса — и сам сюда полезет. А здесь собаки. Конечно! Как я, идиот, сразу не понял. Вокруг нет часовых, потому что на ночь они пускают собак. Вот для чего железный провод и цепь вместо поводка. Это любой пижон сразу бы понял, а я только ушами хлопаю.

Мимо собак Сережке не пройти, понял Рэм. Но самое главное — кто расскажет капитану про американца? про Ярину? Он мог и не сообразить, что его раскусили и всей группе готовится западня... всем ребятам...

Рэм взялся за край бочки и встал. Мне не больно, сказал он себе. Мне не больно!.. Мне не больно!..

Он ничего не осознавал, ничего не видел и не ощущал, кроме боли и еще того, что он стоит, вцепившись руками в край бочки.

Бочка доверху была полна песку.

Кричать не поможет, сказал себе Рэм. Эту боль не перекричишь. Надо как-то иначе. Надо спокойней. Я спокоен, весел и счастлив, произнес он древний наговор. Я спокоен, весел и счастлив...

Держась за крючья, он поднялся на бочку, потом перебрался на крышу, прошел по ней наискосок, вступил на стену. Перед глазами по-прежнему был сплошной белый электрический разряд, и тело разрывалось на куски, но он шел, безошибочно и твердо ступая по невидимой стене, как лунатик.

Я спокоен, весел и счастлив...

Бежать он не пробовал, это ему просто в голову не пришло, да и не смог бы, наверное. Он шел каким-то окостеневшим раскорякой, подволакивая негнущиеся ноги. Прошел арку ворот... Опять пошел по стене...

Я спокоен, весел и счастлив...

И тут сквозь боль до него дошло (это было так же неосознанно, интуитивно, как и его движение по стене): что-то происходит не так, как надо... что-то не так...

Он заставил себя смотреть. Он должен был увидеть,

должен! И в нем еще нашлись откуда-то силы, чтобы сорвать с глаз белесую пелену.

Трое проводников с собаками шли вдоль стены налево, три фонарика порхали длиннокрылыми мотыльками. А еще трое...

Они толклись на лодочной пристани, подсвечивая фонариками плавающую невдалеке лодку. И собаки рвались с цепей, поднимались на задние лапы, разрывая в лае огромные пасти. Они были в нескольких метрах от Рэма, но он не слышал ничего: чтоб еще и слышать, нужны были силы, а взять их негде, а отказаться... От чего отказаться?..

Рэм хотел достать «лимонку» — это было самое простейшее решение, — но увидел, что один из проводников отвязывает вторую лодку и садится в нее. Тогда Рэм вытянул из-за спины автомат и поставил его на боевой взвод. Капитана он уже не подведет: немцы все равно знают, что мы здесь, а бой произойдет снаружи, у стен замка; им и в голову не взбредет, что кто-нибудь, кроме Ярины, успел побывать внутри...

Когда проводник уже подгребал к лодке Сергея (а двое других держали ее в свете фонариков и под прицелом автоматов), Рэм заметил, как неглубоко от поверхности под водой в сторону пристани скользнула едва уловимая тень. Немцы ее не могли видеть, а сверху все смотрелось неплохо — лучи фонариков подсвечивали воду.

Теперь опять стали бесноваться собаки. Они рвали когтями настил, порывались броситься в воду. Но проводникам эта бесплодная история уже начала надоедать. Когда первый привел обе лодки к пристани, он с борта посветил под настил...

Рэм опустил автомат, лишь когда все трое вышли на берег. Оставалось отвлечь их на несколько минут, пока они не прицепили здесь одну из овчарок. Это было просто. Рэм нащупал под ногами кусок лопнувшего цемента и забросил его что было силы вдоль берега. Собаки рванули туда как бешеные.

Сошников нашел его в полутораста метрах от пристани. Рэм лежал в воде почти у самого берега. В воде лежать было не так больно: все-таки взвешенное состояние...

— Мерси-пардон, Серж, — сказал Рэм, набрав перед тем побольше воздуху, чтобы успеть выговорить

фразу, не застонав. — Придется тащить меня на буксире.

— Давай понесу, — сказал Сошников, — не думай, у меня хватит сил.

— Зато у меня не хватит.

Через несколько минут Рэм сказал:

— Передохни... И я передохну.

— Ладно.

— Признайся, Серж, что ты здорово перетрухал, когда сидел под досками, — ехидно сказал Рэм еще через несколько минут, потому что чувствовал, что вот-вот сомлеет, и говорил только, чтобы не кричать.

— И ничуть я не боялся, — сказал Сошников. — Я ведь знал, что они у тебя на мушке.

Когда Рэм очнулся в следующий раз, Сошников и Ярина несли его в сидячем положении, сцепив свои руки в замок. Под их ногами пухкала пыль, сбоку наплывал запах тины...

Я спокоен, весел и счастлив, прошептал Рэм.

12

Алексей Иннокентьевич не заметил, как заснул, и спал немало — верных четыре часа, и наверняка проспал бы еще столько же, да не повезло: сырое полено стрельнуло в него угольком. Алексей Иннокентьевич сел и спросонья стал скрести ногтями обожженное плечо, потом сообразил, в чем дело, и наслюнил это место. На плече теперь была дырка величиной с пятак. И ожог был не мгновенный, добре-таки успело пропечь. Ну и горазд же я спать, подумал Алексей Иннокентьевич.

— Во какая хреновина, — сказал через костер Федя Капто. Он помешивал в большом казане ложкой и морщил нос то ли от дыма, то ли от запаха своего варева. По глазам было видно, что вины за собой он не признает. — Полешки дрянь. Этими полешками сойдет заместо ракет артиллерийский салют палить. — Он помолчал, но не дождался ответа и предложил:

— Если шо, могу отпустить взаимообразно иглу и черную нитку. Однако нитки много не дам.

Федя был минером, причем имел к этому делу незаурядный талант. Каждая мина была для него на осо-

бинку, каждая — как живое существо: со своим нравом и судьбой. Он их уважал. Все. Даже самые простейшие, которые приходилось извлекать или устанавливать сотнями. Работая, Федя разговаривал с ними, увещевал, убеждал, как, наверное, разговаривал и с колхозными коровами, которых ему пришлось пасти всю сознательную жизнь. Имея всего три класса образования (так сложилось по причине безотцовщины; к тому же Федя был убежден, что большего мужику и не требуется), он не умел прочесть рисованные или напечатанные схемы, да и в натуре вряд ли толком смог бы объяснить устройство обезвреженных им мин. Но мины были послушны ему. Самые наиновейшие, самые хитроумные уступали Феде почти сразу. Он не хвастал этим, но цену себе знал, и держался независимо даже с самим капитаном.

Еще Федя был знаменит на всю дивизию своей красотой. Пригожесть и симпатия были ничто по сравнению с впечатлением, которое Федя производил не только на дивизионный слабый пол (кстати, весьма многочисленный: телефонистки, медперсонал, банно-прачечный отряд...), но и вообще на всех окружающих. Если описать его глаза, брови, рот, овал лица — все это будет не то. На Федю было больно смотреть, и долго смотреть — просто невозможно. Разве что привычка притупляла впечатление, да и то не до конца.

Сам он внешности своей вроде бы не придавал значения. Женского общества не избегал, но похвастать победой над ним ни одной из дивизионных венер не пришлось. Федя был со всеми ровен и мил, но какая-то рассеянность и мечтательность отгораживали его от остальных. Он словно что-то знал и вынашивал, но что именно — не мог сказать никто, потому что Федя ни разу ни с кем не делился, а в жизни, в разговорах глубже бытовых мелочей не заходил.

— Спасибо, Федя, — сказал Алексей Иннокентьевич. — А как понимать ваше «если шо»?

— Да так. Категорически никак в общем. Сказалось — вот и все.

— Понятно. Я потом у вас возьму.

— Потом суп с котом, Алексей Иннокентич. Враз видать, шо с гражданки. Жалею я вас, потому могу бесплатно выдать бесценный совет. Враз полегчает у всех серьезных ситуациях жизни.

— Буду вам признателен, Федя.

— Наш капитан имеет до вас слабость сердца. То вы не робейте и попроситесь остаться в роте. Пока тепло — это можно.

— В разведчики, значит?

— В разведчики нет. Не сгодитесь. Характером не вышли. А при старшине нашем, Иване-то Григорьевиче, поприсутствовать — на всю жизнь энциклопедия.

— Спасибо, Федя, я подумаю...

Из лесу потянуло сыростью. Какова моя поясница, подумал Алексей Иннокентьевич, не прохватило бы ненароком; столько часов пролежать на голой земле...

Он осторожно поднялся. Ничего. На этот раз обошлось. И ведь не впервые так, с удовольствием отметил он про себя. Пожалуй, за весь поход чуток-другой и кольнуло. Еще выздоровею, чего доброго, иронически хмыкнул он, узнал, где сейчас капитан, закинул ремень автомата на плечо и пошел через лес к часовне.

Скоро одиннадцать. Через час наступит двадцать первое июля. На рассвете 1-я гвардейская армия Гречко начнет наступление на Станислав, и если разведцентр когда-нибудь располагался в этом замке и до сих пор еще не эвакуировался в Германию, то уж через несколько часов это должно произойти наверняка. Замок — последняя надежда. А если опять пустой номер? И почему до сих пор ты не подумал о таком варианте: ведь Хальдорф вовсе не обязан ждать, пока ты его разыщешь и придешь к нему. Правда, он должен эвакуировать свою школу в день начала нашего наступления на этом участке фронта, но разве кто-нибудь помешает ему сделать это раньше? Ведь опасность налицо. Он взял две мои группы, которые его, именно его, разыскивали. Так стоит ли ждать, пока придет третья? Вот ты сам, Малахов, ты стал бы искушать судьбу и ждать третьей попытки своего противника? Ведь эта попытка может оказаться необычной, коварной, и тогда выигранная партия окажется проигранной сразу, одним ходом. Стоит ли игра свеч?..

О том, что вместо самого Хальдорфа он может найти лишь покинутое логово, следы, пусть сколь угодно горячие, но всего лишь следы, уводящие в далекую и практически сейчас недоступную для него Германию,

об этом Алексей Иннокентьевич до сих пор почему-то не думал и сейчас даже остановился, пораженный убийственной простотой этой мысли.

Он стоял на дороге, и часовня была наискосок от него. Алексей Иннокентьевич ее не видел, скорее угадывал в сгустке темноты, который наползал и на небо, отхватывая кусок Млечного Пути как раз там, где в это время положено было искриться неяркой россыпи Персея. Замок не был виден совсем. Алексей Иннокентьевич представлял почти точно направление на него, но всматриваться не стал. Конечно же, там должна быть отменная светомаскировка, иначе верхний ряд окон будет виден, ого, как далеко...

Вот-вот, приободрился Алексей Иннокентьевич, во-первых, антенна, во-вторых, светомаскировка, не при свечах же они там работают, в самом деле, все-таки середина двадцатого столетия, не средневековье какое-нибудь; да и свечу в такую ночь и за десяток километров можно увидать, так что без затемнения не обойтись.

И он опять спросил себя: а как бы я сам поступил на месте Хальдорфа?

Если следовать формальной логике, например, как при игре «сыщики-разбойники», Хальдорф должен был давно исчезнуть отсюда. Ведь он хочет остаться невидимкой, а его уже спугнули дважды. И он сам предпринял маневр, рассчитанный на выигрыш времени, на отсрочку третьей встречи: его псевдогруппа все еще болтается по немецким тылам в сотне километров отсюда, все еще имитирует челночный поиск, каждый вечер выходит на связь... Кстати, надо будет спросить у Саши, что они насочиняли сегодня, заметил себе Алексей Иннокентьевич.

Но ведь мы с Хальдорфом не упражнение из формальной логики решаем, тут же утвердился он. Мы боремся! А Хальдорф — умелый и удачливый боец, за последние годы он не знал серьезных провалов, по крайней мере, я не слышал о них. Так почему же он вдруг изменит себе? Почему начнет бояться, удирать?.. Нет! Хальдорф всегда нападал первым; и сейчас он ведет в счете; так чего ради он будет мне уступать эту партию? Я бы не уступил. Что бы я предпринял на его месте — не знаю. Уж что-нибудь да придумал. И Хальдорф, конечно, своего не упустит; небось уж дав-

но начал против меня активную контригру. Знать бы какую...

Алексей Иннокентьевич еще раз проверил свое логическое построение. Все было четко и естественно, лишь одно не укладывалось в схему: зачем Хальдорфу понадобилось запустить псевдогруппу? только ли время он хотел выиграть на этом? а если и время, то с какой целью? где и в чем сейчас он мог проявить активность? напасть, укусить, обмануть...

Ничего, разберемся, это от нас не уйдет, решил Алексей Иннокентьевич и вошел в часовню.

Здесь было темно. Лампада не давала света, а в другом углу так же тускло круглились желтые пятна приборов Сашкиной рации. Он забросил антенну на самую крышу часовни, для того сюда и пришел, но по лицу было видно — дело не клеилось.

Алексей Иннокентьевич остановился перед распятием.

Лицо Спасителя было спокойно. Но что-то неуловимое блуждало возле губ этого застывшего лица. Ирония? Или сожаление? А может, даже и раскаяние — невысказанное, затаенное...

И вдруг без причины, без явного внешнего повода Алексей Иннокентьевич вспомнил, как странно цепенело у него в груди и сладко таяло там всякий раз, когда он касался худеньких плеч старшей дочери; и как он однажды приехал к ней в пионерский лагерь, клубнику привез, прямо в магазинном круглом лукошке с лиловыми пятнами от сока, и сколько было радости, как она льнула к нему, чуть ли не выпрашивала ласку — от матери ей перепадало не так уж много...

За что?.. Ее-то за что?.. — чуть ли не выкрикнул он прямо в лицо распятого. Тебе должен быть известен этот вопрос, величайший из провокаторов. Две тысячи лет слышишь ты его, неужто не придумал ответа? Ну! — попробуй оправдаться. Только ищи аргументы повесомей, отвечай прямо, без твоих извечных пустых намеков. Ведь я не так простодушен, как та доверчивая женщина, которой ты шепнул однажды вместо благодарности: «Марфа, Марфа, ты слишком много беспокоишься, а, собственно, одно только нужно». Ты получил свою плату — тщеславный, самовлюбленный эгоист. В этот раз тебе заплатили за счет моих девочек...

Малахов услышал сзади бормотание и обернулся.

Это был Сашка. Он отложил наушники, подпер щеку здоровенным кулачищем и, отсутствующе глядя в открытую дверь часовни, в ночь, что-то говорил еле слышно.

— О чем ты?

— Да так... — Сашка повернул свою добродушную щенячью физиономию и вдруг признался: — «Евгения Онегина» читаю. Глава первая.

— Ну, ты герой! Неужели всю знаешь на память?

— Знаю! — он загордился. — Нас тот год учительница литературы заставила вызубрить. Мы ж под фрицем долго ходили, не знали, когда наши придут. Так она говорила: перед сном хоть одну страничку на память прочитайте, как «Отче наш» или «Богородицу». Чтоб эти слова по сердцу были вырезаны... Очень она за нас боялась. Все повторяла: «Русские вы, русские! Ни на день, ни на минуту этого не забывайте!..» Когда ее фашисты замордовали, знаете, я так плакал, так плакал!..

— Пожалуйста, почитай в голос, — попросил Алексей Иннокентьевич.

— Я дошел до «театр уж полон», — сказал Сашка.

— Это прекрасно. Давай с этого места.

Сашка стал читать. А Малахов смотрел на него и пытался представить, какие эмоции или мысли вызвала у этого мальчика часовня, когда тот в нее вошел. Но ничего не получилось. За последние годы Малахов привык иметь дело с людьми совсем иного склада, и когда встретил непосредственность и чистоту — остановился. Этот мир был ему уже недоступен.

А Сашка на часовню как таковую совсем не обратил внимания, а на распятие лишь взглянул разок мимоходом — и забыл о нем тут же. Сашка только начинал узнавать мир: предметный, живой, щедрый. Что ему был этот идол! Символы для Сашки были немы.

Потом они сидели в тишине и смотрели на звезды в проломах кровли и на звезды над черной тенью леса.

Потом в часовню ввалились сразу несколько разведчиков. Кто-то успел накосить ножом травы, на нее постелили плащ-палатку, чтобы не было сыро, а сверху положили Рэма. И тогда Алексей Иннокентьевич узнал: успели! Перебежали-таки дорогу фон Хальдорфу! И еще он понял: самое трудное начинается только теперь.

Потом появились и все остальные, даже Федя Капто (как до него дошла весть — уму непостижимо; он же придерживался самой материалистической версии: мол, прибежал доложить, что кулеш в исправности и только упревает).

— «Языка» взяли!

Немец был огромен. Если б он вытянул руку, капитан Сад мог бы пройти под нею, не согнувшись. Кожаная охотничья куртка; на широком поясе ручной работы — короткий нож с рукояткой из резной кости; форменные галифе с голубым кантом, желтые новенькие краги, желтые ботинки на каучуковой подошве. Нордический тип лица, и в белесых глазах бешенство. Именно бешенство. Ну и темперамент!

— Выньте кляп, — сказал капитан Сад. — Где его документы?

Когда вынули кляп, стало видно, что немец еще совсем молод — чуть старше двадцати лет.

— Понимаешь, Володя-джан, все смотрели, все видели — ничего не нашли, — возбужденно жестикулировал Мхитарян. — Возвращаемся, значит. Храп!.. Че? Храпит, понимаешь, что-то. Говорю: зверь большой, идем смотреть. А это он. Ты посмотри, какой красавец!..

— В самом деле спал? — спросил капитан Сад.

— В гамаке, джан! Ручки на груди сложил, вот так, видишь, че, я очень хорошо показываю... И кемарил, понимаешь, как в раю.

— Ладно. Помолчи.

Капитан уже успел бегло просмотреть содержимое бумажника немца и теперь держал в руках глянцевый кусочек картона с золотым обрезом и короной. Повертел и передал Малахову.

— Это ваша визитная карточка? — спросил Алексей Иннокентьевич у пленного.

— Да, — резко ответил тот.

— Он граф, — сказал Алексей Иннокентьевич.

— Ну и что? — вдруг беспричинно взорвался капитан Сад. — А хоть бы и сама королева английская. Вот еще морока мне на шею!.. — Он встретил выжидающий взгляд Малахова и сразу остыл. — Вытолкать бы его отсюда к чертовой матери. Только откуда он здесь, эдакий прыткий? Что-то в этой истории не того... Дайте подумать.

Алексей Иннокентьевич кивнул и повернулся к немцу:

— Господин граф, надеюсь, в действиях солдат не было ничего оскорбительного для вас?

Тот смерил Малахова презрительным взглядом: мол, кто ты такой, что еще и вопросы задаешь. Но все-таки ответил.

— Не беспокойтесь. Мой род идет от самого Карла Великого! И они, — граф боднул головой в сторону разведчиков, — могут меня убить, это так, но оскорбить — никогда!

— Прекрасная речь, — сказал Алексей Иннокентьевич. — Но вам повезло, что ребята плохо знают немецкий.

— Вздор! Можно попросить, чтобы они не упирались мне в спину автоматами?

— Ребята, в самом деле, чего вы насели на фрица, — сказал Алексей Иннокентьевич, и разведчики отошли под стены.

Лицо пленного вдруг исказилось, он напрягся, и не успел еще никто сообразить, что же, собственно, произошло, как раздался треск — и граф с гримасой отвращения оборвал с запястий остатки связывавших его руки веревок.

— Надеюсь, вы не возражаете? — усмехнулся он, довольный произведенным впечатлением. — Это чертовски неудобно, когда руки связаны за спиной. Не так ли?

— Браво, — медленно сказал капитан Сад, сделал еле заметный знак рукой — и все автоматы опустились.

Немец повернулся в одну сторону, в другую.

— Да не смотрите на меня так! Я не воюю. Ни с кем! Я ни против кого. Я сам за себя! Я нейтрал! Понимаете?

Он размахнул руками в свете скрестившихся на нем узких лучей фонариков и говорил слишком громко, почти кричал. Хорошо, что мы в часовне, а не на открытом месте, подумал капитан Сад. Отсюда, пожалуй, даже ночью в замке не услышат. Но лучше отойти в лес.

Вдруг поведение немца резко изменилось. Он притих, медленно обвел взглядом часовню и опять взорвался смехом:

— Вот забавно! Я только сейчас заметил, что нас в часовне двенадцать. Как апостолов! — Он прыснул и спросил с насмешливой ухмылкой: — Господа, позвольте узнать сразу: кого из вас зовут Иудой?

Ему поневоле пришлось остановить взгляд на Малахове, потому что все молчали и было неясно, понял ли кто-нибудь его шутку. Алексей Иннокентьевич иронически улыбнулся.

— Интересно, — сказал он. — Очень интересно... Оказывается, вы замечательно считаете, ваша светлость. Даже при таком освещении вы ухитрились пересчитать присутствующих!.. Ловко, граф, ловко. Я надеюсь, мой капитан сейчас узнает, где вы научились так замечательно считать.

13

Против ожидания разведчиков капитан Сад не спешил с допросом. Больше всего капитана занимал Рэм. Вместе с Борей Трифоновым, первым в роте специалистом по анатомии, он долго мучил Рэма — вертел, сгибал, прощупывал; наконец они решили: вроде бы только ушиб. Тебе придется попотеть сегодня над Рэмом, сказал Боре капитан Сад, вся надежда на твои руки. Об что звук, сказал Боря Трифонов, вот только фундамент заложу попрочнее...

И он похлопал себя по животу.

Еще недавно Боря Трифонов серьезно занимался боксом, даже первые места брал на профсоюзных соревнованиях. Но в разведке «коронка слева в челюсть» не понадобилась ни разу, зато как массажиста его эксплуатировали без зазрения совести. Хорошая слава всегда приятна, и все же Боря считал, что судьба к нему несправедлива. Он мечтал о подвигах, он был готов к ним; боевая репутация Рэма Большова была для него идеалом, но подвиги совершали другие и в поиск уходили чаще другие, и Боря уже всерьез начинал подозревать своего капитана, что тот просто-напросто его бережет. И в этом был резон: отчаянных автоматчиков капитан Сад мог набрать любое число, а вот умелый массажист на всю армию был один.

После кулеша любопытных не осталось: спать завалились. Только возле часовни коротал ночь между «дег-

тяревым» и рацией Сашка, да Боря Трифонов, сосредоточившись и гримасничая, колдовал над Рэмом (во время массажа он переставал видеть и слышать окружающее, он весь «уходил в пальцы», а пальцы сливались с пациентом, и если между ними не циркулировала общая кровь, то жизненная сила циркулировала точно, и нервные клетки передавали непосредственно неведомые науке сигналы, и Боря почти наяву чувствовал то, что чувствовал пациент, и «сопереживал»); да Володька Харитончук, снайпер группы, сменив свой «трехлинейный мастерок» на ППШ, охранял графа.

Немец держался спокойно, высокомерно и нагло.

— Я думал поначалу, что он хамоват со страху, чтобы не показать, где у него сейчас душа, — сказал Алексей Иннокентьевич капитану. — Но похоже, Володя, это не так. Он действительно плохо воспитан. А еще мне не нравится, что он через слово тычет своей родословной.

— Черт их разберет, этих бывших, — поморщился капитан Сад. — Может, они как раз вот такие.

— Не скажите, Володя... Знаете, мне уже приходилось иметь дело с людьми высшего круга, с самым изысканным бомондом. Это были лорды и герцоги, а однажды я был даже представлен вице-королю: он неплохо играл в вист. Так должен вас разочаровать, капитан: у них совсем иной стиль. Правда, среди них не было ни одного немца...

Версия графа была простой и ясной. Он гостил во Львове у приятеля, командира авиационного полка (его «мессершмитты» прикрывали Бориславско-Дрогобычские нефтяные промыслы, хотя им не раз приходилось драться и над самим Львовом, и на юг их бросали, на перехват американских «летающих крепостей»). Они уже дважды охотились в Карпатах — на кабанов и оленей; их много расплодилось за время войны. Но на прошлой неделе на вечеринке один офицер рассказал о каком-то озере вот в этом районе; мол, птицы здесь видимо-невидимо, и лебеди, и утки всех пород. Граф загорелся. Взял с собой только двух слуг и прикатил на своем «опель-адмирале». Озера они не нашли. В довершение граф еще и заблудился...

Алексей Иннокентьевич переводил его пылкую речь почти синхронно. Капитан тоже знал немецкий и вполне свободно оперировал тремя-четырьмя сотнями слов.

Этого хватало для обычного допроса, но сейчас был особый случай.

Немец нес околесицу — это понимали оба. Поймать и опровергнуть его не составило бы труда. Только зачем? Как «язык» он не представлял интереса. Если он действительно тот, за кого выдает себя, проку с него мало; если же он здесь не случайно... и в этом варианте он был не нужен: после вылазки Рэма и Ярины разведчики знали о противнике достаточно. Так или иначе, веры немцу не было. И возиться с ним некогда. Ситуация исключала выбор. Ситуация была такова, что надежное решение было одно: немца следовало убить. На всякий случай.

— Вы же понимаете, отпустить вас мы не можем. Тем более таскать за собой, — уклончиво ответил Алексей Иннокентьевич на прямой вопрос графа: когда он сможет считать себя свободным.

Немец и до этого видел, что его история не вызвала ни сочувствия, ни доверия, а тут вдруг понял: это приговор. Он — банальная жертва обстоятельств, жертва случая...

— Бандиты! — негромко сказал он и презрительно выпятил нижнюю губу. — Бандиты! — с удовольствием повторил он и как точку поставил — стукнул кулачищами по коленкам.

Русские не шелохнулись, словно это их не касалось.

— Откровенно говоря, я сразу подумал, что кончится именно так. Всегда кончается одинаково, черт побери! — сказал граф и тихо засмеялся. Было видно: он еле сдерживает себя, чтобы не взорваться. Кулаки выдавали — постукивали по обтянутым галифе коленкам. Да похрустывал валежник, на котором он сидел.

— Но я идеалист, господа. Так, видите ли, воспитан. И если люди обычно примеряют других на свою колодку, у идеалистов это получается особенно смешно: для каждого встречного у них припасена аксиома, что «этот человек хороший». Чем это кончается почти всегда, надеюсь, вам ясно.

Он снова расхохотался, теперь уже громче. Судя по всему, он чувствовал себя неплохо.

— Не хочу лгать, господа: поначалу ваш вид был мне не очень симпатичен. Не брились вы давно. И одеты как цыгане. Но я сказал себе: «Райнер, не будь предвзятым. Погляди на эти интеллигентные лица...»

Он запнулся и вдруг без перехода сказал со злостью:

— Ладно. Говорите прямо: сколько хотите?

Алексей Иннокентьевич при этом улыбнулся — легче стало думать о той черте, на которую они поставили этого типа. А капитан Сад будто и не слышал ничего. Сидел такой же прямой и невозмутимый.

Граф достал из внутреннего кармана куртки чековую книжку.

— Пятьдесят тысяч хватит?..

Еле слышно потрескивал костер, да Боря Трифонов пыхтел за корневищем — вот и все звуки.

— Пятьдесят тысяч марок — большие деньги, — сказал он через минуту, когда ему надоело ждать. — Половины этой суммы достаточно, чтобы открыть собственное дело. Ну? Или вы хотите получить в долларах? Мне это безразлично и — уж позвольте быть откровенным — одинаково противно...

Он глядел победителем.

— Хорошо! — неожиданно крикнул граф, разбивая очередную паузу. — Не буду мелочить, торговаться. Черт с вами! Берите сто тысяч — и покончим с этим. Слышите? Это куча золота! Это вилла, машина, красавица жена. Это право ничего не делать. Готов на любое пари, вы даже понятия не имеете, какая это забавная штука: право ничего не делать. Ну, господа коммунисты? Будьте благоразумны, а то ведь и я могу заупрямиться, и тогда вы из меня ни единого пфеннига не выжмете, клянусь честью!

Он ничуть не сомневался в благополучном исходе. Правда, вначале он совершил небольшую оплошность, взяв несколько оскорбительный тон, но вторые пятьдесят тысяч были достаточной компенсацией за причиненный моральный ущерб и в прошлом, и в будущем.

— Мне очень жаль, — сказал наконец капитан Сад.

— Перестаньте шантажировать! — рассердился граф. — Мое слово твердо: больше не набавлю ни гроша.

— Если вы верите в бога, можете помолиться, — сказал капитан Сад. — Несколько минут ваши.

— Но это же неприлично! — боднулся граф и вскочил легко, словно в его желтых крагах были спрятаны пружины. Впрочем, он тут же инстинктивно обернулся. Ствол автомата был в двух метрах от его груди. Володька Харитончук — весь плотный, округлый, упругий,

как бильярдный шар — было в нем что-то такое, даже чуть согнул колени и присел, чтоб удобней было стрелять. Одно неверное движение — разрубит десятком пуль.

Немец медленно опустился на валежник.

— Может быть, вы не знаете... я готов объяснить, как это делается в цивилизованном обществе, — сказал он. — Любой шантаж имеет свою крайнюю цену. Ваш тоже. Я презираю деньги, но с какой стати...

— Ладно, — перебил его капитан Сад, — если я правильно понял, вы неверующий?

— Продолжаете комедию?

— Сожалею, но мы не имеем возможности заниматься вами дальше.

Он взглянул на Алексея Иннокентьевича, при этом повернулся так, чтобы костер хорошо осветил его лицо. Какие-то мгновения Малахов глядел в его глаза, все понял и утвердительно кивнул.

— Харитончук, отведи его подальше, тут слева есть овражек, — сказал капитан Сад. — Только гляди в оба. Парень он шустрый.

— Слушаюсь.

Капитан поднялся, обошел корневище и костер и присел на корточки возле Бори Трифонова. Тот уже сбросил и гимнастерку, и майку: его спортивный торс блестел от пота.

— Ну как?

— Будет жить! — сказал хирург.

Харитончук отступил в сторону, повел стволом ППШ.

— Ком, божья коровка. Только сначала хенде хох!

Немец не двигался.

— А ведь я могу разозлиться, — сказал он наконец. — И тогда этих ста тысяч...

— Вы хотели унизить нас деньгами, Райнер, а сами лишь о них и говорите, — с досадой сказал Алексей Иннокентьевич, неожиданно для себя назвав его по имени. — Хоть перед смертью перестаньте их считать. Или и это тоже не может вас унизить?

Немец сидел как глыба, неподвижный и тяжелый, и только пальцы непроизвольно ломали, крошили хворост. Он силился выдержать свою роль, но какой-то внутренней опоры у него не стало; он растерялся и все больше походил на того, кем и был на самом деле — взрослого немецкого мальчишку. Лицо его дергалось,

он снова и снова пытался овладеть собою, и в какое-то мгновение Малахову даже показалось, что вот сейчас он не выдержит и расплачется. Но он выдержал, и, когда заговорил, голос его лишь однажды дрогнул — большего он себе не позволил.

— Господа, позвольте спросить: за что?

— Вы не внушаете нам доверия, молодой человек, — сказал Алексей Иннокентьевич. — Если бы вас взяла в плен фронтовая часть, вас бы отправили в тыл и возились там достаточно долго, пока не установили бы истину. Но вас взяли мы. Возиться с вами мы не можем. Отпустить — было бы безумием. Мы здесь не на прогулке. Рисковать попусту не имеем права. Да и не желаем.

— Вы ничем не рискуете, господа! Порукой этому — моя честь!

— Оставьте это! О какой чести может быть разговор, если всего несколько минут назад вы нагромоздили гору лжи.

— Я попрошу вас!..

— Оставьте. Чего стоит хотя бы ваша наивная легенда об охоте, о поисках каких-то заповедных угодий.

— Это правда.

— Вздор. Может быть, в охоте вы что-то и смыслите, но лгать так и не научились. С какой стороны ни подступись к вашей истории, она трещит по швам. Например: предположим, вы действительно потеряли своих людей и машину; кто вас надоумил тащить с собою изрядный запас еды? Если вы собирались вернуться к машине, зачем вам нести с собою гамак? Наконец, Райнер, вы назвали оленей и тотчас же вспомнили, что сейчас у них еще не кончилась линька и рога никудышние; назвали кабанов — боже! да ведь и эти жируют на осенних желудях... И тогда вы называете верную дичь — птица! Вот эта почти в сезон! Только зачем было приплетать загадочное озеро? Ведь у вашего приятеля в штабе есть такие подробные карты — там каждая лужа указана...

— Тут вы правы, — сказал граф. — Признаю.

— И не только тут! Объясните такое обстоятельство. Ну, вы знатны, вы богаты, Райнер, предположим. Но ведь при всем этом во время тотальной мобилизации вам не открутиться от службы, если не на фронте, то хотя бы в тыловых частях, например, в СД. Нако-

нец, вы схвачены вблизи места, где, по нашим данным, располагается крупный немецкий разведцентр. Да, ваши личные бумаги, граф, безукоризненны, но где гарантия, что они рисуют полную картину? Кто поручится, что в этом прелестном замке нет сейфа или хотя бы письменного стола, в котором лежит ваше удостоверение функционера разведслужбы?

— Какой позор! — прошептал граф. — Неужели вы и в самом деле так думаете?!

— Согласитесь, что все сходится.

— Я шпион... О господи, только этого недоставало!

— Вам больше нечего сообщить? — Капитан Сад вернулся на место и сделал Харитончуку знак.

— Обождите! Я вел себя резковато. Возможно, вызывающе. Возможно, оскорбил вас. Если дело только в этом, я готов принести извинения.

Капитан Сад улыбнулся.

— Очень мило, граф, — сказал Алексей Иннокентьевич. — Но недостаточно.

— Хорошо. Я обещаю рассказать все, ответить на любые вопросы. Но не сейчас. Через сутки. Давайте условимся так: вы отпускаете меня под честное слово на сутки, чтобы я успел выполнить то, ради чего сюда приехал, поскольку в этом сейчас вся моя жизнь, и ровно через двадцать четыре часа, если буду жив, я отдаю себя в ваши руки.

— Прекрасно сказано. В лучших рыцарских традициях.

— Вы смеетесь надо мной.

— Нисколько. Но меня изумляет ваш темперамент. — Алексей Иннокентьевич теперь говорил медленно. Он ждал вторую легенду и подталкивал к ней пленного, помогал ему, в то же время остерегаясь вспугнуть его неосторожным словом. — Если не ошибаюсь, нордическая...

— Я из Лотарингии, — перебил граф. — Это французская Германия на карте! Но здесь, — он ткнул пальцем в свою грудь, — мы и не французы, и не германцы. Мы лотарингцы!

— Тем более мы надеемся услышать от вас правду.

— Но я не могу рассказать ее вам!

— Почему?

— Я вам не верю! Я не верю, что вы те, за кого себя выдаете. А вдруг вы сами из абвера?

— Ловко, — сказал капитан Сад и посмотрел на часы. — Даю три минуты — это в последний раз.

Граф с тоской поглядел вокруг. Черный лес не оставлял надежды. И усталые лица русских тоже.

— Спрашивайте.

— Где вы служите?

— Летчик. Но это в прошлом. С этим покончено навсегда.

— Вы хотите сказать, что дезертировали?

— Фактически да. Я уже давно искал повода, чтобы выйти из этой безумной игры. В апреле удалось. Меня сбили под Чистериа-ди-Рома. Проклятые янки! Мне ни разу не пришлось сразиться с ними один на один — всегда налетали кучей, сразу со всех сторон. Другое дело англичане. Я имел поединки с ними над Тобруком и Эль-Аламейном. Это были джентльменские схватки, уверяю вас, хотя «харрикейн» почти непригоден для такого боя.

— Выходит, вы ветеран африканской кампании?

— Я попал к Роммелю прямо из училища. Там была честная война. Мы и понятия не имели, что творится на материке. Мы бы победили и англичан, и пустыню, но нас предали в Риме, а потом фортуна отвернулась от фельдмаршала.

— Ну да. А потом на ваших глазах были потеряны Африка, Сицилия, Южная Италия... Выходит, все дело в военных неудачах?

— Я стал иначе думать. У меня переменились убеждения.

— Ах, даже так... Представляю, чего это стоит: отказаться от веры... от идола, которому поклонялся много лет.

— Вы иронизируете надо мной? — устало сказал граф. — Возможно, вы правы. И я заслуживаю только иронии... Тем более, что все произошло иначе — в одну ночь. В одну минуту! И совсем без боли, без мук... Правда, я никогда не был нацистом. — Он помолчал. — Это случилось в октябре прошлого года. Как раз мы оставили Неаполь. Я перегнал свою машину на новый аэродром, под Субиано, это километрах в двадцати восточнее Албанских гор, одно название что аэродром, посадка на него была опаснее воздушного боя, и получил недельный отпуск: надо было выполнить кучу формальностей в связи с наследством.

— Как же вас отпустили?

— Фельдмаршал Кессельринг. Он не нашего круга, но человек порядочный. Он всегда был внимателен ко мне.

— К младшему офицеру?

— Погоны — это все, когда вы командуете ротой на плацу. Но они не прибавляют ни ума, ни культуры. И душа человека, как известно, живет не под погоном.

При этом он кивнул на Алексея Иннокентьевича. Намек на его солдатскую форму.

— Дома меня ждало серьезное испытание, — продолжал он. — Я ведь рос без отца. Считалось, что он погиб на охоте. Несчастный случай. Это было в тридцать третьем году, я был совсем несмышленыш. Меня сразу отдали в закрытый лицей, и я никогда по-настоящему не интересовался, что же произошло. И только в этот приезд, когда я вошел во владение наследством, нотариус передал мне прощальное письмо отца.

У графа набрякли губы, и он как-то нелепо и беспомощно схватил пустоту своими огромными ручищами.

— Он был большой человек в государстве. К тому времени, когда к власти пришли наци, он имел не только известное имя, но и незапятнанную репутацию. Не знаю почему, он отказался сотрудничать с Гитлером, и сделал это демонстративно. Тогда на него науськали газеты. Было сфабриковано нелепое, постыдное дело. Все факты, все документы — сплошь фальсификация. Но им было мало сделать отца политическим мертвецом. Ему публично было нанесено оскорбление, а когда он потребовал сатисфакции...

Граф безнадежно махнул рукой. Он тяжело дышал, но сидел смирно. Прошло не меньше минуты, прежде чем он смог говорить дальше.

— Вот что я узнал в октябре... Отец заклинал меня никогда не быть заодно с его убийцами — нацистами. Да и прусский дух, как я теперь понимаю, он презирал... Отец завещал смыть позор с нашего имени. Этого я не мог в одиннадцать лет, но сейчас мне двадцать один, и я нашел эту змею — Уго фон Хальдорфа! — закричал граф и показал рукой в ту сторону, где за деревьями и лугом был замок. — И если он не захочет со мной стреляться, — клянусь! — я задушу его вот

этими руками... Это от вас зависит, господа. Я не прошу у вас ни помощи, ни пощады. Только снисхождения прошу, господа! Дайте мне одни сутки, только сутки! — этого мне будет довольно, а потом я вернусь к вам — и делайте со мной что хотите, раз уж вам непременно нужна именно моя жизнь...

— Успокойтесь, Райнер, — сказал Алексей Иннокентьевич и повернулся к капитану. — По-моему, сыграно неплохо.

— Он молодец, — кивнул капитан Сад.

— Было бы время, я б непременно докопался, есть ли у него третья легенда.

— Не сомневайтесь, Алексей Иннокентьевич.

— Я вижу, Володя, вы начинаете уважать барона фон Хальдорфа?

— Поневоле начнешь. Столько выдумки, дерзости... и ни на что не похоже.

— Да, в шаблонных действиях его не упрекнешь. — Алексей Иннокентьевич повернулся к пленному. — Итак, в этом отпуске ваши глаза открылись...

— У меня была только неделя. Слишком мало, чтобы разыскать проклятого барона, но достаточно, чтобы принять решение о выходе из игры. Видите ли, — уже совсем спокойно объяснил Райнер, — если б я оставался в армии, многое осложнялось бы уставом и погонами, армейской иерархией. Фон Хальдорф вполне мог толкнуть меня под военный трибунал. По нынешним временам — безрадостная перспектива.

— И вы продолжали воевать...

— Да, еще почти всю зиму. Мы прикрывали десятую армию, и мне чертовски повезло. В один только день, 15 февраля, когда эти варвары бомбили знаменитый Кассинский монастырь, я сам сбил три «боинга». Но их были сотни, и когда нас осталось меньше эскадрильи, нас перебросили на север, и мы стояли почти без укрытия на каком-то дурацком лугу на полдороге между Римом и Чивита-Кастеллана. Однажды меня послали на разведку в район Неттунии, и все было подозрительно спокойно. Мне дали сфотографировать порт, но уйти морем не позволили — там стоял авианосец. Я чувствовал, что на обратном пути меня встретят, и бросился в другом направлении — к запасному аэродрому в долине Сакко. Не помогло. Их была

целая эскадрилья. Я выбросился под нашими позициями в Чистерна-ди-Рома, и обе раны оказались пустяковыми, но контузия была настоящая. Хороший повод. Милый Кессельринг был на высоте, выпустил меня вчистую.

— Где ваша справка о непригодности?

— С собой не ношу. Военная жандармерия проучила два месяца назад — порвали справку у меня на глазах. Патриотический пыл, видите ли. Получить копию было не легче, чем оригинал.

— Следовательно, опять только слова, — констатировал Малахов. — Предположим все же, что вы рассказали нам правду. Скажите, граф, если не секрет: что вы собирались делать дальше — после того, как отомстите фон Хальдорфу.

— Я бы уехал в Швейцарию. Разводил бы цветы, собирал марки. — Он улыбнулся приятному воспоминанию. — У меня прекрасная коллекция на вилле в Люцерне.

— И так всю жизнь?

— Надеюсь.

Капитан Сад, который стал подремывать, сейчас вздрогнул, выпрямился и глядел на графа во все глаза. Капитан вырос на войне и ею был воспитан. И знал — жизнь здесь висит на тончайшей ниточке; тем более — жизнь разведчика. И он никогда не думал о будущем и делал это сознательно: ведь мечты — это сокровище, которому нет ни цены, ни меры; и как подумаешь, что может ведь так случиться, что на одну чашу весов ляжет выполнение задания, а на другую — твоя мечта... Нет! Он был уверен в себе. Он знал, что выберет первое — свой долг. Но он не хотел этой ненужной борьбы, не хотел, чтобы в нем хоть что-то могло дрогнуть во время выполнения задания; не хотел — пока идет война, чтобы у жизни появилась иная цена и смысл, кроме необходимости выполнить задание.

И вот сейчас перед ним сидел человек, который среди крови и ненависти спокойно рассуждает о будущем, и не сомневается в нем, и для него не существует ничего, кроме этого будущего: «через неделю» и «всегда потом»... и ничего, кроме личной жизни, личной ненависти и личной судьбы... Ты можешь верить его историям, можешь не верить, тут дело не в словах, а в су-

ти, в существе; в этом он не врет. В этом он действительно настоящий, такой как есть... Непостижимо!

— А как же ваша родина? Ей предстоят нелегкие испытания, — сказал Алексей Иннокентьевич.

— Знаю. Поверьте, господа, мне было нелегко решиться на этот шаг: отойти в сторону от борьбы. Надеюсь, вы не считаете меня трусом... Но немного нужно ума, чтобы пройти последний путь с истерзанной отчизной! Это философия толпы, философия баранов, которые мчатся в облаке пыли, не разбирая дороги, туда, куда их гонят. Насколько больше мужества нужно тому, кто хочет остаться самим собой, кто хочет перелезть стену и вырваться из сумасшедшего дома. Мне надоел этот мир, отравленный политикой. Я хочу жить естественно, хочу жить честно. Я сделал выбор — и отошел в сторону. Я ничей. Понимаете? Я ни с кем!..

Райнер развивал свою доктрину невмешательства горячо и долго, так что наконец и Алексей Иннокентьевич не выдержал.

— Довольно, — сказал он. — Вы признали, что ваша первая легенда была ложна. Вторая разработана убедительней, однако опять ни единого документального подтверждения. Неприятно говорить такие вещи, но мы вам по-прежнему не верим.

Райнер смотрел на него несколько мгновений, осмысливал ответ, потом понял, что это означает подтверждение прежнего приговора, и вскочил.

— Но вы не можете, не имеете права расстрелять меня просто так! Это будет убийство! Вы просто мясники, а не солдаты, если пойдете на это! Клянусь вам, я ни с кем! Я только сам за себя...

— Это невозможно...

— Но это так! Вот он я, перед вами — человек, который хочет пройти мимо всех как тень.

— Это невозможно.

— Ах, так?.. Будьте вы прокляты!

Граф с неожиданной для такого огромного тела ловкостью вдруг перекатился назад. Харитончук не ждал удара, полетел в кусты и опрокинулся. Но граф не прельстился его автоматом. Он схватил обломанную ветку бука, здоровенную, длиной метра в три, и, подняв ее над головой как палицу, бросился на офицеров. Алексей Иннокентьевич понимал, что удара не

будет, не должно быть, но поневоле весь напрягся и ждал, куда будет нацелен удар, если он все-таки случится. Тогда увернуться, сделать ложный выпад и положить этого верзилу отработанным ударом: ребром ладони по шее. А вот капитан Сад будто и не видел ничего. Он сидел все такой же прямой, обхватив руками одно колено, и только в глазах появилось насмешливое выражение.

— Ну что ж ты не бьешь, граф? — спросил он у остановившегося немца.

Райнер колебался еще несколько мгновений, потом отбросил ветку далеко в сторону, плюнул в сердцах под ноги и отвернулся, яростно затолкав кулачищи в карманы галифе.

— Глупый ты парень, Райнер, — сказал капитан Сад, встал и подошел к немцу; его макушка была чуть выше плеча графа. — Ладно. Ты свободен.

— Идите к черту, капитан, — сказал Райнер.

— Скорее всего я там буду сегодня же.

— Если вы думаете, что теперь я лучшего мнения о вас...

— Ладно, ладно. — Капитан Сад засмеялся. — Знаешь, Райнер, а я тоже собирал марки. Даже специально на почту устроился работать разносчиком в вечернюю смену. У меня их было много, марок-то, почти тысяча.

— У меня в Люцерне отведен для этого целый кабинет. И специалист нанят, чтобы следить за новинками и ездить по аукционам.

— Лихо, — ответил капитан Сад, но из гордости не спросил, что такое аукцион.

14

Сашка так и не смог связаться с дивизией.

За семь дней, пока добирались сюда, группа ни разу не вышла в эфир. Сейчас никто из своих не знал, где они, и если им случится вступить в бой и погибнуть, об этом не узнает никто.

— Далеко они, — жаловался Сашка, — вот поближе б им надвинуться хоть на сотню километров...

Теперь он рвался в эфир, не таясь от радиоперехватчиков Хальдорфа, но дивизия их не слышала.

И никто им не мог помочь. Потому что вместе с рассветом наступил тот самый день, когда им с Хальдорфом было не разминуться.

На рассвете Малахов сказал:

— Я схожу в замок.

Капитан Сад ответил не сразу. Он смотрел, как туман катит клубами вдоль леса, как над серой пеленой деревьев покачивается, немыслимо раздуваясь, белый огненный шар.

— Надо полагать, это тот самый случай?

Малахов кивнул.

— Я не могу вам приказывать, Алексей Иннокентьевич, но лучше б вы этого не делали.

— У нас выхода нет, Володя. Мы себя чем-то обнаружили. И теперь наша единственная надежда — это держать Хальдорфа в страхе. Ведь он не знает, сколько нас. Может быть, горстка, а может, и целый батальон поблизости сброшен. Если мы затаимся и не будем хотя бы пищать, он догадается, как мы слабы: это же элементарно. Значит, мы должны напоминать о себе, шпынять его. Мы должны быть нахальными.

Он решил отправиться в замок в открытую. В форме пехотного обер-лейтенанта. Захватив с собой Райнера. Документы у Алексея Иннокентьевича были в порядке, никакой липы. Но он не обольщался, что его примут за своего. Райнер, конечно же, шепнет кому следует, что это русский переводчик. Пусть! Вчера вечером они не взяли Ярину, какой-то переводчик им тоже ни к чему. Если принимать во внимание высокий класс Хальдорфа, все обойдется взаимной игрой, псевдоделовыми разговорами, после чего Малахова отпустят, чтобы не показать своей осведомленности, чтобы подтолкнуть разведчиков к более решительным и открытым действиям.

Ну а если они все-таки Малахова под каким-либо предлогом задержат, даже схватят — тоже не беда. Свои рядом, доберутся до Хальдорфа, выручат. А уж он-то постарается дезинформировать барона, толкнуть его на неверный шаг... Во всяком случае, для огневой мощи группы потеря невелика, а психологический выигрыш в любом варианте очевиден.

— Ладно, — сказал капитан Сад. — Тогда с вами пойдет и Сережа. Для моего спокойствия. Это, считайте, взвод охраны.

— Боюсь, что взвода там может оказаться недостаточно, — улыбнулся Алексей Иннокентьевич.

— Тогда считайте, что с вами рота, — серьезно сказал капитан Сад.

Их впустили в замок через железную калитку, и Малахову горло перехватил спазм, когда он увидел, сколько там солдат.

— Мне нужна помощь, — сказал он дежурному офицеру. — У моего «оппеля» полетел цилиндр. На этих русских дорогах, будь они прокляты, все буквально горит.

— Это далеко?

— Да нет же, и трех километров не наберется. Мы только переехали мост — знаете, где дорога сразу влево поворачивает, и там стали.

— Черт побери, — поморщился немец; он держался с Малаховым свободно, поскольку тоже был в чине обер-лейтенанта. — Не знаю, что и сказать. Время уж больно неудачное. Все люди заняты.

— Эвакуируетесь?

— Вы же видите. Сразу после обеда и выступаем.

— Неужели русские и на нашем участке пошли?

— А вы сомневались?

— Всегда надеешься, что беда постучит в ворота соседа.

— Тоже верно, — примирительно согласился дежурный. Он все морщился и постукивал указательным пальцем по нижней губе, видать, привычка была такая. — Что с вами делать — ума не приложу... Может, вы обождете часа два? Тогда станет посвободнее с людьми, и я определенно смогу вам помочь.

— В десять утра я обязан быть в штабе корпуса, в Станиславе. Меня ждут с пакетом, — не отступал Малахов.

— Ну хорошо, подождите здесь, пожалуйста, — сдался обер-лейтенант. — Только дальше не ходите. У нас, видите ли, спецтерритория.

— Понимаю.

— А я поищу, кто из механиков может вам помочь.

— Одну минуту, господин обер-лейтенант, — выступил вперед Райнер и протянул свою визитную карточ-

ку. Обер-лейтенант мгновенно преобразился: весь подтянулся, заулыбался и даже щелкнул каблуками.

— Покорный слуга, ваше сиятельство.

— Я разыскиваю некоего штандартенфюрера фон Хальдорфа, — сказал Райнер удивительно гнусавым голосом. Очевидно, он подчеркивал этим свое отношение к штандартенфюреру.

— Это мой командир, ваше сиятельство.

— Отлично! — еще сильнее загнусавил огромный граф и затопал от еле сдерживаемого бешенства ногами. — После механика не сочтите за труд, сударь, сходить к этому негодяю и передать, что я требую у него сатисфакции.

Обер-лейтенанта словно сдуло.

— Что вы делаете, Райнер! — тихо сказал Алексей Иннокентьевич, оглядывая двор и службы и пытаясь придумать, каким образом можно раскусить этот орех. — Вы же нас погубите. Вспомните, что вы обещали...

— Простите, — сказал Райнер и упрямо боднул головой.

Алексей Иннокентьевич оглянулся на Сережу Сошникова. Тот сидел возле ворот на скамейке и покуривал сигарету. Автомат на коленях, за спиной глухая стенка...

Возвратился дежурный офицер.

— Ваше сиятельство, штандартенфюрер фон Хальдорф готов принять вас. — Повернулся к Малахову. — Но прежде он желает поговорить с вами, обер-лейтенант.

Они прошли через двор по аккуратной, посыпанной песком дорожке. В углу двора стояли два тупорылых грузовика с брезентовыми фургонами, солдаты грузили в них стальные ящики.

Чуть в стороне зеленел пятнистым камуфляжем бронированный вездеход.

Райнера оставили ждать в просторном холле на первом этаже, а Малахова обер-лейтенант повел по широкой мраморной лестнице наверх. На втором этаже они прошли по коридору, возле предпоследней справа двери обер-лейтенант остановился, любезно показал рукой.

— Прошу.

Это было что-то вроде приемной. Из-за письменно-

го стола поднялся массивный гауптштурмфюрер в черном, стриженный под машинку и с крестом в петлице. Он сдержанно кивнул Малахову и сказал:

— Оружие прошу оставить здесь. У нас так принято.

Принял автомат и парабеллум, положил их на край стола и прошел к двери, за которой, по расчету Алексея Иннокентьевича, должна была находиться угловая комната.

Так и оказалось. Кабинет был просторный, светлый, окна на юг и восток. Прямо за южными ослепительно белело озеро, в одном из восточных, совсем как будто бы близко, виднелась часовня.

Фон Хальдорф — высокий, седой, с лицом скандинавского склада — был в бриджах и прямых сапогах со шпорами. Мундир с рыцарским крестом и несколькими рядами орденских планок был брошен в кресло, а на полковнике в эту минуту была японская пижама, голубая с золотыми рыбками. Эту пижаму упоминал в своем рассказе Ярина. Значит, «управляющий», который его принимал, был сам барон.

На «хайль Гитлер!», выкрикнутое Малаховым, он только чуть кивнул, и как стоял в первый момент, так и остался на месте, заложив руки за спину и внимательно разглядывая Алексея Иннокентьевича.

— Я слышал о вашей аварии, — проговорил он наконец и усмехнулся. — Не терпится к своим?

— Так точно, господин штандартенфюрер.

— Какой корпус?

— Пятьдесят девятый армейский, господин штандартенфюрер.

— Угу... И что же вы везете?

— Секретное предписание из штаба группы армий, господин штандартенфюрер.

— Следовательно, из Львова. Ничего себе кружок сделали!.. Зачем?

— Виноват, господин штандартенфюрер. Имел устное предписание побывать в Самборе на предмет проталкивания нашего эшелона с горючим. Кроме того, его сиятельство господин граф...

— О графе потом. Давно служите?

— Шестой год, господин штандартенфюрер.

— А все обер-лейтенант. Выходит, плохо служите? Кем, если не секрет, были до этого?

— Имел небольшое дело в Швандорфе, господин штандартенфюрер. Канцелярские машины.

— А вот и неправда, товарищ Малахов, — старательно выговаривая русские слова, усмехнулся Хальдорф. — В моей картотеке ошибок нет, а там написано следующее: Малахов Алексей Иннокентьевич, подполковник, сорок четыре года, член ВКП(б) с 1924 года, то есть ленинского призыва, заведующий вторым отделом контрразведки, по образованию историк и лингвист, даже кандидат наук... Продолжать?

Он говорил слишком долго: Малахов успел опомниться и взять себя в руки и глядел спокойно.

— У вас отличная школа, — с удовлетворением кивнул Хальдорф, перейдя на немецкий. — И репутация прекрасная. Тем более мне непонятно, чем я обязан такому визиту? Или вы полагали, что ваше лицо мне незнакомо, хотя бы по фотографиям?

— Вы могли меня и не увидеть, барон, и тогда все обошлось бы.

— Тоже верно... Если быть откровенным, Малахов, а я не вижу причины, почему сейчас уже не могу быть с вами откровенным, я не ждал здесь вашего появления. Во всяком случае, так скоро. И когда мне вчера доложили, что в лесу обнаружены группы русских — это был сюрприз.

— Вы надеялись, что я клюну на вашу псевдогруппу? — понял Алексей Иннокентьевич, но сказал это как нечто само собою разумеющееся.

— Вам ничего не надо объяснять, Малахов.

— Там и была западня?

— Конечно.

— Не огорчайтесь, барон, группа работала хорошо. Если не секрет, как вам удалась столь блестящая имитация? В ней не было ни малейшего изъяна.

Алексей Иннокентьевич поддерживал вроде бы непринужденный разговор лишь для того, чтоб выиграть время. Нужно было найти контригру — срочно, немедленно! — иначе конец.

— У меня собраны лучшие дешифровщики на всем Восточном фронте, — сказал Хальдорф, — так что с кодом справиться было не сложно. Вот контрольный знак нам тяжело дался. Повозились. Сотни раз анализировали все перехваченные радиограммы, пока поняли, где он. Одновременно натаскивали радиста, чтобы

он смог неотличимо имитировать руку своего красного коллеги. Наконец принцип поиска был ясен уже на третий или четвертый день, так что придумать дальнейший достоверный маршрут не составило труда... Но ведь где-то же они дали маху? Когда вы обнаружили подлог?

— Они не могли не найти вас на маршруте, который я выбрал, — сказал Алексей Иннокентьевич. — А челночный поиск, барон, я воспринял сразу как вашу шутку.

— Высокий класс! — скривился в улыбке Хальдорф. — Высокий класс, Малахов. Тем более мне приятна эта победа.

— Ну, до победы, положим, еще далеко...

Фашиста надо было чем-то зацепить, заинтриговать так, чтобы он ощутил практическую заинтересованность в Малахове, чтобы у него создалось впечатление, будто партия продолжается, и партия равная. Для этого у Малахова были козыри, он это чувствовал; совсем рядом, стоит только руку протянуть, были какие-то знакомые ему факты, но сейчас он не мог вспомнить ничего. Страх? Нет, не он был причиной оцепенения. Но на него вдруг что-то накатило и только-только начинало отпускать. Чтобы выиграть время, Алексей Иннокентьевич кинул Хальдорфу ложную приманку:

— Вы знаете, что я сейчас вдруг подумал, барон?.. — Он сделал многозначительную паузу, затянул ее до невозможности, даже на этом выигрывая секунды. — Неужели и Райнер — ваш человек?

Хальдорф самодовольно усмехнулся:

— Поздно же вы спохватились, Малахов.

— Дайте опомниться... Нет, это и в самом деле так?

— Лучший мой агент. Он ждал вас. Не конкретно вас, но вашу группу. Это была моя тайная мина на тот случай, если вы все-таки окажетесь возле моих стен.

— Но почему же мина не взорвалась?

— Рано. Да и кто мог подумать, что вы его сразу притащите сюда... Кстати, Малахов, если не секрет: зачем вы это сделали? Ведь даже окажись он тем, за кого себя выдавал, из патриотических побуждений он... как это у вас говорится?.. ага! вспомнил, — и Хальдорф произнес по-русски: — За-ло-жил бы вас наверняка.

— Я шел на это. Но я был уверен, барон, что такой

великий разведчик, как вы, не польстится каким-то переводчиком. Мне посчастливилось разбирать некоторые ваши партии, и я убедился: вы не гоняетесь за мелкими вистами, бьете один раз — зато наповал.

— Лестный отзыв.

Хальдорф уселся поудобней, закинув ногу на ногу и откинувшись на спинку кресла; но улыбка, блуждавшая на его сухих тонких губах, как бы говорила, что он не принимает комплимент всерьез.

— Тем более приятно услышать это от вас, Малахов. Если я бы не увидел вас из этого окна, я именно так и поступил бы.

— Но этот вариант был самый крайний, — улыбнулся и Алексей Иннокентьевич. Его уже совсем отпустило, и он вспомнил, чем прижмет Хальдорфа. — А вообще-то Райнер убедил меня в своей порядочности. Я рассчитывал на нее, был почти уверен, что мой маскарад удастся. В этом случае мне и отступление было обеспечено спокойное. Если б он вел себя в замке хотя бы вполовину так экстравагантно, как у нас в лесу, ваши люди уже ничем другим не могли бы заниматься. И я бы потихоньку улизнул.

— Логично, — кивнул Хальдорф. — Славный он мальчишка, этот Райнер. Огромное актерское дарование. Но граф самый настоящий! Правда, родителей рано лишился, а денег уже и у них не было ни гроша... — Хальдорф иронически вздохнул. — Я забрал его из приюта, определил в лицей. Денег мне это, конечно, стоило немало, но я его люблю, черт побери, и он ко мне привязан как щенок...

Хальдорф потянулся к ящику с сигарами, достал одну, взглянул на Малахова.

— По-моему, вы не курите, подполковник?

— Не курю.

— Вот видите, мне даже это известно. — Хальдорф неторопливо раскурил сигару, затянулся. — Я подозреваю, Малахов, что эта милая беседа вовсе не гарантирует вашей готовности отвечать на мои вопросы... — Он подождал, но со стороны Малахова не последовало никакой реакции. — Все-таки я их задам. Первый: какое по численности подразделение блокирует замок?

У Малахова камень с души свалился. Боится! Он уверен, что нас здесь много, — и боится!.. Но лицо Алексея Иннокентьевича оставалось непроницаемым.

— Второй: сколько у вас пулеметов? есть ли минометы?

Опять интервал — ровно на одну глубокую затяжку.

— Третий: как вы планировали взять замок?

Еще одна затяжка — и Хальдорф подчялся из кресла.

— Ну что ж, подполковник, я другого и не ждал. Сейчас мы расстанемся на время. В связи с эвакуацией дел много. И с графом нужно поговорить: надеюсь, он пришел ко мне не с пустыми руками.

— Сомневаюсь, чтоб он много мог рассказать, — сказал Алексей Иннокентьевич. — Его изолировали тотчас, как взяли.

— Вы недооцениваете мальчишку. Впрочем, это наше с ним дело. У вас же, Малахов, есть несколько часов. Подумайте хорошенько. Возможно, у нас найдутся общие темы для конкретных и плодотворных бесед. Я не хочу с вами воевать, Малахов. Я хочу сотрудничать.

— Зачем же откладывать? — сказал Алексей Иннокентьевич. — Время и в самом деле дорого.

У Хальдорфа удивленно взлетели брови.

— Они понимают по-русски? — Алексей Иннокентьевич кивнул на тяжелые шторы.

— Да.

— Хорошо бы, чтоб нас никто не слышал. Государственная тайна. — Он увидел, что Хальдорф колеблется, и понял, в чем дело. — Это не провокация, барон. Я отойду в угол, а вы возьмите свой пистолет — вот вам и гарантия, что я буду вести себя смирно.

Хальдорф кивнул, вызвал по имени обоих телохранителей, они выбрались из-за штор и покинули кабинет. Фашист не пренебрег советом насчет пистолета, загнал в ствол патрон и наблюдал за Малаховым с нескрываемой иронией.

— Сначала одно обязательное условие, барон.

— Говорите.

— Автоматчик, который пришел со мной, должен остаться живым.

— Обещаю.

— Мое сообщение преследует две цели: чтоб вы поняли, что здесь нет победителя и побежденного, что у нас равная игра; второе — помочь вам, иначе вместе

с вами несдобровать и мне. — Малахов выждал, как бы собираясь с духом. — Итак, речь пойдет о ваших переговорах с американской секретной службой.

Хальдорф на это только склонил голову набок, словно впервые увидел Малахова. Тоже неплохая выдержка; посмотрим, надолго ли хватит, подумал Алексей Иннокентьевич, и продолжал:

— Так вот, об этих переговорах знает не только американская сторона, но и Вальтер Шелленберг.

— Ложь!..

Возможно. У Малахова, конечно же, таких сведений не было, он это придумал только что, придумал с единственной целью припугнуть Хальдорфа, уверенный лишь в одном: проверить это нельзя. Это был довольно примитивный шантаж. Но стрела попала в цель.

Алексей Иннокентьевич пожал плечами.

— Согласно секретному предписанию, сегодня школа должна сняться отсюда. Через несколько дней, барон, вы будете в Берлине. Зайдите к шефу и спросите, так это или нет.

Малахов не мог знать, что накануне в ставке в Растенбурге на Гитлера было совершено неудачное покушение, а затем в самом Берлине провалился путч. Но связанный со своими людьми в Центре по радио, Хальдорф уже знал об этом и догадывался, что за этим последует, сколько голов полетит по малейшему подозрению. В другое время он еще мог бы спокойно взвесить, с чем имеет дело: с шантажом или же с отлично информированным противником, но сейчас любое слово, а тем более факт приобретал невиданную силу психологического воздействия на него.

— Как говорят русские, с вами не соскучишься, Малахов.

— Еще одна важная деталь: Джон — «двойной» агент.

Это опять было взято с потолка, но пойди проверь...

— Проклятье...

— Кстати, вы напрасно доверились штурмбаннфюреру. Корнелиус не только шизофреник, но и пройдоха.

Третья мина подряд. Малахов ощущал себя Хлестаковым, но каждая стрела шла в цель! — надо же, какая удача.

— Ну, не так уж я ему и доверяюсь, — пробурчал

Хальдорф. — Откуда у вас такая информация, Малахов?

— Хотите все сразу, барон? Не выйдет.

— Угу... Ну что ж, значит, нам с вами еще есть о чем поговорить...

— Может быть, я для этого разговора и шел сюда.

— Только не перегибайте палку. — Хальдорф сделал неудачную попытку улыбнуться. — Я ведь тоже еще не полный идиот, чтобы верить любой глупости. Вы влипли больше меня. Я помню об этом. И вы не забывайте тоже.

Он открыл дверь и хлопнул в ладоши. Появилась охрана. Хальдорф жестко чиркнул указательным пальцем: увести.

Опять мимо глыбоподобного гауптштурмфюрера, через коридор, вниз по лестнице в холл. Здесь толклись эсэсовцы, много эсэсовцев — тащили откуда-то снизу ящики, все потные, багровые.

Через двустворчатую дверь, из которой выносили ящики, охранники и Малахов протиснулись в просторный тамбур. Здесь не было окон. Голые стены, оклеенные вощеными обоями с каким-то тусклым геометрическим рисунком; столик дежурного, над ним сепия — репродукция фото: фюрер окапывает дерево; рядом круглый дверной проем, оправленный в стальное кольцо; сверкающий никелем стальной диск двери (с рукоятками управления, смотровыми глазками и пулеметными бойницами) открыт внутрь. Дальше железобетонная площадка и пологая лестница вниз.

Вот и нехитрая разгадка. Сама школа — в бункере, и можно только предполагать, как он велик. А замок — только маскировка.

Три десятка металлических ступеней. Снова тамбур со стальной круглой дверью. За ним длинный коридор в обе стороны. Ярко светятся плоские плафоны.

Несколько шагов налево — и опять лестница вниз. На этот раз короче, хотя двери и здесь все той же внушительной конструкции. И возле обеих сидят дежурные с автоматами.

Но Алексея Иннокентьевича повели еще ниже. Третья галерея оказалась совсем небольшой: две двери слева, две справа; на каждой запоры и смотровые оконца с задвижками. Камеры.

Надзиратель сидел в тупике на прямом неудобном

стуле. Он был без сапог, в грубых шерстяных носках почти до колен и в тапках. Он только что кончил говорить по телефону, даже трубку не положил.

— Тони, я ни черта не понимаю! — раздраженно сказал он. — Для этого типа нужно освободить отдельную камеру?

— Это не я придумал, Крысеныш, — ответил ефрейтор.

— Но ведь все равно вывозить их будем в одном курятнике?

— С твоей головой, Крысеныш, я б уже командовал дивизией, — весело хрюкнул ефрейтор. — Или городской тюрьмой.

Алексею Иннокентьевичу велели стать лицом к стене. Он услышал, как открыли двери двух камер. «Шнель! Шнель!» — зашелестели непривычно легкие неподкованные шаги нескольких пар ног. Лязгнул запор. Алексея Иннокентьевича провели в освободившуюся камеру.

Яркая лампочка. По бокам трехэтажные нары. Яркие желтые и зеленые поперечные полосы матрацев. Проход узкий, пять шагов в длину. На торцовой стене, ближе к полу, свежая штукатурка, даже закрасить не успели. Пахнет известью, а так воздух хорош, хоть здесь и сидели несколько человек сразу. Очевидно, принудительная вентиляция, понял Алексей Иннокентьевич, и без труда нашел под потолком забранное прутьями отверстие.

Он расстегнул мундир и лег на спину. Дело плохо, подумал он. Прямо скажем — не повезло. И все же ему удалось кое-что извлечь из проигранного дебюта, и кто знает... может оно и к лучшему. Немцев здесь много. Слишком много. Володе с ними не справиться. Замок неприступен, а поджидать их в пути, устроить засаду... Ну сколько они успеют убить? Ну, двадцать фашистов, ну, двадцать пять от силы, а потом придется спасаться самим... Это ничего, что я здесь, заключил Алексей Иннокентьевич, Хальдорф заинтригован и запуган. Ему не догадаться, откуда у меня такая информация, где правда, а где ложь. И он будет меня таскать за собой до тех пор, пока не дознается об источниках. Это хорошо. Это очень хорошо. Времени много, и движения предстоит много. Что-нибудь придумаю. А сейчас спать.

Спать он давно приучил себя в любой обстановке, и сейчас тоже заснул почти сразу. Разбудил его караульный — принес миску похлебки, большой ломоть хлеба и кружку кофе. Похлебка оказалась ничего, и хлеб хороший, а вот кофе был дрянной, коричневая бурда. Все же Алексей Иннокентьевич и его выпил, и опять лег спать; а когда снова проснулся, в камере было темно и что-то лилось. Он сел и спустил с нар ноги, и они окунулись в воду почти до колен, а вода все прибывала.

15

— Идем, тебя твой обер-лейтенант зовет, — сказал Сошникову низенький крепыш оберштурмфюрер, чем-то напоминающий издали Володьку Харитончука, только у того физиономия была само добродушие, а эсэсовец глядел сквозь тонкие «золотые» очки, будто иглой колол.

Сошников усмехнулся. Обычная история: в который раз его костлявая фигура ввела противника в заблуждение; почему-то худоба у всех ассоциировалась с отсутствием силы. Вот и теперь оберштурмфюрер так повелительно взял Сергея за предплечье, так цепко взял, что бери этого дурака на любой прием — можно шею ему свернуть, можно шарахнуть об стенку или, уж самое безобидное, сломать эту руку, а он и опомниться не успеет и не поймет, как это произошло.

Сошников осторожно левой рукой убрал руку эсэсовца, закинул на плечо ре́мень автомата — пусть висит под мышкой, самое удобное положение, чтобы вдруг открыть огонь, — и сказал:

— Пошли.

Он понимал по-немецки почти все и даже кое-что говорил, но ему было далеко до Рэма, а главное — произношение хромало. Поэтому Сошников предпочитал говорить коротко или вовсе отмалчиваться.

Пока все шло нормально.

Успо́каивало и то, что Алексей Иннокентьевич, которого несколько секунд было отлично видно в большом угловом окне второго этажа, держался уверенно и даже улыбнулся собеседнику, очевидно самому Хальдорфу.

Если б они хотели со мной расправиться, они бы пристрелили меня издали, рассуждал Сошников, поднимаясь на крыльцо. Или попытались бы обезоружить. Но не тянули бы меня со всем арсеналом в дом. Ни к чему им это...

Уже шагнув за порог, первое, что он увидел, были глаза какого-то эсэсовца, и в них Сошников мгновенно прочел такое, что понял: сорвалось... А в следующую долю секунды он увидел, как на его тень, вырезанную черным на солнечном квадрате у ног, падает поперек шеи что-то черное.

И упал почти одновременно с ударом как подрубленный.

— Вот дохлятина, черт побери, — выругался оберштурмфюрер. — В чем душа держится, а ведь тоже в разведку лезет! Только руки о них пачкать...

Сошников лежал вялым комком и слушал. Вот сорвали автомат. Вынули гранаты. Пошарили — нашли пистолет. Еще ищут... Сколько их здесь было? Двое на верхней площадке, по-моему, безоружные; жаль, точно заметить не успел. Один спускался по лестнице с железным ящиком — он точно без оружия. Справа дежурный, этот при «шмайссере», конечно... И еще один или двое здесь же болтались — ничего о них вспомнить не могу... Ладно. Оберштурмфюрер в одиночку действовать не рискнул бы. Предположим, его страхуют двое, которых я заметить не успел. У очкарика только пистолет в кобуре. Но по шее мне двинули прикладом «шмайссера». Очевидно, и второй при автомате...

Итак, эти двое, обер с моим автоматом и дежурный. Остальные не в счет. Но и эти четыре автомата... Плохо дело. Жаль.

Ножа все-таки не нашли. В левом голенище. Хороший широкий нож. Уже что-то для начала.

Надо заметить, у кого мой автомат. Он на боевом взводе, шпарь сразу. Это выигранные полсекунды, может быть, даже целая секунда...

Вот он, милый, в левой руке у обера...

Сошникова уже волокли к входу в бункер. Оберштурмфюрер за левую руку, другой эсэсовец — за правую.

— Обождите, гады. Один момент... Очухаюсь — сам пойду.

Эсэсовцы отпустили руки. Сошников сел на полу. Потряс головой, фыркнул пару раз, потер шею.

— Ты погляди на эту русскую свинью! — сказал с иронией в голосе оберштурмфюрер. — Он хочет...

Фашист не договорил. Нож вошел в его сердце, а тело с необыкновенной для такого веса легкостью, поворачиваясь в воздухе, рухнуло на стоявшего с другой стороны эсэсовца, и уже вдвоем они откатились под стену.

Так и есть — страховали двое. Вот он, второй — мордастый, отъевшийся боров. Не умеешь даже со спины толково бить — получай от меня спереди.

Три пули как три пуговицы прошили вертикальной строчкой рубаху эсэсовца точно посередине. Он еще стоял и глядел на Сошникова, ничего не понимая, но он уже был не в счет.

Дежурный присел за тумбу письменного стола, но его «шмайссер» лежал в стороне, до него еще дотянуться надо.

Сошников, не целясь, послал две пули под стену, где из-под обера выползал эсэсовец со «шмайссером», резко присел — и нападавший сзади немец «провалился» с неожиданным грохотом: он хотел с маху ударить Сошникова железным ящиком.

Сзади стрелять не будут, не должны, иначе конец, иначе все это без смысла...

Сошников рванулся вперед и письменным столом двинул дежурного об стену. Тот сомлел. Или сделал вид, что сомлел. А, собака, живи. Пули мне сейчас дороже твоей жизни.

Он выскочил наружу и стал рядом с дверью.

Тишина.

Все спокойно во дворе. Только возившиеся возле автофургонов эсэсовцы остановились на минуту, смотрят сюда, на него, на Сергея Сошникова.

— Что там у вас? Кто-то стрелял?

Сергей небрежно махнул рукой и отвернулся.

Двенадцать шагов до бронетранспортера. Спокойно подойти, завести...

До ворот метров тридцать — успею набрать неплохую скорость. С ходу шарахнуть в ворота — глядишь и вырвусь. А если нет — калитка рядом. А там под стеночкой, под стеночкой...

А как же Алексей Иннокентьевич?..

Из двери выскочил дежурный. Так ты еще жив? Удар в шею, второй — в переносицу. А ведь мог бы жить.

Следующий немец от удара сапогом в живот пролетел через весь холл к подножию лестницы.

Сошников остановился в дверях и с бедра расстрелял остальных.

Огромными прыжками вверх по лестнице. Там уже двое. И еще один в стороне, над перилами изогнулся, тянется вперед, хлещет пулями, мазила. Получай! получай! получай!

Алексей Иннокентьевич, кажется, был в левом крыле, вспомнил Сошников. Да, в левом... Оттуда бегут двое, два непомерно больших черных силуэта на фоне торцового окна. И справа бегут еще несколько. Не уйти...

Никто не стреляет.

Своих боятся побить.

Сошников с опущенным автоматом медленно двинулся влево, навстречу двоим, и только когда они оказались совсем рядом, вдруг вскинул автомат и выпустил каждому по пуле в живот, а потом еще по одной, потому что как-то же надо было их остановить — уж больно велика у них была инерция. Потом он стал отступать вдоль стены, пятился, пробуя плечом, где дверь, стреляя в тех, кто сначала догонял его, а теперь стрелял лежа, так что весь коридор казался расцвеченным вспышками выстрелов и строчками трассирующих пуль. Он выпустил в них четыре пули, а потом автомат щелкнул впустую, но Сергей его не бросил, он все отступал вдоль стены, распластавшись по ней, пока не нащупал дверь и не провалился в нее.

Здесь было светло. Очень светло. И хотя все качалось и глаза начинал застилать багровый туман, Сошников понял, что это еще не та комната. Та была еще левее, вот и дверь в нее, а это только приемная, конечно, это только приемная...

Из-за стола, став на колено и положив на согнутую в локте руку парабеллум, быстро-быстро стрелял большеголовый, стриженный под машинку гауптштурмфюрер. Он слишком боялся и слишком быстро стрелял... слишком быстро...

Сколько раз он выстрелил?.. сколько раз...

Не помню.

Плохо дело, если уже выстрелы в меня из парабеллума не считаю...

А слева на столе лежал автомат.

Сошников добрел до него, медленно поднял — какой тяжелый!.. — и стрелял в голову гауптштурмфюрера, пока она вся не разлетелась. Потом повернулся к двери и выпустил в нее — в открытую створку и в закрытую тоже — не меньше десяти пуль. Щедро?.. Для вас мне ничего не жалко, господа...

Держась за стену, почти ползя по стене, он добрался до двери в кабинет Хальдорфа. Вошел...

Алексея Иннокентьевича здесь не было...

Здесь не было никого...

Прямо было большое, открытое настежь окно, а сбоку в нем сверкало озеро, а там вдали, так близко, совсем рядом, была часовня... ребята... капитан Сад...

У него еще хватило сил подойти ближе и ощутить солнечное тепло на лице и груди... ребята... он улыбался и не слышал уже, как сзади стучат отбойные молотки, не видел, как материя на его груди разрывается фонтанчиками и превращается вся в темное рваное месиво... Он еще не знал, что уже умер.

16

Было около десяти утра, когда появился Райнер.

Его увидели сразу, едва он вылетел из калитки замка. Он тут же вскочил на ноги, размахивал кулаками и, наверное, что-то кричал, а потом поплелся по дороге, перекинув кожаную куртку через плечо, а потом вдруг бросился бежать, и бежал очень быстро, до самого леса, и когда он остановился перед капитаном, дыхание у него было очень недурное — видать, в свое время получил хороший тренинг, да и нервная вспышка играла не последнюю роль: он не чувствовал ни расстояния, ни зарождавшегося зноя. Только вблизи стало видно, что рубаха на нем разорвана, на голове кровь и поперек левой щеки от глаза под ухо — продолговатый черный рубец, надо понимать, от удара прикладом.

— Капитан, — проревел Райнер, — я нашел этого негодяя! Я видел его вот так же близко, как вас.

— Он мертв? — сочувственно спросил капитан Сад,

со знанием дела разглядывая грязь, размазанную по лицу графа. Это слезы, а не пот, утвердился он в своем начальном предположении. Еще бы, ему крепко досталось.

— Дайте мне ваших людей! Идемте вместе! Я придумаю для него такую кару... Он науськал на меня чернь. Они били меня палками!.. — Райнер швырнул на землю куртку и стал топтать ее своими желтыми ботинками на каучуковой подошве. Просто удивительно, подумал капитан Сад, как он не боится носить такие роскошные ботинки. Это неосмотрительно. Их бы давно уже сняли с кого угодно.

Капитан сидел на самом краю леса, сложив по-турецки ноги. Было жарко, и Райнер стоял слишком близко. Чтобы видеть его лицо, приходилось буквально заламывать голову.

— Где мой переводчик?.. Где сержант? — спросил наконец капитан Сад, через силу выдавив из себя оба вопроса.

Можно было и не спрашивать. Раз не вернулись — вся ясно... Не ты ли их выдал, сволочь? — думал он, глядя на Райнера зажмуренными в узкие щелки глазами, чтобы немец не прочел, что в них написано.

— Они живы! — воскликнул Райнер. — Но их повели куда-то в погреб. Может быть, пытать? Ведь это СС! Вы знаете, что такое СС, капитан?

— Знаю... — Капитан облизнул пересохшие губы. — А тебя, значит, выгнали? Руки пачкать не хотят? Желают, значит, чтоб мы с тобой разделались за своих товарищей?..

Райнер только головой мотал: все правильно. Он держался удивительно свободно, однако где-то в глазах, да и то не сверху, а за слоем ярости, угадывалось ожидание. Ведь решалась его судьба: жить ему или нет...

— Отчаянный ты парень, Райнер, — все так же медленно произнес капитан Сад и отвернулся. — Уходи.

— Капитан! Пока не поздно — нападем на них!..

— Нет.

— Знаете, как это называется?!

Райнер ухватил капитана за ворот. Тот резко повернул голову, приказал:

— Не стрелять.

Райнер понял и отошел. Успокоился.

— Я вас прошу. Во имя самого святого, что у вас есть на земле... Неужели для вас собственная шкура дороже чести, дороже дружбы... дороже долга наконец?! — взорвался он снова.

— Уходи.

— Это ваше последнее слово?

— Да.

Граф подобрал куртку, повернулся и пошел через поляну в сторону моста.

— Их много в замке? — крикнул вслед капитан Сад.

— Я не шпион. Я честный свободный человек, — через плечо ответил Райнер.

— Пусть фрица пропустят, — сказал капитан Сад. — Только предупредите, чтоб с дороги не сворачивал. И не очень смотрел по сторонам.

После такой заявочки он уже не будет сомневаться, что нас здесь много... А сколько все же против нас немцев? Пожалуй, не меньше взвода, ведь Сережу голыми руками не возьмешь. А то и больше. И они уже знают о нашем существовании. Ждут нового визита. Ждут сюрпризов. Попробуй подступись к ним теперь...

Ему пришлось прервать эти несложные размышления, потому что Райнер возвратился.

— Капитан, — сказал он, стараясь быть сдержанным, — у меня к вам будет просьба, которая вас не затруднит. Дайте мне автомат.

— Нет.

— Уверяю вас: вам не придется жалеть об этом.

— Нет.

— Молю вас!..

— Я забочусь о твоей душе, Райнер. О твоем красивеньком нейтралитете. Ты хочешь, чтоб я был соучастником его разрушения? Этот номер не пройдет. Тебе придется делать все самому, Райнер. Уж такая это работа.

Райнер ушел совсем, а капитан остался сидеть на опушке леса под дикой грушей. Тень она давала ерундовую, рябую, как россыпь серых пятаков, зато взобраться на нее не стоило труда, и хоть обзор увеличивался ненамного, даже этой малости было довольно, чтобы видеть все озеро и луг до замка, и луг позади него, незаметно, возле самой кромки дальнего леса пе-

реходивший в узкую болотистую низину. Впрочем, капитан позволил себе взобраться на грушу только однажды. Он не любил начальников — суетливых хлопотунов, и поскольку в своих бойцах предполагал сходную точку зрения, старался всегда держаться солидно. Одно дело — произвести рекогносцировку лично, и совсем другое — поминутно карабкаться на наблюдательный пункт или вообще не слезать с него часами, выдавая свою неуверенность и нетерпение. Нет, у командира другая забота — он должен думать.

Зной становился невыносимым. Мстила бессонная ночь: голова была словно не своя, требовались почти физические усилия, чтобы держать мозг в напряжении. Временами капитан Сад растирал голову. Ему казалось, что тогда загустевшая, застоявшаяся кровь проталкивается, уступает место новой. Это помогало не надолго; свежей крови не было совсем. Возможно, поспи он хоть час, это принесло бы облегчение, но капитан знал, что не имеет права спать. Он должен был думать. Думай, думай, говорил он себе, повторял почти механически, тут же встряхивался и, озлившись, приказывал: думай!

Он должен был понять, что означает эта тишина, это необъяснимое бездействие Хальдорфа.

Он сидел багровый от жары, с завернутыми выше локтей рукавами гимнастерки, с расстегнутым на одну пуговицу воротом и, когда ему что-то докладывали, только чуть поворачивал голову.

В двенадцатом часу прибежал Федя Капто. Оказывается, дозор Норика Мхитаряна встретил двух наших разведчиков из какого-то соседнего хозяйства. Причем самое интересное, что их группа шла с тем же заданием: искали фашистский разведцентр. Всего в группе пятнадцать человек, но базируются они далеко отсюда, в горах, по прямой будет километров двадцать, если не больше.

Капитан Сад потер глаза, потер уши, встряхнулся. Не помогло.

— Поищи за деревом, — попросил он Федю, — там должна быть фляга с водой.

С луга качнуло ветром пряную, сладкую духоту. Кажется, дело пошло веселей, пробормотал капитан, подтянул к себе автомат и поставил его на боевой взвод.

— Вот что. Приведите их сюда. Но по дороге, — он сделал неопределенное движение рукой, — заберите оружие. Только действовать мягко, без нажима. Мол, порядок у нас такой.

— Уразумел, товарищ капитан, — озадаченно протянул Федя и тяжело побежал через орешник.

Они появились все гуртом. Прямо демонстрация, подумал капитан Сад, но не сделал замечания, поскольку знал, что на этом уровне луг даже с башни не просматривается.

Эти двое были свои, братья-славяне. За километр узнаешь. У одного типично рязанская рожа, у другого все потоньше, да и сам посмуглее выдался. Южанин. Поставь их в один ряд с остальными разведчиками — ничем не выделятся. Правда, сейчас имелось одно отличие: они были в гимнастерках, в то время как ребята капитана Сада — все голые по пояс. Загорали, черти, с завистью подумал он.

— Так где же ваша база?

Смуглый объяснил. У него были нашивки старшего сержанта и чуть развязные манеры. Одесса-мама, определил капитан Сад. Такая у него марка. А на самом деле, может, и моря в жизни не видел, и не знает, какая она в натуре, Дерибасовская...

Капитан подумал, какой бы спектакль он в другое время устроил своим ребятам, но сейчас не было ни сил, ни желания, а главное — времени было жаль. Он знал, что должен думать, тем более что теперь в задачу введено еще одно неизвестное.

— И когда же вы ушли со своей базы?

— Вчера после шести. Как жара спала, — охотно ответил смуглый и улыбнулся.

Капитан Сад кивнул и навел автомат на живот смуглого.

— А ну, ребята, отойди в стороны.

— Ты шьо, капитан, нервный? — вытаращил глаза сержант и чуть пригнул колени, так что от него теперь и в самом деле можно было ждать чего угодно. — На ково, пацан, мазу тянешь?

— Может, по-хорошему договоримся? — сказал капитан Сад.

— Перво, убери свой дырокол. Ты шьо, не видишь — я чистый.

— Федя, а ну определи, когда они брились.

Капто подошел сзади, но не прямо, а с расчетом, чтоб его не могли лягнуть.

— Недавно, — сказал он, — часа два от силы. Вот от этого даже пахнет. Одеколон.

Капитан кивнул снова. Он не испытывал ни восторга, ни удовлетворения; скорее даже обиду, что вот как с ним мало считаются, ведут такую прямолинейную игру.

— Будем говорить?

Пленные молчали. Сейчас они не заговорят даже под угрозой смерти — они знают, что нужны мне, подумал капитан Сад. Но заронить в них сомнение не вредно. На всякий случай.

— Вы думаете, это просчет господина Хальдорфа? — капитан скривил губы, но улыбка вышла неубедительная; он был плохой артист. — Как бы не так! Он с первой минуты знал, что вы обречены. Но он пожертвовал вами, чтобы удержать меня здесь, чтобы я терял на вас время, пока он будет раскидывать сеть.

Пленные молчали.

Их надо было бы рассадить по отдельности, но для этого не было ни людей, ни подходящих мест. Капитан велел, чтоб их заперли в часовне, и снова приказал себе: думай.

Потом он вызвал Сашку.

— Послушай, Сашок, настрой-ка свою машинку. Поинтересуемся, о чем там в эфире треплются.

Это было не так уж и важно, просто небольшая хитрость: соблюдалась видимость деятельности, а мозгу между тем послабление, передышка. Капитан понял это сразу, но приказа не отменил. Он умел быть снисходительным и к себе тоже, если только вопрос не был принципиальным, конечно.

В эфире было пустовато и в меру спокойно. Обычная ситуация для таких забытых богом мест. Наших вообще поймать не удалось ни разу, а немцы болтали о какой-то ерунде: двое радистов сговаривались о поездке в протекторат, правда, цель ее дипломатично не называлась, но можно было догадаться, что речь идет о спекуляции, а еще один тип с каким-то странным акцентом рассказывал приятелю анекдоты. Затем вклинился деловой разговор, и хоть он велся на полунамеках, капитан Сад понял, что 1-я гвардейская генерал-полковника Гречко сдвинулась, и ее ударные танковые

части уже вышли на Золотую Липу. Лихо идут, восхитился капитан Сад, за полдня километров тридцать-сорок отмахали. Если и дальше так покатится, здесь они будут на третий день. Ну да, на третий, если у них с подвозом горючего сойдет гладко.

Но потом капитан вспомнил, что между Золотой и Гнилой Липой стоит немецкий 24-й танковый корпус, и дорог там нет приличных с востока на запад, так что какой к черту подвоз. Он представил, как туго будет развиваться наступление, и хоть это ни в какой степени не влияло ни на его планы вообще, ни на исход текущей операции, все же огорчился, отдал Сашке наушники и вернулся на опушку, на облюбованное под грушей место.

Потом опять был зной и дрожащий воздух над дорогой, и продолжалось это час, а может, и меньше. Время утратило четкость и ритм, и где-то растягивалось мучительно, а где-то проваливалось кусками, и тогда капитан с запоздалым раскаянием ломал дремоту. Между тем он ни на миг не закрывал глаз, но это уже не имело значения. Почти все время в работе было его внутреннее зрение, какие-то миражи проходили перед ним, капитан наблюдал их апатично, вдруг спохватывался, что занят не тем, и усилием воли прогонял их, выставляя взамен, как фантом, одно слово: думай, думай, думай...

Потом возник мираж, который капитану не удалось стереть сразу: это был белобрысый диверсант, рязанская рожа. Капитану почудилось, что этот парень идет к нему через луг, прямо к нему, к этой груше. Капитан сообразил, что такое невозможно, потому что белобрысый заперт с приятелем в часовне — и потер глаза. Не помогло. Капитан отвернулся в сторону, снова посмотрел. Белобрысый был уже близко. Он был наяву. Только шел тяжело — пошатываясь и держась рукой за шею.

Нервы ни к черту, огорчился капитан Сад. Он ждал спокойно, даже автомат не тронул.

Диверсант остановился шагах в пяти.

— Я сяду, — сказал он, — а то ноги не держат.

— Садись, — кивнул капитан.

Диверсант сел и еще чуть придвинулся, чтобы быть в тени.

— Меня Коля зовут, — сказал он. — Я безвред-

ный. А подыхать не хотелось. Вот и пошел к ним сюда. Из концлагеря.

Он осторожно помассировал шею, поморщился.

— Крепко мне Мишка хрясиул. Думал, кранты. Выкарабкался!.. Я ж ему, суке, закидоны делал: Мишаня, говорю, пока горит, давай перекинемся до наших. Когда еще раз такая лафа засветит. А он мне: не тая у меня биография, не подходячая для совестливых. Руки, значит, уже ничем не отмоешь. — Он поглядел в ту сторону, где между кустами лежали разведчики. — Мишка меня за собой тянул в бега, до барона, значит. Но я тоже упертый. Сел на тормоза прочно. Ну он меня и пришиб. Он у нас по этой бухгалтерии первый мастер. Должно, нарочно не угробил до смерти — барону оставил в удовольствие.

— Там что — плохо было заперто?

— Зачем же плохо? Мы через дырочки в крыше. Нам это во как, — он чиркнул ребром ладони над головой.

— Ловкий ты парень, Коля.

— Есть малость.

— Только вот беда, Николай, момент для спасения ты выбрал не самый подходящий.

— Виноват, товарищ капитан. Не понял.

— Скорей всего — драться сегодня будем. Насмерть.

Коля подумал.

— Жалко, — сказал он.

Они помолчали, и Коля все думал очень напряженно.

— У меня до вас просьба будет, товарищ капитан.

— Давай.

— Как на связь станете, передайте мамке два слова, я адресочек дам. Значит, что погиб ее сын Коля красной смертью как герой. При выполнении, значит, боевой задачи.

Потом сел рядом с капитаном и стал рисовать пальцем план замка. Где огневые точки, и шлюзы, и входы в бункера, сколько охраны, курсантов и офицеров-преподавателей. Потом он присоединился к разведчикам, а капитан Сад все сидел под той же грушей, сидел и думал, только теперь ему уже спать не хотелось, и он думал по-настоящему, и когда настал полдень, он понял, что замыслил Хальдорф.

17

Первый завал разведчики устроили за пять километров до села. Для засады место было идеальное: дорога заворачивала вокруг холма, лес подступал почти вплотную, видимость вперед по дороге от силы метров на пятьдесят. Капитан Сад смотрел сверху, как дозорный мотоцикл, лихо одолев поворот, едва успел затормозить, пошел юзом и его даже развернуло, причем коляска зарылась в ветвях лежавшей поперек проезжей части могучей ели. Перепуганный пулеметчик дал из коляски очередь по кустам, эхо звонко защелкало между холмами, а мотоцикл, взвыв мотором, уже мчался назад, к колонне.

Лес молчал.

К этому завалу немцы отнеслись с предельной серьезностью. Вся рота высыпала из бронетранспортеров и прочесала лес по обеим сторонам дороги — до завала и еще метров на сто дальше. Потом растащили завал, погрузились в бронетранспортеры, но теперь их скорость не превышала тридцати километров в час. Осторожничали.

Второй завал был устроен в таком же удачном месте. Немцы ждали его, и все-таки он оказался для них сюрпризом, и опять была легкая паника, а потом действия в обычном порядке: разгрузка, прочесывание, разборка завала, погрузка...

Третий завал они восприняли уже как должное. Растаскивали его солдаты с двух головных бронетранспортеров, остальные ждали в машинах, держа под прицелом придорожную чащу. И едва в завале появился небольшой просвет, колонна двинулась вперед, буквально продиралась через кроны сброшенных в кюветы деревьев.

Торжествовал немецкий рационализм.

И нехитрый психологический расчет капитана Сада.

Четвертый завал скорее напоминал баррикаду. Он был посреди села, но расположен так хитроумно, что объехать его не было возможности, а растащить — далеко не просто. Кроме того, рядом был колодец — идеальный стоп-сигнал в этот зной, — и еще один психологический тормоз: с баррикады уже был виден пятый завал. Он находился по другую сторону ручья, за мостом, и был чисто символическим, но

это можно было обнаружить, лишь подъехав к нему вплотную.

Немцы принялись за дело организованно. Правда, сперва вся рота хлынула на водопой, но уже через пять минут целый взвод растаскивал баррикаду, а несколько солдат пошли к мосту и тщательно осмотрели, не заминирован ли он. А затем, как и в предыдущий раз, едва в баррикаде появился мало-мальский просвет, в него протиснулся бронированный вездеход и помчался к пятому завалу.

До него вездеход не доехал.

Он уже был на полпути к цели, когда сзади раздался сильный взрыв. Это Володька Харитончук, стремительно выкатившись из кустов, разнес мост связкой гранат. Потом он улегся в кювете, в заранее облюбованном месте, откуда стрелять было удобно, как в тире, засек время с точностью до секунды, приготовил к бою автомат и «трехлинейный мастерок» со снайперским прицелом и стал ждать, когда появятся первые враги.

Ты должен удержать их ровно десять минут, сказал ему капитан Сад. После этого отходишь к завалу. Но запомни, тезка, если они тебя подстрелят раньше, если ты им позволишь это, я тебя перестану уважать, не говоря о том, что так можно испортить все дело.

Владимир Харитончук, вы артист! — похвалил себя разведчик, с удовольствием разглядывая окутанные облаком дыма и пыли развороченные и расщепленные бревна. Сзади послышалось несколько быстрых выстрелов. Харитончук поглядел через плечо. Разведчики копошились возле вездехода. Потом взревел мотор — и машина рванула по дороге. Славно.

Пошла уже третья минута, когда немцы перестали топтаться на том берегу и начали переправу через ручей. Харитончук не спешил, выждал удобный момент и снял двух особо зарвавшихся одной короткой очередью. Остальные залегли. Хоп-ля! —и капутцино! Привет господу богу от снайпера-артиста, редактора комсомольского боевого листка Владимира Андреевича Харитончука.

Он заметил возле бронетранспортеров офицера, нашел его оптикой — снял. Потом опять взял автомат и пугнул для порядка тех, кто слишком смело перебегал от крайней хаты к ручью; не попал, конечно, но это его не огорчило, и он замурлыкал под нос: «Будешь ты

моей! Будешь ты моей!..» — любнмая песня (эти слова едииственные) любимого капитана Сада, который позволял себе такую вольность только в бою.

В небольшую глиинистую промоину, не долетев до Харитоичука каких-то полутора метров, ткиулась ручная граната. Харитончук завалился в свой мелкий окопчик, переждал оглушивший на несколько мгиовеиий взрыв и визг осколков, но едва снова приподиялся, морщась от тротиловой воии, как вторая граиата разорвалась где-то близко за спииой. И уже иачиилли обходить н слева, и справа.

«Будешь ты моей!..»

Ои сел — н пули защелкали по кустам, отбивая у фрицев охоту к самодеятельности.

Патроиов у иего было довольио. Успеть бы все нзвестн.

Коля сказал:

— Пусть у тебя не болит голова, товарищ капитан. Дай мне две пушкн, и я тебе покажу, как это делают люди.

Весь расчет строился на аккуратности и глазомере Володьки Харитоичука. Но тот был точен до секуиды, н немцы в вездеходе услышали взрыв именно тогда, когда было иадо, и стали тормозить соответствеиио: не сразу, но резко, и развернуться ие успели, потому что из-под небольшой кучи соломы при дороге подиялся Коля — в каждой руке по парабеллуму — спокойно подошел н показал, «как это делают люди». Напоследок ои успел вскочить в вездеход и заглушить мотор.

Разведчики быстро вытаскивалн трупы гитлеровцев, натягивали на себя их куртки и каски.

Капитан Сад обиял Мхнтаряна.

— Прощай, Норик! Устрой им тут полнокровный филиал Цеитральиого берлинского кладбища.

— Конечно, дорогой, столько, поннмаешь, места, всем хватит, че?

— Прощай, брат...

Норик здесь оставался с «дегтяревым». Если будет возможно, прикроет отступленне Харнтоичука. Если иет...

Ты наша последняя инстанция, сказал капнтан Сад

за час до этого, когда они еще только планировали бой. Пропустишь фрицев — они нам ударят в спину.

Он не сказал лейтенанту ни тогда, ни теперь, сколько тот должен продержаться. Пять минут? Вроде бы мало. Десять?.. Но ведь после схватки с Харитончуком немцы будут наступать развернутой цепью. Что им один ручной пулемет...

Вездеход сорвался с места, спокойно вкатился в зигзагообразный проход в завале и помчался по дороге, оставляя за собой высоченный султан пыли.

Километр до замка... шестьсот метров... триста...

Замок поднимался им навстречу, и уже были ясно видны солдаты возле ворот и солдаты на башне, и окна в доме раскрывались, и там тоже были люди — во всех. Немцы слушали далекие взрывы гранат и стук автоматного боя, и все следили за подвывающим в песчаных колеях приземистым вездеходом. Нас мало, нас слишком мало, чтоб им могла хотя бы почудиться опасность, исходящая от нас! — торжествующе думал капитан Сад. Но тут же он увидел, как неторопливо открылись по сторонам от ворот темные щели амбразур. А потом оттуда чуть выдвинулись хоботки крупнокалиберных пулеметов, и казалось, что они упираются прямо в грудь.

18

— Боря, слышь, как его остановить? — жалобно крикнул Сашка, когда вездеход уже завершал второй круг по двору.

Он еще что-то кричал перед этим, но что именно — не помнил, тут же и забыл, а Боря Трифонов не услышал, потому что как раз в то мгновение слева от них — ну совсем рядом, кажется, и рукой дотянуться можно, — сразу в двух окнах первого этажа появились эсэсовцы с автоматами, и один даже стрелять приготовился, однако не выстрелил, может быть, принял парней в вездеходе за своих. Промедление было ничтожное и в другое время ничего бы не решило, но Боре Трифонову и того было довольно. Он как-то немыслимо вывернулся — и пулемет ударил в окна и смел гитлеровцев на пол. Дульное пламя опалило Сашкино лицо, слева брызнули осколки кирпича, да так больно, в кровь, наверное, посекли, но Сашка не выпустил баранку и

глаз не зажмурил. Вцепившись в руль, он орал что-то и не слышал себя, и Боря Трифонов его не слышал — не до того ему было: эсэсовцы выскакивали то здесь, то там, как марионетки в кукольном театре, да так близко все, что пули расшвыривали их, как удары оглобли. Но потом вездеход вдруг снова оказался в том же тупичке, где они чуть не врезались в стену при первом заходе, и опять их окружила тишина и пустота, и тогда-то, быстро-быстро перебирая руль, Сашка крикнул:

— Боря, слышь, как его остановить?

— А черт его знает!..

Он действительно понятия не имел, как это делается, и ответил автоматически. Но тут же до его сознания дошел смысл вопроса, его круглое лицо перекосилось от ярости, глаза выпучились и подбородок дернулся раз и другой, выдавая то невероятное и впустую затраченное усилие, которым Боря Трифонов хотел возвратить лицу выражение невозмутимости.

— Да ты сдрейфил!..

— Балда, — огрызнулся Сашка, — мы на нем посреди двора хуже мишени.

— Вперед!..

Вездеход продрал по кирпичной стене сарая еще одну борозду рядом с первой, причем жесткое угловатое крыло лопнуло по сварному шву и задралось. Опять их осыпало коричневой пылью. Вездеход отшвырнуло к противоположной стене, Сашка его выровнял, и вот они уже катят узким коридором вдоль окон, и уже раскрывается перед ними двор. И Сашка чувствует, как десятки стволов целят ему в спину.

— Ага!.. — закричал Боря Трифонов, рассекая пространство до ворот четкими тугими ударами выстрелов. Словно забор поставил. Один из эсэсовцев, перебегавших двор, энергично кувыркнулся через голову, но свалился уже мятым кулем. Другой откатился к стене, медленно сел; на это, видать, пошли все его силы, потому что автомат он уже не смог поднять и выстрелил несколько раз, упирая его магазином в землю.

Сашка ничего этого не видел, не до того ему было: вездеход рванулся из его рук, чавкая разорванными покрышками, и потребовалась вся Сашкина сила, чтобы снова подчинить машину рулю и объехать тело Феди Капто, лежавшее на полдороге между парадным крыль-

цом и тупорылыми грузовиками. Это опять удалось Сашке, как и в предыдущие два раза, и он даже почувствовал какое-то удовлетворение и прилив уверенности, хотя опять мгновенно взмок, так что пришлось шваркнуть рукавом по лицу, а то уж больно глаза заливало.

Потом они вырвались из теснины на простор большого двора, заковыляли по клумбам, переваливаясь с боку на бок. В борт глухо ударило градом. Сашка удивленно смотрел, как на чисто выкрашенном капоте появляются серые пятна, как ломает и рвет краску на вмятинах — и вдруг понял, что это пули.

Потом они оказались возле автоматчика, который сидел под стеной, и Сашка старательно объехал его непомерно длинные ноги в коротких сапогах. Немец все еще держал автомат, но уже ничего не видел и не соображал. Полузакрытые глаза его закатились, рот был заполнен языком, он пытался облизнуть губы, а кожа ниже подбородка то вспухала, то опадала, как у жабы.

Это было похоже на игру с биноклем: то посмотришь в объектив — и мир словно отбрасывает от тебя в глубокий колодец, свертывает туго, как пружину, так что не видишь частностей и в сознании отпечатывается лишь образ усилия, которым был деформирован мир; то посмотришь в окуляр — и какая-то деталь заслонит все остальное, вытеснит все остальное — необыкновенно отчетливая и непомерно значительная.

Сашка опять плыл в абсолютной тишине. Он чувствовал, как вездеход всем корпусом отзывается на каждый выстрел Бори Трифонова, видел, как ходит в кожухе ствол, как тянутся к ним из окон хлесткие светящиеся пунктиры. Двор был пуст, ради этого они и кружили здесь, принимая на себя удар сразу всего гарнизона: они оборвали коммуникации гитлеровцев, не давая им соединиться для общих действий; они навязывали себя фашистам как цель; они стали психологическим порогом для охраны, которая задалась целью убить именно их, и на этом теряла секунду за секундой.

Стальной зверь — ковыляющий, неловкий — кружил по двору, завораживая охрану своей активностью, убеждая в целесообразности охоты. Но ни Сашка, ни Боря Трифонов не думали об этом. Сашка больше всего боялся перевернуться или врезаться в стену. Борьба с вездеходом поглотила его внимание и силы. На боль-

шее не хватало. Сашка тянул вперед шею, высматривая дорогу, смешно выпячивая подбородок. Он старался изо всех сил, он видел, что и Боря старается, и это полнило его уверенностью, что они все делают правильно, так, как хотел капитан Сад.

Боря Трифонов видел больше. Он был опытней и схватывал одним взглядом и сразу оценивал всю ситуацию. Уже во время второго круга по двору он понял, что сейчас важнее не прицельный огонь, а сдерживающий, и на этом выгадал несколько секунд; их хватило, чтобы дать еще две-три короткие очереди туда, где в этот момент пытались высунуться враги.

Пулемет был турельный; стрелять удобно, если на открытой местности; здесь же это превратилось в муку. К счастью, Боря был невелик ростом и ловок. Он летал вокруг пулемета, чуть ли не с капота стрелял, если враги появлялись сзади.

Он был тщеславен, и ему доставляла наслаждение мысль, что он один держит всю эту сволочь в страхе. По натуре он был мягок, но прожил еще слишком мало, чтобы понять, что маленький рост — не самое большое горе. И поэтому он занимался боксом и был первым в своем весе; поэтому пошел в разведку, поэтому всегда напрашивался на любое задание: он превозмогал себя, утверждая себя в преодолении одному ему ведомых порогов. И если бы в эту минуту его спросили, о чем он мечтает, он даже не вспомнил бы о возможности выжить и о том, чтобы набить сотню фашистов — мечта его бессонных ночей, — он не вспомнил бы тоже. Нет! Вот если б смертельная пуля пробила у него на груди комсомольский билет, а потом бы этот билет положили под стекло в его родном Скадовске в музее или хотя бы во Дворце пионеров, и чтобы все ребята из класса это видели, и чтобы Галка это увидела и заплакала, дуреха, вот это да!.. Но комсомольский билет далеко, лежит где-то в штабном сейфе — Иван Григорьевич у всех собрал перед поиском. Таков порядок. А жаль. Так жаль! — слов нет. Так получайте же, гады! Получайте! Получа...

Сашка — как ни поглотило его единоборство с вездеходом — все же заметил какую-то перемену, какое-то вмешательство извне. Едва уловимое и не сразу понятное, оно тем не менее давило, навязывало окружающему пространству свой ритм.

Не поворачиваясь, продолжая высматривать дорогу впереди, Сашка попытался понять, что же произошло. И понял: пулемет уже несколько секунд стрелял не переставая. Сашка глянул на Борю Трифонова. Тот весь завалился вперед, его голова моталась на вздрагивающем, вырывающемся из оцепеневших рук кожухе пулемета...

Вездеход вильнул и ударился в стену. Тело Бори Трифонова выбросило через борт, оно несколько раз перекатилось по дорожке, усыпанной песком, и легло у самого края, возле аккуратно выложенных зубцами и побеленных известкой кирпичей.

Мотор заглох.

Сашка сидел неподвижно и смотрел на Борю Трифонова, и это длилось целую секунду, а может быть, и десять. Потом он поднял голову и увидел, что из всех окон и дверных проемов смотрят немцы. Выжидательно. Недоверчиво. Их было неправдоподобно много.

Очень много работы.

Сашка перебрался на соседнее сиденье, оттуда на капот. Уселся половчей. Тут было подходящее место: за спиной стена, не подступишься. А обзор неплох.

Возле головы застучало, словно костыль в стену заколачивали. Сашка увидел, кто стреляет, и повел туда пулеметом. Он не спешил, и, может быть, поэтому с первой же очереди у него получилось. Это был первый человек, убитый им, но Сашка ничего не почувствовал.

Он инстинктивно догадался, что нужно делать, и дал отсекающую очередь вдоль двора. Потом еще одну — по окнам. Потом откуда-то сверху свалился убитый не им автоматчик, и тогда Сашка понял, что он не один.

Капитан Сад поглядел на часы. С того момента, когда Володька Харитончук взорвал мост, прошло девять минут. Если даже быть оптимистом, в бой уже вступил Норик Мхитарян. Сколько он сможет сдерживать немцев?..

Ладно. Сколько ни продержится — все наше. А потом ведь пехоте сюда еще добраться надо. Машинам не пройти, разве что брод отыщут. Будем считать, что минут двадцать у нас еще есть.

К тому времени здесь все будет кончено.

Разведчики находились в замке уже около пяти минут, эффект внезапности перестал действовать, охрана налаживала связи между отдельными узлами обороны. Еще немного — и немцы перейдут в наступление. А план капитана пока не выполнен ни в одном пункте.

Коля должен был вместе с Гариком Сафаровым спуститься в бункера и освободить пленных. От Коли нет вестей. Правда, от него их рановато ждать.

Но вот Рэму и Ярине пора бы объявиться. Взорвать шлюзы — минутное дело. И взрыва не слышно, и самих не видать.

А Федя Капто — вот он — лежит в черной, уже припорошенной пылью крови, хватает пальцами песок. А грузовики, до которых он так и не добрался со своею взрывчаткой, стоят целехонькие, лишь у одного пулями порвало брезент и боковое стекло разбито в кабине водителя...

От сидения на корточках ноги стали затекать, и капитан Сад опустился на правое колено. Спокойно, сказал он себе. У тебя есть еще несколько минут. Поэтому жди. Не может быть, чтобы все ребята погибли. Не могли они погибнуть, не выполнив приказа. А пока ты не знаешь этого наверное — жди; твое время еще не пришло, капитан.

Он устроился удобно. Это был простенок между службами. Слева на крючьях был приспособлен противопожарный шанцевый инвентарь, тут же стояла железная бочка с песком, лучшего укрытия не придумаешь.

Когда вездеход только ворвался в замок, и Коля, сбросив скорость до первой, повел его прямо к парадному крыльцу панского дома, капитан Сад увидел этот простенок, оценил в какую-то долю секунды и решил: вот моя позиция. Никто еще не стрелял; с этим сознательно тянули до последнего; в идеале, если бы повезло, план вполне мог осуществиться без единого выстрела; правда, потом бой был бы все равно неминуем, но тогда это было бы уже не важно.

Первыми соскользнули с вездехода Иван Григорьевич и Рэм. Капитан Сад знал, что, как только они выберутся из машины и под немецкими мундирами станут видны их красноармейские галифе, маскарад будет очевидным для любого гитлеровца. Поэтому капитан еще несколько секунд ждал, не раздадутся ли за спи-

ной выстрелы. Но выстрелов не последовало, а тут пришло время выпрыгивать ему самому: он заметил этот простенок и сразу оценил все его преимущества.

Капитан Сад прыгнул неудачно. У него подвернулась нога, и он прокатился несколько метров. И еще когда катился — услышал выстрел. Но у него не было оснований считать, что стреляют именно по нему, поэтому он сначала забрался в облюбованную позицию и лишь затем осмотрелся.

Коля и Гарик Сафаров исчезли. Вездеход уже заворачивал за угол (это было досадной оплошностью, капитан Сад знал, что там тупик, и Сашка это знал, но перенервничал и уже не соображал, что делает), а метрах в пятнадцати, как раз между парадным крыльцом и грузовиками, посреди дороги лежал Федя Капто, и тут уже вряд ли чем можно было помочь. Потом снова появился вездеход, и эсэсовцы кинулись от машин врассыпную, а Сашка, слишком поздно заметив лежащего в крови товарища, не успел отвернуть, вытаращил от ужаса глаза и провел вездеход над телом Феди.

Капитан знал, что надо делать. Надо было добежать до Феди, взять толовые шашки и взрыватели и самому взорвать грузовики с подготовленной к эвакуации секретной документацией разведцентра. Сделать это было больше некому. Но капитан остался на месте.

Ладно, сказал он себе, это от меня не уйдет, взорваться всегда успею. Только сначала я хочу убедиться, что у других получилось удачней, что дело сделано и для полного счастья недостает лишь этого взрыва.

Он хотел точно знать, что победил, и потому остался на месте, почти не вмешиваясь в поединок вездехода с охраной. Правда, дважды ему все же пришлось открывать огонь, когда немцы пытались произвести вылазки из главного входа. И еще ему повезло: он в самый последний момент успел снять автоматчика, который собирался из окна второго этажа почти в упор расстрелять Сашку.

После этого он взглянул на часы и узнал, что с того момента, когда Володька Харитончук взорвал мост, прошло только девять минут. И решил еще подождать. И был вознагражден за терпение, увидав, что Федя перевернулся на живот и даже пытается приподняться.

Как ни странно, Федя очнулся от боли: проезжая над ним, вездеход задел его карданом. Боль пронзила

тело, стряхнула предсмертное забытье, и тогда Федя увидел перед глазами сверкающую россыпь камней. Тут были прозрачные кристаллы и матовые обкатанные шары, темно-красные рваные осколки и густо-желтые, как мед, капли. И все они переливались радужными волнами... Федя попытался выплюнуть что-то, забившее рот, чуть сдвинулся — и фантастический мир упорхнул от него далеко вниз, и тогда Федя понял, что это только песок.

Он попытался вспомнить, где он и что с ним происходит. Вспомнил. И страшный удар в живот, удар, после которого все пропало — вспомнил тоже, и даже того эсэсовца, который в него стрелял. А больше он не помнил ничего, да и ни к чему все это было ему теперь. Он знал, что убит, им овладело безразличие, звуки, запахи и краски поплыли, поплыли мимо — и пропали.

Когда он очнулся во второй раз, он подтянул правую руку и стал выковыривать песок изо рта. Потом увидел кровь на пальцах. Кровь еще не успела засохнуть, значит, он лежал совсем недолго. Впрочем, это не имело никакого значения. Ничто уже не имело значения для него, нигде, во всем мире, и это он знал точно. Я мертв, я уже не здесь, и мне фиг чего-нибудь сделаешь. Меня уже даже пытать нельзя, вдруг понял он, и это открытие наполнило все его существо удовлетворением.

Следует сказать, что боязнь пыток была у Феди, может быть, единственным, зато неисправимо слабым местом. Однажды в поиске они с капитаном набрели на блиндаж, в котором лежали тела их зверски замученных товарищей. Это зрелище так потрясло разведчика, что с тех пор каждое задание уже только из-за какой-то вероятности попасть в плен стало для него пыткой. Но он считал себя не вправе уйти от ребят, которые научили его всему, что он теперь умел — еще два года назад полуграмотный пастушонок из глухого полесского хутора. От ребят, которые приняли его в комсомол, рядом с которыми он получил свою «Славу». Этот страх не знал ни сна, ни усталости. Но никто не знал о нем. И вот он убит наконец; пусть вместе со мной, думал Федя, но и ему крышка.

Федя начал дремать помаленьку. Это получалось легко и приятно, потому что невесомо легким и каким-

то звонким было тело. Состояние отрешенности и воздушности овладевало им все сильней, он ощущал сверху ласковое теплое солнце, а снизу теплую кровь, и ему приятно было, что кровь уходит в землю. И все-таки что-то было не так, что-то мешало. Что-то висело в нем, в груди, темное, как облачко, и он знал, что надо освободиться от этого, иначе не будет ему спокойной смерти, а будет ему смертная тоска и пытка.

Что ж это может быть, с досадой думал он сквозь дремоту, но напрягаться уже не было сил, а тех, что еще оставались, не хватало, чтобы вспомнить хоть что-то. Он забыл, забыл начисто все, что лежало в прошлом, от прошлого его отделяла какая-то черта, грань, прорубленная выстрелом, когда он шел, чтобы выполнить свое последнее задание.

Задание! — вдруг вспомнил он.

А потом еще вспомнил: капитан Сад.

Вот оно!..

Федя даже проснулся вдруг. Черт побери! — ведь ребята рассчитывали на него, как на каменную гору, а он здесь разлегся, ждет пришествия архангелов. А кто за тебя выполнит задание? Кто за тебя? Некому! Некому сделать твою работу...

Он так разволновался, что потерял сознание опять, но возбуждение оказалось сильнее. Он сразу же очнулся все с той же мыслью. Задание! По законам естества ему давно уже пора было умереть, но теперь он знал, что не имеет на это права.

Прежде всего он нащупал сумку. Она была на нем. И тол на месте. И взрыватели. И бикфордов шнур. Такая обстоятельность была необходима: упаси бог, что-нибудь забудешь, то-то наплачешься потом. Как говорила мама: от дурной головы ногам тошно.

Бережней всего он ощупал спички. Он боялся, что они намокли в крови. Обошлось. Да и пальцы уже подсохли. Подходяще для работы.

Потом он посмотрел, как далеко до грузовиков. Потом попытался приподняться, и когда очнулся, оказалось, что он уже в одном из фургонов. Ящики с документами были составлены плотно, подходяще для взрыва. Федя старательно пристроил тол и взрыватель, и шнур, а потом не поленился отвинтить колпачки у обеих канистр, которые приготовил в дальнюю дорогу водитель. Должно быть, запасливый парень.

Потом он перебрался в другой фургон. Ему казалось, что он движется необыкновенно легко — как воздушный шарик, как тень. Правда, был один момент, когда ему подумалось, что ничего этого нет, что он только бредит, что все это происходит лишь в его воображении. Но чтобы разбираться в ощущениях — для этого нужны были силы. И время. А его время истекло. Мое время истекло давно, подумал он безразлично и занялся закладыванием тола во втором фургоне.

Потом и с этим было покончено. Федя почувствовал, что сейчас уже совсем заснет, и торопливо поджег длинный бикфордов шнур, и пока тот горел, он думал, что, если б ему сейчас предложили долгую-долгую жизнь, он не смог бы принять ее, потому что у него не осталось сил для этого; даже чтоб несколько минут прожить — и то у него больше не было духу.

Потом он открыл глаза, увидел, что огонек вот-вот исчезнет в соседнем фургоне, подумал напоследок, как будут довольны ребята и капитан Сад, и поднес огонек спички к маленькому огрызку шнура, ну, считай, почти к головке взрывателя.

19

Вода прибывала быстро. Алексей Иннокентьевич не разу понял — откуда. В темноте добрел до двери — струилось из-под нее. Однако напор был слаб. Не то.

Чтобы выработать линию поведения, было необходимо иметь какую-то рабочую гипотезу, и Алексей Иннокентьевич решил, что фашисты уже подготовились к эвакуации и вот напоследок уничтожают свое гнездо. Как в таком случае должен поступить он, Малахов? А никак! Набраться терпения и ждать конца. Воду не остановишь, дверь взломать ему тоже не под силу.

Но почему Хальдорф его бросил?..

Что-то случилось внезапное. Не иначе. Забыть о пленных или утопить их ни с того ни с сего — это не похоже на немцев. А может, капитану удалось вызвать нашу авиацию и она раздолбала замок, разбила какие-то шлюзы? Нет. Слишком мало времени прошло. Пока координаты в часть попадут, потом приказ потребуется, заправка, загрузка, да пока пролетишь эти сотни километров...

Алексей Иннокентьевич добрался по нарам до вентиляционного отверстия и стал его ощупывать, хотя прекрасно помнил, что там вделана добротная решетка, с которой ему не совладать, а значит, отверстие не заткнешь ничем.

И тут за дверью, плохо различимые за шумом падающей воды, послышались голоса, потом появились полоски света, ограничивающие дверь, а потом загремело железо: видать, не поддавался засов. Не размышляя ни секунды, Алексей Иннокентьевич соскользнул вниз, и как только увидел, что дверь, преодолевая сопротивление воды, приоткрывается, набрал в грудь побольше воздуха и поднырнул под нижние нары.

На что он рассчитывал? Ни на что. Он не загадывал, чем кончится эта странная попытка; мыслей у него вообще не было, кроме одной: продержаться. И он держался изо всех сил и таращил глаза, следя за полетом светового пятна, которое то собиралось в яркую точку, то пропадало, чтобы тут же опять возникнуть. Держаться было все труднее. В голове нарастал звенящий гул. Перед глазами появились два, три, четыре пятна, они становились все ярче и были теперь не белые, а какие-то радужные. Они вертелись стремительным хороводом на фоне чего-то голубого, яркого и бездонного, как летнее небо. Алексей Иннокентьевич летел в эту бездну, невесомый и маленький, уже не понимая, где верх, а где низ и что с ним вообще происходит.

Он очнулся оттого, что кровь отхлынула от головы и немного успокоилось сердце. Он снова услышал падающую воду, понял, что сидит на нарах и что глаза у него закрыты. Он открыл глаза, но все равно ничего не увидел. Вода была уже ему по грудь. Алексей Иннокентьевич поднялся, придерживаясь за стойку нар, с трудом преодолевая сопротивление воды, шагнул в сторону двери. Нащупал ее. Дверь была приоткрыта.

Теперь главное — не суетиться.

Алексей Иннокентьевич стянул тяжелый, стеснявший движения френч. Протолкнул себя в коридор. И здесь был мрак. Где-то рядом, справа, грохотал поток воды; Алексей Иннокентьевич прикинул, где должен находиться выход, сориентировался и понял, что это грохочет вода, падая с верхних этажей по лестнице. И пошел прямо на шум.

Он уже взялся за стальную створку двери, прикрывая левой рукой рот и нос от забивающих дыхание брызг, как вдруг почувствовал легкое прикосновение к спине. Алексей Иннокентьевич замер. Почудилось? Нет, вот снова его коснулись, причем на этот раз (рубашка прилипла к спине и не была помехой) уже не осталось сомнения: к нему прикасались пальцами.

Ну! Сразу...

Алексей Иннокентьевич перехватил чужую руку в запястье, вывернул и резко рубанул ребром левой ладони по локтю. Хруста сустава он не мог слышать, но сломанная рука ослабла. Почему он молчит? почему не сопротивляется? — удивился Алексей Иннокентьевич, осторожно подтянул противника к себе... Он дрался с мертвецом.

Судя по форме, это был эсэсовец. Чтобы проверить еще одно, весьма смелое предположение, Алексей Иннокентьевич ощупал его ноги. Эсэсовец был без сапог, в шерстяных носках почти до колен и в тапках. Надзиратель, которого звали Крысенышем. У него была разбита голова и две пулевые раны в груди.

Вот и еще одна неразрешимая загадка. Кто его так?

К сожалению, кобура на эсэсовце была пустая.

Веря в себя, в свои силы, в успех, в каком-то яростном восторге от вновь обретенной свободы, Малахов бросился вперед. Поток сбил его и ударил о дверной косяк, но он тут же поднялся и бросился снова, и лез, и лез вверх, захлебываясь, но не отступая. Он мотал головой и кричал, и боролся с потоком, словно с живым существом, — и вышел победителем, и тогда совсем уверился, что все обойдется и будет хорошо.

На этом этаже воды было значительно меньше — чуть недоставало до колена. Но она текла и лилась отовсюду, и нетрудно было догадаться, что при таких темпах потребуется минут пятнадцать, чтобы нижний этаж залило доверху, и тогда придет черед этого.

Алексей Иннокентьевич припомнил, что выход в тамбур должен быть несколькими метрами правее, побрел в ту сторону и быстро нашел круглую стальную дверь. Она оказалась закрытой. Алексей Иннокентьевич налег на нее, дернул на себя. Не помогло. Тогда он нащупал засовы, засмеялся и сдвинул их. Мало! Он стал искать, что же еще удерживает дверь — и тут сзади ударил свет. Алексей Иннокентьевич резко обернулся. Кто-то

стоял в нескольких метрах и светил ему прямо в лицо карманным фонариком.

— Так это вы, подполковник!..

Малахов узнал голос Уго фон Хальдорфа.

— Какого черта вы здесь, а не со своими? — продолжал Хальдорф. — Или они так спешили наверх, что забыли о вас?

Вот когда кое-что стало проясняться.

— Не будем терять времени, — сказал Малахов.— Если мы не откроем дверь...

— Это я ее закрыл, — перебил Хальдорф. — Пришлось. Они пустили в ход гранаты. Я едва спасся.

— Но через пять минут там набежит доверху воды. И тогда будет поздно.

— Не волнуйтесь, подполковник. И будьте любезны — задвиньте засовы.

В подтверждение права командовать Хальдорф ввел в луч фонарика свою руку с вальтером. Алексей Иннокентьевич подчинился.

— А теперь марш вперед.

Корндор, такой аккуратный еще несколько часов назад, был неузнаваем. Двери комнат распахнуты, сорваны с петель и расщеплены; стены опалены взрывами и посечены пулями. То и дело приходилось переступать через трупы, а в одном месте в стене зиял пролом, и в нем, чудовищно переплетясь, лежало несколько трупов сразу: русские и гитлеровцы. Алексей Иннокентьевич остановился перед ними. Нет, он не знал этих парней. Ни одного.

— Хороша жанровая сценка, подполковник? Жаль, не пришлось поглядеть, как они грызут друг друга.

— У них не было оружия, — согласился Малахов.

— В том-то и смысл. Но для победителя пуля нашлась! — засмеялся Хальдорф и показал рукой. — Поучительный финал!

Под стенкой сидел труп эсэсовца с автоматом. Как просто: прыгнуть в сторону — рвануть автомат — падая на спину, под стенку, открыть огонь...

— Стоять! — вдруг приказал Хальдорф. — Руки вверх! — Он чуть помедлил. — Извините, подполковник, я должен вам напомнить, что взял вас из милости. По своей мягкосердечности. Так что советую вести себя благоразумно. И не проявлять инициативы.

Они снова пошли вперед. Не доходя метров десяти

до конца коридора, вошли в комиату, обставленную как каицелярия: письменные столы, книжный шкаф, вделанные в стену высокие сейфы. Хальдорф приказал Малахову стать в стороне и открыл однн из сейфов.

— Здесь запасной ход на верхнний этаж бункера, — пояснил он. — Я поднимаюсь первым, вы — следом, как только хлынет вода. Еслн чуть замешкаетесь — запру ход, и тогда пеняйте на себя.

Алексей Иннокентьевич дождался, пока из «сейфа» не хлынула вода, и бросился вперед. Лестница была металлическая, она обвивалась спиралью вокруг стального шеста; справа были перила. Алексей Иннокентьевич уже имел опыт, он поднимался спиной вперед, цепляясь за шест обеими руками. На этот раз воды он не наглотался совсем, зато обессилел так, что на верхнем этаже бункера свалился с ног, отполз на четвереньках в сторону и сел, прислонившись к стене. Сидеть все же надо было прямо, иначе рот оказывался в воде.

— Поднимайтесь, Малахов.

— Дайте отдышаться минуту. Сердце вот здесь.

— Эта минута может стоить вам жизни. Поднимайтесь, черт побери, или я буду вынужден вас пристрелить.

На этом этаже было тоже темно. И такие же следы боя. Впрочем, Алексей Иннокентьевич разглядывал их не очень внимательно: он был занят попытками сориентироваться, определить хотя бы приблизительно, в какой стороне и на каком расстоянии от них находится главный вход. Он даже начал подсчитывать количество шагов, но тут же понял, что это не имеет смысла; ведь они шли по воде, да и темнота растягивала каждый метр вдвое. Наконец они добрели до завала.

Хальдорф встревожился. Он попросил Малахова отойти, сам вскарабкался на груду из развороченного железобетона и обломков кирпича.

— Какая досада!.. Мы должны перебраться на ту сторону.

Алексей Иннокентьевич понял, что сейчас последует приказ лезть наверх и разгребать кирпичи.

— Арсенал ухнули? — спросил он, чтобы выгадать время.

— Нет. Вот здесь, за стеной, были помещения диверсионного факультета. Выпускники, естественно, работали не с макетами. С настоящим материалом.

— Случайный взрыв?

— Уверен, что нет. Образцы мин и взрывчаток хранились в комнате-сейфе. Она закрывалась математическими замками.

— Для такой операции нужен свой человек.

— «Свой»!, — скривил губы Хальдорф.

— Конечно. — Малахов сделал вид, что не заметил его интонации. — Там еще коридор?

— Продолжение этого. И аппендикс, в который мы должны попасть.

— Не сомневаюсь, что в аппендиксе мы встретим немало ваших солдат... Если только они уцелели после взрыва и не утонули. Тот, кто открыл хранилище, знал, на что идет.

— Варвары! Вы духовно нищая нация. И возмещаете свою неполноценность фанатизмом.

— Вы имеете в виду способность к самопожертвованию? Или доблесть?

— К черту, подполковник! Будьте любезны: залезайте наверх и приступайте к делу.

Через несколько минут на руках появились ссадины и кровь, но дело двигалось быстро. Алексей Иннокентьевич углублялся в завал в обход рухнувшего потолочного перекрытия. Под ним оказалось немало полостей, так что дело свелось к расчистке кирпичных пробок. Он спешил и вскоре понял, что опережает поднимающуюся снизу воду. Заметил это и Хальдорф. Он перестал дергаться, присел за обломок стены, чтобы Малахов при случае не достал его кирпичом; но что-то в нем происходило, с чем он справиться был не в силах, а может быть, уже произошло окончательно — сломалось. Проявлялось это в том, что Хальдорф почти безостановочно говорил. Он искал разрядки в самом механизме речи, почти не следил за словами; говорил, чтобы освободиться от потрясения — «выболтать» его. Причем делился, очень доверительно, некоторыми подробностями своей работы; такими вещами, о которых не имел права говорить ни при каких, даже самых крайних обстоятельствах. Тем более с Малаховым. Что бы это значило? — подумал Алексей Иннокентьевич, и еще прежде, чем вопрос прозвучал в нем, он уже знал ответ: Хальдорф так доверителен, так откровенен только потому, что знает, уверен, не сомневается: Малахов отсюда не выйдет... Он это уже решил, и сколько минут

или секунд остается до того, как он поставит точку, Хальдорф уже знает твердо.

— Ваша система хороша, барон, — сказал Алексей Иннокентьевич, садясь в воду и тяжело дыша; пусть думает, что я уже обессилел. — И все же признайте, что дело не только в том, что удача от вас отвернулась и густо обсели оводы. Вы забыли о самом главном.

— Даю вам ровно три минуты на передышку, — засек время Хальдорф. — Так о чем же я забыл?

— О блокировке.

Хальдорф расхохотался: он с ходу уловил простенькую хитрость Малахова, но не боялся ее.

— Будь у вас блокировка, — продолжал Алексей Иннокентьевич, уже уверенный, что ловушка сработала, — вы бы не остались к шестидесяти годам у разбитого корыта. Ну подумайте сами: кому вы будете нужны со своей прекрасной системой воспитания кадров, если самих кадров нет, если они ждут в своей глубокой конспирации, не зная, что концы веревочек сгорели.

— Яма для простаков, — подтвердил Хальдорф подозрения Малахова. — Но я вам отвечу. Глядите. — Он достал из-под плаща плоскую металлическую коробку, напоминающую большой портсигар. — Здесь есть все. Самое главное. А если потеряю и это, в Германии есть еще один дубликат. Удовлетворены?

Вот мы и вышли на последнюю черту, понял Алексей Иннокентьевич. И если раньше я мог сомневаться, убьет он меня или нет, то теперь варианты исключены.

Завал еще не был разобран до конца, но за слабым заслоном кирпичей уже слышался шум воды в той части коридора. Возможно, достаточно толкнуть преграду — и путь будет свободен.

Пора.

И все же Алексей Иннокентьевич опоздал. Что-то случилось — и несколько мгновений выпало из его памяти. Впечатление было такое, будто он долго спал, стоя на четвереньках, и во сне упал на кирпичи лицом. Руки не слушались. Куда им было оторвать от камней это тело! Там, куда попала пуля — в спине слева — лежал огромный булыжник.

Ах, так это пуля! — понял Алексей Иннокентьевич, и откуда-то задним числом выплыло воспоминание о страшном, как обвал, грохоте выстрела. Ах, так это только пуля... В спину, выходит, стрелял... сволочь...

Алексей Иннокентьевич все же приподнялся, привалился к стене плечом... Положив включенный фонарик, Хальдорф набивал патронами обойму своего вальтера. Он доставал патроны из кармана плаща, суетливо тыкал их, не попадая сразу. Вот оно как: забыл, выходит, что отстрелялся, пока удирал от разведчиков, и что в пистолете оставался только один патрон...

Хальдорф заметил, что Малахов шевельнулся, повернул голову... взгляды их встретились... В его глазах промелькнул ужас, он глянул на грудь Малахову, где расплывалось темное пятно, потом опять в лицо, вдруг словно очнулся и стал забивать обойму в рукоять, но она не входила, а он не мог опустить глаз, чтобы поглядеть, в чем дело, и все смотрел прямо в глаза Малахову, а тот надвигался на него, держал его своим взглядом — все ближе, ближе...

Потом Алексей Иннокентьевич долго сидел возле прохода в завале. Было темно, но он не жалел ни об утонувшем фонарике, ни о пистолете, который тоже куда-то завалился. Я сделал свое дело, шептал он.

Потом он вспомнил о разведчиках. Вспомнил, что был занят только собой, а о них не думал — и от этого ему стало стыдно. Он встревожился. Забытое, тяжелое, но сладостное чувство ответственности вошло в него душевной тревогой, наполнило всего и даже выплеснулось наружу; даже воздух, гудящий от падающей, льющейся отовсюду воды — и тот насыщался этой тревогой, поляризовался ею.

Алексей Иннокентьевич ощупал грудь, плечо. Пуля прошла чуть пониже ключицы. Крови было немного, да и сам он притерпелся.

Как же я мог забыть о них, думал Алексей Иннокентьевич, забираясь в проход. Вода уже поднялась и сюда, но стояла еще довольно низко, так что можно было пробраться не захлебнувшись. Алексей Иннокентьевич выбил в конце прохода последние кирпичи и выбрался на ту сторону завала. Посидел, вспоминая, как далеко главный выход. Кружилась голова, и все время чудился какой-то свет то сбоку, то сзади.

Алексей Иннокентьевич сполз в воду. Идти уже было невозможно — и он поплыл. Мысли у него при этом вдруг прояснились, он знал, что и как ему делать.

Он подплыл к месту, где вода подступала под самый потолок коридора и между водой и потолком мета-

лись только огромные воздушные пузыри. Лестница на поверхность была где-то здесь: может быть, совсем рядом, а может, и подальше. Алексей Иннокентьевич в последний раз набрал побольше воздуха в грудь, нырнул и поплыл вдоль правой стены коридора, касаясь ее при каждом гребке, чтобы не пропустить дверь, ведущую наверх, если только она ему попадется.

20

Проще всего получилось у Ярины и Рэма. Они спрыгнули с вездехода первыми и добежали до двери в шлюзовую еще до того, как раздались выстрелы; никто не обратил на них внимания. В шлюзовой было пусто. Это был чистый, но довольно темный сарай, добрую треть его занимал стационарный компрессор; тут же был шлюзовой стенд. Хозяйство на удивление примитивное.

Рэм заложил дверь ломом и сел возле окна на коробку с инструментом. После вчерашнего ушиба он держался неестественно прямо. Массаж снял боль, вернее, сделал ее терпимой. Двигаться приходилось осторожно.

Рэм сразу определил, что позиция эта никудышная. Сектор обстрела узкий, часть двора закрыта штабелем пустых ящиков. Но выбирать не приходилось. Рэм закурил и по перекатам пальбы пытался угадать, как протекает бой. Несколько раз в поле его зрения появлялись эсэсовцы, однако Рэм не стрелял: сейчас это не входило в его задачу, только могло ее осложнить.

Ярина подошел к нему как раз в тот момент, когда вездеход, делая второй круг по двору, задел ящики. Штабель рухнул, и панорама двора полыхнула им в глаза солнечным ослепительным блеском.

— Готово, — сказал Иван Григорьевич.

— Во Борька их чешет! — обернулся Рэм. — Супер-экстра-люкс!

— Ребята взяли на себя многовато.

— Это точно. Гансы их не выпустят после такого-то концерта! Уже вцепились, шавки.

— Прикроем?

— Нет, — сказал Рэм. — Мне это место нравится своей тишиной, а вы хотите нарушить идиллию. — Рэм был из интеллигентной семьи и знал такие словечки, что от другого за всю жизнь не услышишь. — И кроме

того, я не могу отвлекаться. Мне еще обязательно надо поиметь рандеву с одним приятелем.

— Ты это серьезно?

— Абсолютно. Задачу мы выполнили, теперь каждый может заняться личными делами. Я чувствую к этому позывы. А погибнуть в банальной драке с дубарями-охранниками — для этого большого ума не надо. Добровольцы могут сделать два шага вперед, но — пардон-мерси — без меня!

— Выходит, Сашка и Борька пусть животы кладут, а ты чистюля, ты ручки умываешь.

— Ты сердишься, Юпитер, значит, ты не прав, — сказал Рэм по-латыни и щелкнул шпингалетом окна, открыл шпингалет, чтобы, если понадобится стрелять, оконная рама открывалась сразу, от одного легкого толчка. Он сделал это, потому что эсэсовцы опять побежали через двор, и несколько мгновений было похоже, что все-таки придется драться. Эти эсэсовцы были уже с оружием, они перебегали умело, сразу видно — бывалые солдаты. И Рэм даже наметил себе, что первым снимет долговязого фельдфебеля с одним незакатанным рукавом и с танкистским автоматом. Рэм неуютно чувствовал себя в этом сарае, где дощатые стены были никакой не защитой, одна только видимость, а не защита: в любом месте их можно было пробить даже из пистолета, а про карабин и говорить нечего.

Он тут же забыл обо всем, потому что наконец-то увидел того врага, встречи с которым ждал как подарка судьбы. Вдоль стены дома перебежками пробирался к воротам высокий белокурый штурмбанфюрер. Фуражку он потерял, его соломенные кудри картинно метались при каждом повороте античной головы.

— Ах ты, мой Зигфрид! — почти пропел Рэм. — Ну уж сегодня-то я доберусь до твоего горлышка, птенчик. — Он повернулся к Ярине. — Привет, Иван Григорьевич! Спешу на свидание. К Герострату!

Рэм приоткрыл дверь, и выскользнул наружу, и сразу исчез, словно растаял.

Пора и мне, решил Ярина. Он прикинул, как безопасней добраться до панского особняка, и двинулся короткими перебежками — от укрытия к укрытию. Его обстреляли только раз, а потом он увидел человека, который подавал ему сигналы рукой, и это уже был капитан Сад. Капитан был в своей форме; немецкий френч

и каска лежали на бочке с песком. Он ничего не спросил про Рэма. И ничего не сказал про других парней. Он по-прежнему думал, что счет их жизням идет на минуты, но это было уже неважно, поскольку появление Ивана Григорьевича означало еще один успех.

— Что с вами, товарищ капитан? — спросил Ярина. — Вы ранены?

— Не знаю, — сказал капитан Сад. — Вот увидел вас — и вдруг понял, что сил у меня больше нет.

— На душе отлегло.

— Может быть. Черт! Кажется, засыпаю...

— Идемте в дом, — сказал Ярина.

Дом был пуст, и почти весь замок тоже. Немцы отдали его, закрепившись в башне и прилегающих постройках, и теперь перегруппировывали силы. Первую схватку они проиграли, но огромное неравенство сил сохранилось. Сейчас оставшиеся в живых офицеры поведут их в контратаку. Все кончится в несколько минут.

Со второго этажа навстречу капитану Саду спускались трое. Это были его разведчики из первой группы. Он знал, что встретит их здесь. Он обнял каждого — это было и приветствие, и прощанье сразу, и каждого держал чуть дольше, чем было надо. Но не от избытка чувств и не от собственной слабости. Просто что-то случилось с ним, и он перестал с прежней четкостью контролировать время; а оно то останавливалось, то вдруг оказывалось, что ушло далеко вперед, а он не мог вспомнить, чем были заполнены эти минуты.

— Где Коля? — спросил капитан Сад. Он дал Коле обещание, которого пока не выполнил, и это тоже мешало ему.

— Его убил охранник, — сказал один из трех. — Но не в первый раз. Когда он спустился туда в первый раз, он только оглушил охранника, чтоб не поднимать шума. А потом оказалось, что мы забыли новенького.

— Алексея Иннокентьевича?

— Не знаю, как его звали. Мы его не нашли. А вот Колю эта сука убила. Очухался в воде, и когда мы пошли за этим — за новеньким — встретил...

Еще кусок времени выпал из сознания. Или только показалось, что выпал.

Он увидел Сашку.

— А вот и ты наконец. Где рация?

— В вездеходе.

— Давай связь. Минут пятнадцать я могу тебе обещать, больше вряд ли.

— Слушаюсь.

Качаясь, держась за стену, Сашка побрел наружу.

Капитан Сад поглядел на часы и опять удивился, потому что роте, которую Хальдорф вызвал себе на подмогу, давно пора было появиться во дворе. Предчувствуя очередной сюрприз, он поднялся на второй этаж, подумал и пошел влево, в кабинет Хальдорфа.

Он сразу все понял. Бронетранспортеров еще не было, но солдаты наступали цепью. Она двигалась дугой, круто заворачивая фланги, и в фокусе этой дуги находились два человека — Райнер и Володька Харитончук. По прямой до них оставалось метров двести, не больше. Все же капитан глянул в свой «цейсс». Володька Харитончук нес на себе Норика Мхитаряна. Он бежал из последних сил, ноги заплетались и лицо было перекошено гримасой до неузнаваемости. Райнер прикрывал отход. Связанные ремнем через плечо, на груди и на спине у него висели по цинку с патронами. А под мышкой он тащил сорванный с турели крупнокалиберный пулемет. Райнер отступал неторопливо, пятился, то и дело задерживал пехоту уверенными очередями. Солдаты рыли носами землю.

И вдруг капитан Сад увидел выход из положения.

Он побежал в приемную, взглянул оттуда на башню. Так и есть! Наверху эсэсовцы буквально лезли на парапет — наблюдали спектакль, который давал Райнер. Им было не до разведчиков!..

Капитан выскочил в коридор, потом вспомнил что-то, возвратился в приемную, лихорадочно перерыл ящики письменного стола, нашел что искал — и опять прочь. Бегом по коридору, потом по лестнице:

— Гранаты к бою! Приготовиться к атаке!

— Товарищ капитан, да как же можно...

— Сашка, ты остаешься. Ты должен выйти на связь! Если даже нас сейчас перебьют, ты не имеешь права умереть, пока не передашь, что мы выполнили задание.

— Слушаюсь.

— И про Колю, если успеешь.

— Помню, товарищ капитан.

— За мной!

Он расставил своих ребят возле окон, глядевших в сторону башни, и в тот момент, когда Володька Хари-

тончук и Райнер появились в воротах, они выскочили наружу, взорвали гранатами дверь башни и ворвались в середину. Они захватили башню, но двое погибли, один умирал, а Ивану Григорьевичу автоматной очередью перебило ноги.

Подошли Харитончук и Райнер. Оба были ранены. И Норик — типичное дело в гранатном бою — весь изорван осколками. Однако дышал.

— Почему ты вернулся, Райнер? — спросил капитан Сад.

— Я встретил на дороге эту колонну. Они потребовали у меня документы очень вежливо, и когда узнали, кто я, тут же арестовали. За шпионаж в пользу русских.

— Неужели опять фон Хальдорф?

— Он! — граф издал грозный рык и затопал ногами. — Представляете, капитан, до чего гнусная тварь? Ведь он не взял меня сам, знал, что я не для его зубов орешек. Так он сделал это иначе. Он связался по радио с окружным жандармским управлением и сообщил им, что я был схвачен вместе с русскими разведчиками и бежал из-под стражи.

Подошел Сашка. Связи не было.

— Если я еще раз увижу, что ты отошел от рации... — сказал капитан Сад, но не нашелся, чем пригрозить. — Ну постарайся, пожалуйста.

Потом он увидел, что Харитончук перевязывает раны лейтенанта, а Иван Григорьевич пытается перебинтовать свои ноги сам; перехватил взгляд Райнера... Тот, кажется, уже начинал осознавать, что те одиннадцать человек, которых он видел прошлой ночью, — это и весь русский отряд... и никого здесь больше не было!..

— Спасибо, Райнер, что помог ребятам, — медленно сказал капитан Сад. — Этого мы тебе не забудем. А пока... Руки!!!

В этот крик капитан вложил столько ненависти и боли, что Райнер опешил, а в следующее мгновение на его запястьях защелкнулись наручники, разысканные капитаном несколько минут назад в приемной.

Потом капитан забаррикадировал вход в башню.

Потом в воротах появился офицер с белым флагом. Он предложил капитуляцию, иначе немедленно начнется обстрел башни из шестиствольных минометов. Нет, сказал капитан Сад, уходите, а то я не могу на вас спо-

койно смотреть. Уходите от греха. Как угодно, сказал парламентер, так и быть, даю вам еще полчаса сроку. А пока посмотрите, что вас ждет, если вы не сдадитесь добровольно.

Он ушел в ворота и потом неторопливо и не оборачиваясь шагал по пыльной дороге к бронетранспортерам, которые наконец-то появились откуда-то сбоку и теперь стояли позади редкой цепи. Там он стал распоряжаться. Группа солдат в несколько минут обпилила ветви одного из дубов, так что остался лишь уродливый обрубок, впрочем, издали похожий на крест. Потом двое солдат вывели из бронетранспортера человека со связанными за спиной руками. Несколько шагов он шел спокойно, но когда увидел, что его ждет, вдруг остановился, неожиданно подсек одного солдата ногой, второго ударил головой в лицо и бросился прочь. За ним со свистом и гоготаньем побежали человек пятнадцать, быстро догнали, свалили на землю, но почти не били, и на поднятых руках понесли к дереву. Человек извивался, пытался дергать ногами, кусался и кричал. Все время, пока его несли, он страшно кричал, молил о чем-то: отдельные слова до башни не долетали, только голос...

Капитан Сад встал на парапет, сложил руки рупором и крикнул:

— Рэм!

Но Рэм не услышал, уж очень далеко было, и кричал он страшно, так что мог слышать только себя.

Тогда капитан Сад крикнул еще раз:

— Рэм!..

Рэм затих. Он повернул голову в сторону башни, и на фоне уже потускневшего неба увидал знакомую фигуру командира. Капитан Сад поднял правую руку и сделал знак: «Мы с тобой».

Рэма подтащили к дереву, но он даже не взглянул на страшный обрубок. Он не отрывал взгляда от своего капитана и молчал — пока его привязывали, и прибивали ладони к дереву широкими солдатскими штыками, и сваливали к ногам хворост, и поливали его из канистры бензином...

Капитан Сад повернулся к Харитончуку, хотел что-то сказать, но ничего у него не вышло, потому что рот свела судорога. Тогда он рванул ворот гимнастерки, пуговицы застучали по каменному полу.

— Ну, тезка, подставляй плечо...

Он поднял пулемет и, когда Харитончук опустился на одно колено, положил пулемет ему на плечо. Харитончук поплевал в ладони и плотно облапил кожух. И тут ствол пулемета вдруг задергался. В первые секунды возле дерева ничего не изменилось, затем немцы бросились врассыпную, падали, катились в раскаленной желтой пыли. Только один Рэм был там неподвижен. Он уронил голову на грудь и уже не шевелился.

Потом начался ответный ураганный огонь с бронетранспортеров. В воздухе заныло, заскрипело пронзительно — и прямо посреди двора рванули мины.

Связи не было.

Все ушли в подземелье, один только Харитончук наблюдал в бойницу за передвижением врага, чтобы не прозевать атаку.

Связи не было, и капитан Сад чувствовал, как отчаяние овладевает им. Что это со мной, думал он, ерунда какая. Ну, не свяжемся. Что с того? Задание ведь выполнено. Вот что главное — задание выполнено. А узнают об этом или нет...

Однако обмануть себя он не мог. Он хотел, чтобы там, в родной дивизии, узнали о них, о том, что они сделали, как они победили. Он не мог себе представить, как он умрет — и никто не узнает, что это была победа. Он чувствовал: тому, что они сделали, не хватает точки. Это было несправедливо, обидно до слез.

...И дождь не смывает... и дождь не смывает сурик с их безымянных обелисков... никто не узнает, и дождь не смывает сурик...

Потом немцы пошли в атаку, и ее удалось отбить, и опять связи не было.

Враги засели во всех комнатах особняка и били в несколько автоматов одновременно по каждой подозрительной тени в башне.

Потом наступила тишина, такая знакомая всем тишина перед атакой, когда ждешь: вот сейчас... вот сейчас... Ведь счет идет на секунды, противник — в нескольких шагах... Но тишина была сорвана глухой пальбой где-то в глубинах дома, а потом в угловом окне первого этажа появился Алексей Иннокентьевич. Он подождал, пока Володька Харитончук проделает в баррикаде узкий проход, но глядел только внутрь комнаты, время от времени стреляя одной рукой из

«шмайссера», который держал под мышкой. Огонь был сдерживающий. Потом Алексей Иннокентьевич тяжело перевалился через подоконник и побежал к баррикаде, качаясь от слабости.

— Харитончук, перевяжи товарищу подполковнику плечо, — сказал капитан Сад.

Он тут же спохватился — такая досадная оговорка! — но увидел, что Алексей Иннокентьевич улыбается, и понял, что это не беда, и теперь уже не имеет значения.

— Володя, видите эту коробку? — Малахов вынул из кармана галифе железный предмет, издали напоминающий большой портсигар. — Мы пришли сюда за нею. Если со мной что-нибудь случится...

А связи не было.

Это уже не имело значения, их уже не могли выручить, и каждый об этом знал, но они ждали связь, чтобы крикнуть через сотни километров: мы здесь, мы нашли это гнездо, и раздавили, и сделали хорошо это дело!..

И только заполночь связь появилась.

Их засекли какие-то танкисты, наступавшие километрах в ста южнее. Они решили, что это провокация немцев, но Сашка их умолил — и они передали его по эфиру, навели на связь с армией. А потом заговорила дивизия.

Немцы спохватились поздно. Они стали забивать волну уже после того, как Сашку запеленговали, и сквозь хрип и вой все равно было слышно, как бубнит кореш на рации штаба дивизии: продержитесь сутки, продержитесь сутки, через сутки ждите танковый батальон. Хорошо! — кричал Сашка. — Хорошо! Продержимся! Они нас попомнят! — кричал он, хотя знал, что патронов у них осталось на полчаса хорошего боя.

С рассветом начали бить шестиствольные минометы, а потом эсэсовцы пошли в атаку.

Их опять отбили.

21

И отбивали еще почти трое суток.

ОБ АВТОРЕ

Акимов Игорь Алексеевич родился в 1937 году. Начал писать еще студентом Киевского гидромелиоративного института, работал сначала в многотиражке, потом в центральных газетах и журналах.

Первую книгу «И стены пахнут солнцем», сборник научной фантастики, опубликовал в Киеве в 1963 году. Затем совместно с поэтом В. Карпеко выпустил повести о разведчиках: «Осечка», «Неоконченное дело» и «Без риска остаться живыми».

Последние десять лет много ездил по стране, занимался публицистикой. Среди материалов, публиковавшихся в журналах «Юность», «Смена» и «Сельская молодежь», особое место занимают спортивные: «Мысль и мяч» (о футбольном тренере В. Маслове), «Как тяжела удача» (о хоккейном тренере Н. Пучкове), «Ваш ход» (о шахматистах М. Тале, В. Корчном и А. Карпове), «Добежать до себя» (документальная повесть о спринтере В. Борзове и его тренере В. Петровском) и другие.

Повести «Дот» и «Баллада об ушедших на задание», опубликованные в этой книге, воскрешают события Великой Отечественной войны.

Акимов Игорь Алексеевич
БАЛЛАДА ОБ УШЕДШИХ НА ЗАДАНИЕ

Редактор **С. Михайлова**
Художник **Н. Михайлов**
Художественный редактор **Б. Федотов**
Технический редактор **И. Соленов**

Сдано в набор 12/II 1974 г. Подписано к печати 21/VI 1974 г. А07728. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 2. Печ. л. 11 (усл. 18,48). Уч.-изд. л. 19,6. Тираж 100 000 экз. Цена 78 коп. Т. П. 1974 г., № 163. Заказ 323.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.